

Джон Бойн Абсолютист

Тумлэнд

Норидж, 15–16 сентября 1919 года

Пожилая дама в шали с лисьим мехом сидела напротив меня в купе поезда и предавалась воспоминаниям о совершенных ею убийствах.

— И еще викарий в Лидсе. — Она чуть заметно улыбалась, постукивая указательным пальцем по нижней губе. — И старая дева из Хартлпула. У нее была трагическая тайна, которая ее и погубила. И конечно, та лондонская актриса, что завела шуры-муры с мужем сестры, как только он вернулся из Крыма. Безнравственная была девица, так что тут я не виновата. А вот прислуга за все с Коннахт-сквер — ее мне было жалко убивать. Работящая девушка, крепкой северной породы. Может, она и не заслужила такого конца.

— О, это одна из моих любимых, — отозвался я. — Я считаю, она сама напросилась. Нечего было читать чужие письма.

— Мы ведь знакомы, да? — спросила пожилая дама. Теперь она слегка подалась вперед и разглядывала меня, пытаясь узнать. От нее резко пахло лавандой и кремом для лица. Рот был липкий и кроваво-красный от помады. — Мы где-то встречались.

— Я работаю на мистера Пинтона, издательство «Уисби-пресс». Меня зовут Тристан Сэдлер. Мы с вами виделись на литературном обеде пару месяцев назад.

Я протянул руку. Пожилая дама несколько секунд глядела на нее, словно не понимая, чего я хочу, а потом осторожно пожала, не сомкнув пальцы до конца.

— Вы делали доклад о ядах, не оставляющих следов, — добавил я.

— Теперь помню, — быстро закивала она. — Вы принесли целых пять книг подписать. Меня поразил ваш энтузиазм.

Я улыбнулся — мне было лестно, что она меня вспомнила.

— Я большой поклонник вашего творчества, — сказал я, и она милостиво кивнула — движением, видимо, отточенным за тридцать с хвостиком лет читательских восторгов. — И мистер Пинтон — тоже. Он несколько раз заговаривал о том, что хорошо бы переманить вас в наше издательство.

— Да, я знаю Пинтона. — Ее передернуло. — Мерзкий человечешко. У него жутко воняет изо рта. Как вы только сносите его общество? Впрочем, я догадываюсь, почему он вас нанял.

Я вопросительно поднял бровь. Собеседница ответила кривой улыбкой.

— Пинтон любит окружать себя красивыми вещами, — объяснила она. — Вы наверняка уже поняли по его картинам и затейливым диванам, которым самое место в Париже, в ателье какого-нибудь знаменитого модельера. Вы чем-то похожи на его предыдущего ассистента — того самого, с которым вышел скандал. Но боюсь, у вас нет шансов. Я уже тридцать лет работаю с моими нынешними издателями и всем довольна.

С ледяным выражением лица она откинулась назад, на спинку сиденья. Я понял, что опозорился — превратил приятную светскую беседу в попытку сварганить сделку. Я пристыженно уставился в окно. Потом взглянул на часы и обнаружил, что поезд уже опаздывает примерно на час. Тут поезд еще и остановился — безо всякого объяснения.

— Вот поэтому я больше не езжу в город, — заявила моя попутчица, пытаясь открыть окно, так как в вагоне стало душно. — С нынешними железными дорогами никогда не знаешь, доберешься ли обратно домой.

— Дайте-ка я вам помогу, — вмешался молодой человек, сидевший рядом с ней. Всю

дорогу, от самой станции Ливерпуль-стрит, он игривым шепотом беседовал с девицей, которая сидела рядом со мной. Теперь он встал, наклонился вперед, до испарины на лбу налег на окно и хорошенько толкнул раму. Она рывком поднялась, и в купе с теплым воздухом ворвался пар от паровоза.

— Мой Билл с любым механизмом совладает. — Молодая женщина хихикнула от гордости.

— Хватит, Марджи, — он сел на место, едва заметно улыбаясь.

— Он моторы чинил во время войны, правда, Билл?

— Я сказал — хватит, — повторил он уже холоднее.

Наши взгляды встретились, и мы секунду разглядывали друг друга, а потом отвели глаза.

— Это всего лишь окно, дорогая, — фыркнула дама-романистка, выбрав самый подходящий момент.

Поразительно, что всем обитателям нашего купе понадобилось больше часа, чтобы открыто признать существование друг друга. Я вспомнил анекдот про двух англичан, выброшенных на необитаемый остров, — они прожили там пять лет и не обменялись ни единым словом, так как не были друг другу представлены.

Через двадцать минут наш поезд тронулся и возобновил путь, и в конце концов мы прибыли в Норидж — с опозданием на полтора часа. Молодая пара вышла первой, окутанная аурой истерического нетерпения и смущенного хихиканья — им явно не терпелось добраться до постели. Я помог писательнице вынести из поезда чемодан.

— Вы очень любезны, — заметила она, рассеянно оглядывая перрон. — Мой шофер должен быть где-то здесь, дальше он обо мне позаботится.

— Спасибо за беседу. — На этот раз я не пытался пожать ей руку, а лишь неловко кивнул, будто она — английская королева, а я — верноподданный. — Надеюсь, я вас не оскорбил своими неосторожными словами. Я просто хотел сказать, что мистер Пинтон был бы счастлив, если бы с нами сотрудничали писатели вашего калибра.

При этих словах она улыбнулась («Я важна, я что-то значу!»), а потом исчезла, таща за собой шофера в униформе. Я же остался на месте. Меня окружила толпа, люди бежали на поезд или с поезда, и я растворился среди них, одинокий на людном вокзале.

* * *

Я вышел из громадного каменного здания — Торпского вокзала — на неожиданно яркий дневной свет и обнаружил, что улица, где я собирался остановиться, — Рекордер-роуд — расположена совсем близко. Но в пансионе, где я заранее снял комнату, меня постигло разочарование: оказалось, что комната еще не готова.

— О боже! — воскликнула хозяйка, худая, с бледным острым лицом. Я заметил, что она слегка дрожит, несмотря на теплую погоду. И нервно заламывает руки. И еще она была высокая. Такая женщина выделяется в толпе неожиданной гренадерской статью. — Боюсь, мистер Сэдлер, мы должны перед вами извиниться. Мы весь день места себе не находим. Не знаю, как вам и объяснить, что случилось.

— Я вам писал, миссис Кантуэлл, — напомнил я, пытаясь смягчить явственное раздражение в голосе. — Я написал, что буду сразу после пяти часов. А сейчас уже шесть. — И кивнул на большие напольные часы, стоящие в углу за конторкой. — Не хочу показаться навязчивым, но...

— Вы вовсе не навязчивы, сэр, — быстро ответила она. — Комната была бы уже давно готова, если б только не...

Ее голос оборвался, а лоб прорезали глубокие морщины; она прикусила губу и отвернулась; казалось, она не в силах смотреть мне в глаза.

— Понимаете, мистер Сэдлер, сегодня утром у нас вышла большая неприятность. Скажу начистоту. В вашей комнате. Точнее, в комнате, в которую вы должны были

вселиться. Наверное, теперь вы не захотите. Я бы не захотела. Ума не приложу, что мне теперь с ней делать, честное слово. Мне не по карману держать ее пустой.

Она была так явно расстроена, что я пожалел ее, хотя такой оборот событий угрожал моим планам на завтра. Я уже собирался спросить, не могу ли чем-нибудь помочь, как вдруг женщина резко повернулась: у нее за спиной открылась дверь. Вошел мальчик лет семнадцати — я решил, что сын хозяйки: глаза и губы у них были похожи, только цвет лица у мальчика подкачал, его портили подростковые прыщи. Мальчик остановился и некоторое время разглядывал меня, а потом обиженно посмотрел на мать.

— Я же тебе велел позвать меня, когда джентльмен прибудет! — Он прожег ее сердитым взглядом.

— Дэвид, но он только сию минуту вошел, — начала оправдываться она.

— Это правда, — подтвердил я. Мне почему-то захотелось за нее заступиться.

— Так или иначе, ты меня не позвала, — не отставал мальчик. — Что ты ему тут наговорила?

— Пока вовсе ничего, — ответила мать. Создалось впечатление, что она расплечется, если он сейчас же не перестанет ее тиранить. Она отвернулась в сторону. — Я не знала, что сказать.

— Мистер Сэдлер, я приношу вам свои извинения. — Он глядел теперь на меня с заговорщической улыбкой, словно намекающей, что уж мы-то с ним понимаем: в этом мире все всегда будет идти наперекосяк, если мы не отберем бразды правления у женщин и не начнем следить за порядком сами. — Я надеялся сам вас встретить. Я просил мамку предупредить меня, как только вы явитесь. Кажется, мы вас раньше ждали.

— Да, — согласился я и объяснил про опоздавший поезд. — Признаться, я очень устал и надеялся сразу пройти в свою комнату.

— Конечно, сэр.

Он едва заметно сглотнул и покосился на конторку, словно все его будущее было явлено там в узорах древесных волокон: вот эта петелька — девушка, на которой он женится, вот дети, которые у них будут, а это — целая жизнь ссор и свар, которую они друг другу уготовят. Мать тронула мальчика за руку и что-то зашептала ему на ухо; он быстро замотал головой и шикнул на нее.

— Случилось нечто ужасное. — Он внезапно повысил голос, так как снова обращался ко мне. — Понимаете, мы собирались вас поселить в четвертый номер. Но я боюсь, что теперь он не годится для постояльцев.

— Ну, я могу и в другом переночевать.

— О нет, сэр! — Он покачал головой. — К сожалению, они все заняты. Мы оставили за вами четвертый номер. Но он не готов, вот в чем беда. Вот если б вы нам дали еще немножко времени, чтоб его для вас приготовить.

Он вышел из-за конторки, и я разглядел его получше. Он был лишь на несколько лет моложе меня, но походил на ребенка, играющего во взрослого. На нем были мужские брюки — длинноватые для него, штанины подвернуты и заколоты. Рубашка, жилет и галстук вполне уместно смотрелись бы на мужчине гораздо старше. Зачаточные усы на верхней губе были специально взъерошены и всклокочены — я сперва даже не понял, усы это или просто мальчик не слишком прилежно умылся утром. Он явно пытался казаться старше, но столь же явными были его молодость и неопытность. Он не был с нами там — в этом я не сомневался.

— Дэвид Кантуэлл, — представился он наконец, протягивая мне руку.

— Дэвид, это неправильно. — Миссис Кантуэлл покраснела. — Джентльмену лучше сегодня переночевать где-нибудь еще.

— И где же это? — напустился на нее мальчик. Он повысил голос, всячески подчеркивая несообразность ее предложения: — Ты же знаешь, везде все забито. Та к куда я, по-твоему, должен его послать? К Уилсону? У них мест нет! К Демпси? И у них нет! К Разерфорду? И у них то же самое! Мать, у нас обязательства перед джентльменом. У нас обязательства перед мистером Сэдлером, и мы должны их выполнить, иначе опозоримся, а

нам, кажется, и без того хватает позора!

Его внезапная вспышка поразила меня. Я представил себе, каково этим двум столь разным людям уживаться в маленькой гостинице. Мальчик и мать — одни вдвоем уже много лет (я решил, что муж этой женщины трагически погиб в результате несчастного случая с молотилкой). Мальчик, конечно, был совсем маленький и отца не помнит, но все равно боготворит и до сих пор не простил мать за то, что она заставляла отца работать каждый божий час. А потом началась война, и мальчика не взяли по возрасту. Он хотел пойти добровольцем, но над ним только посмеялись. Назвали храбрым мальчуганом и велели прийти снова через пару лет, когда у него вырастут волосы на груди. Если к тому времени эта чертова война не кончится. Тогда его возьмут. И он вернулся к матери и сказал ей, что пока никуда не идет, — и презрительно заметил облегчение на ее лице.

Уже тогда я при каждом удобном случае воображал подобные сценарии, продираясь через спутанный подлесок обстоятельств в густом лесу своего воображения.

— Мистер Сэдлер, прошу извинить моего сына. — Миссис Кантуэлл наклонилась вперед и оперлась обеими ладонями о конторку. — Он очень возбудим, вы сами видите.

— Это-то тут при чем? — не сдавался Дэвид. — У нас обязательство.

— И мы бы хотели его выполнить, но...

Я пропустил конец ее речи, так как юный Дэвид взял меня под локоть. Его фамильярность меня удивила, и я отстранился, а он прикусил губу, нервно оглянулся и заговорил вполголоса:

— Мистер Сэдлер! Можно с вами поговорить наедине? Уверяю вас, я совсем не так желал бы вести дела в этом пансионе. Думаю, вы о нас весьма невысокого мнения. Но прошу вас, пройдем в гостиную. Там сейчас никого нет, и...

— Хорошо, — согласился я, ставя саквояж на пол перед конторкой миссис Кантуэлл. — Можно я оставлю вещи тут?

Она закивала, сглотнула и стала снова заламывать свои несчастные руки. Кто угодно догадался бы, что она готова скорее принять мучительную смерть, нежели продолжать беседу со мной. Я последовал за ее сыном в гостиную, частью заинтересованный, частью выбитый из колеи таким явным расстройством хозяев заведения. Я устал с дороги, и, кроме того, меня раздирали противоречивые чувства, вызванные теми самыми причинами, которые привели меня в Норидж. Больше всего на свете я сейчас хотел пойти к себе в номер, закрыть дверь и остаться наедине со своими мыслями.

По правде сказать, я не представлял, смогу ли выполнить намеченное на завтра. Поезда в Лондон отправляются каждые два часа, начиная с десяти минут седьмого утра — это четыре возможности покинуть город до назначенной мне встречи.

— Ужас, что за история, — начал Дэвид Кантуэлл, слегка присвистнув сквозь зубы, когда мы вошли в гостиную и дверь за нами закрылась. — И мамка не то чтобы справляется, а, мистер Сэдлер?

— Послушайте, может быть, вы наконец объясните, в чем дело. Я послал вам деньги с письмом, чтобы забронировать комнату.

— Конечно, сэр, послали, а как же. Я сам зарегистрировал вашу бронь. Мы собирались поселить вас в четвертый номер. Это я решил. В нем тише всего. Тюфяк отчасти комковат, но сетка кровати еще хоть куда, и многие постояльцы отмечают, что в этой постели весьма хорошо спится. Я читал ваше письмо, сэр, и решил, что вы военный. Это так?

Я поколебался, потом отрывисто кивнул:

— Был. Конечно, уже нет. С тех пор как все кончилось.

У мальчика загорелись глаза.

— А вы прямо в самом пекле были? — спросил он.

Я чувствовал, как мое терпение истощается.

— Комната. Дадите вы мне комнату или нет?

— Понимаете, сэр, это от вас зависит. — Мой ответ его явно разочаровал.

— Как так?

— Наша прислуга, Мэри, она сейчас там, дезинфицирует все. Она, ясное дело, заартачилась, не скрою от вас, но я напомнил ей, что над дверью этого заведения — мое имя, а не ее, так что пускай делает что велено, если хочет сохранить место.

— А я думал, это имя вашей матушки. — Я решил его немного подразнить.

— Ну и мое тоже, — с негодованием ответил он, выпучив на меня глаза. — В общем, когда Мэри управится, комната будет как новенькая и даже лучше, обещаю. Мамка не хотела вам ничего говорить, но как вы есть армейский человек...

— Бывший, — поправил я.

— Да, сэр. В общем, я считаю, я должен вам сказать, и чтоб вы сами решали, иначе это будет неуважение.

Я был решительно заинтригован и принялся перебирать в уме возможности. Может быть, убийство? Или самоубийство. Частный детектив застал блудного мужа в объятиях другой женщины. Или что-нибудь заурядное — непотушенная папироса подожгла содержимое корзины для бумаг. Или постоялец сбежал среди ночи, не заплатив. Снова запутанные обстоятельства. Снова свалки и пустыри.

— Я буду счастлив решить сам, но только если вы...

— Он и раньше у нас останавливался, — перебил меня мальчик. Голос его окреп в решимости рассказать мне всю правду, пусть неприглядную. — Мистер Чартерс его зовут. Эдвард Чартерс. Я всегда думал, что он очень респектабельный. Работает в банке в Лондоне, но у него мать где-то в Ипсвиче, и он время от времени ездит ее навещать и на обратном пути задерживается в Норидже на день-другой. И всегда у нас останавливался. Никогда с ним никакой беды не было, сэр. Тихий джентльмен, ни с кем не знался. Хорошо одевался. Всегда просил четвертый номер, потому как это хорошая комната, а я был рад ему услужить. Это я распределяю постояльцев по комнатам, мистер Сэдлер, потому что мамка путается в цифрах и...

— И что этот мистер Чартерс? Он отказался освободить комнату?

Мальчик помотал головой:

— Нет, сэр.

— С ним что-то случилось? Он заболел?

— Нет, ничего такого, сэр. Понимаете, мы дали ему ключ. На случай, если он поздно вернется. Мы даем ключи самым благонадежным гостям. Я разрешаю. Я и вам готов дать ключ, вы же были в армии. Я сам хотел пойти, сэр, но меня не взяли, потому как...

— Прошу вас, — перебил я, — давайте все же...

— Да, сэр, простите. Только это очень некрасивая история, вот и все. Мы ведь с вами знаем свет, правда, мистер Сэдлер? Я могу говорить откровенно?

Я пожал плечами. Наверное. Трудно судить. Если честно, я даже не очень понимал, что означает это выражение.

— Дело в том, что утром у нас вышел некоторый шум. — Мальчик понизил голос и доверительно склонился ко мне. — И конечно, весь дом перебудили к чертям. Простите, сэр. — Он горестно покачал головой. — Оказалось, что мистер Чартерс, которого мы считали тихим, добропорядочным джентльменом, вовсе не таков. Вчера вечером он вышел, а вернулся не один! Конечно, у нас есть правила, которые ничего подобного не допускают.

Я невольно улыбнулся. Какие строгости! Словно этих четырех лет и не было вовсе.

— И это все? — спросил я, вообразив себе одинокого мужчину, заботливого сына ипсвичской старушки. Он нашел себе спутницу на вечер, готовую скрасить его одиночество, — может быть, совершенно неожиданно нашел, и влечение пересилило осторожность. И вовсе незачем из-за этого поднимать такой шум.

— Нет, не то чтобы все, сэр. Понимаете... человек, которого привел мистер Чартерс, оказался просто-напросто воришкой. В результате мистера Чартерса обокрали, а когда он запротестовал, приставили ему нож к горлу, и вот тут-то поднялся шум до небес. Мамка проснулась, я проснулся, другие гости выскочили в коридор прямо как были, в ночном платье. Мы постучали ему в дверь, а когда ее открыли... — Он, кажется, колебался, стоит ли

продолжать. — Мы, ясное дело, позвали полицию. Их обоих забрали. Но мамка ужасно расстроилась. Ей кажется, что наше заведение теперь испачкано. Она поговаривает о том, чтобы его продать, вы можете в это поверить? И уехать обратно к ее родне в западные графства.

— Наверняка мистер Чартерс тоже весьма сильно расстроился, — сказал я, искренне сочувствуя. — Бедняга. Я понимаю, арестовали его спутницу — она угрожала физическим насилием, но его-то за что? Неужели за моральное падение?

— Именно, сэр. — Дэвид выпрямился в полный рост и взглянул на меня с величайшим негодованием. — Это именно что глубочайшее моральное падение.

— Но ведь он не нарушил закон, насколько я понимаю. Не вижу, за что его призвали к ответу, даже если он украдкой немного погрешил против нравственности.

— Мистер Сэдлер, — хладнокровно произнес Дэвид. — Я скажу вам все как есть, потому что вы, видно, меня не поняли. Мистер Чартерс привел вовсе не даму, а юношу.

Он кивнул мне, как один знающий свет человек другому. Я покраснел и отвернулся.

— Ах вот оно что, — протянул я. — Тогда понятно.

— Теперь вы видите, почему мамка так расстроена. Если это выплывет наружу... — Он быстро взглянул на меня, словно ему вдруг пришла в голову какая-то мысль. — Надеюсь, сэр, вы сохраните все это в тайне. Иначе мы по миру пойдем.

— А... конечно, конечно. Это... это ведь не касается никого, кроме вас.

— Но остается вопрос с комнатой, — деликатно напомнил он. — Желаете ли вы теперь в ней остановиться? Как я уже сказал, ее сейчас тщательно чистят.

Я подумал, но не нашел доводов против.

— Честное слово, мистер Кантуэлл, меня это не беспокоит. Я очень сочувствую вашим трудностям и расстройству вашей матушки, но хотел бы занять эту комнату сегодня, если можно, так как мне надо где-то ночевать.

— Тогда все улажено, — бодро произнес он, открыл дверь и шагнул в коридор.

Я пошел за ним, слегка удивленный краткостью нашей беседы. Хозяйка, по-прежнему стоявшая за конторкой, взглянула на меня и быстро перевела взгляд на сына, а потом обратно.

— Мистер Сэдлер вошел в наше положение, — объявил мальчик. — Он желает снять этот номер, несмотря ни на что. Я пообещал, что комната будет готова через час. Надеюсь, я не ошибся?

Он говорил с матерью так, словно уже был хозяином заведения, а она — прислугой.

— Все так, Дэвид, — ответила она с явным облегчением. — Сэр, вы очень добры, если мне позволено так выразиться. Будьте любезны, запишитесь в книге для постояльцев.

Я склонился над книгой и аккуратно вписал в нее свое имя и адрес. Перо несколько раз брызнуло чернилами, пока я старался его удержать страдающей от спазмов правой рукой.

— Можете подождать в гостиной, если желаете, — предложил Дэвид, глядя на мой дрожащий указательный палец и, без сомнения, строя всякие догадки. — Или, если угодно освежиться с дороги, через несколько домов отсюда есть весьма приличный паб.

— Да, я думаю, это подойдет. — Я осторожно положил перо обратно на конторку, со стыдом глядя на оставленные мною кляксы. — Вы не могли бы взять на хранение мой саквояж?

— Конечно, сэр.

Я нагнулся, достал из саквояжа книгу, снова закрыл его, выпрямился и поглядел на часы:

— Я могу вернуться в половине восьмого?

— Комната будет готова к этому времени, сэр, — заверил Дэвид, подводя меня к двери и распахивая ее. — И еще раз примите мои извинения. Мир — странное место, а, сэр? Никогда не знаешь, какие выродки попадутся на пути.

— Действительно, — сказал я и вышел на свежий воздух.

На улице было ветрено, так что я поплотнее запахнул плащ и пожалел, что не взял

перчатки. Но они остались в пансионе, в саквояже, под надзором миссис Кантуэлл, а я не желал дальнейших бесед ни с матерью, ни с сыном.

Вдруг я — впервые за день — вспомнил, что сегодня мне исполняется двадцать один год. К своему удивлению, я умудрился об этом начисто позабыть.

* * *

Я дошел до паба, носящего название «Герб плотника», но у входа мой взгляд упал на латунную табличку с черными матовыми буквами: ВЛАДЕЛЕЦ — ДЖ. Т. КЛЕЙТОН. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОДАЖУ ПИВА И КРЕПКИХ НАПИТКОВ. Я застыл, уставившись на нее и не дыша, — от страха в жилах словно потекли ледяные струйки. Мне ужасно захотелось курить. Я похлопал по карманам в поисках пачки «Голд флейк», купленной сегодня утром на станции Ливерпуль-стрит, но уже понимал, что сигареты потеряны — остались на сиденье в купе, когда я помогал писательнице с чемоданом. Наверное, и до сих пор там лежат, если их кто-нибудь не прибрал к рукам.

ВЛАДЕЛЕЦ — ДЖ. Т. КЛЕЙТОН.

Должно быть, совпадение. Сержант Клейтон, насколько я помнил, был из Ньюкасла. Во всяком случае, говорил он как тамошний уроженец. Но кажется, его отец был крупной шишкой в пивоваренной компании? Или я что-то перепутал? Нет, это смешно, решил я и потряс головой. Клейтонов в Англии наверняка тысячи, в любом уголке. Десятки тысяч. Это не может быть тот самый. Я решительно отринул болезненные фантазии, толкнул дверь и вошел.

Бар был ни полон, ни пуст, все посетители явно из рабочих. Они мельком глянули на меня и возобновили свои разговоры. Я, хоть и был чужаком, не чувствовал неловкости, а лишь довольство, рожденное ощущением, что я среди людей и в то же время сам по себе. С тех пор прошло много лет, и я провел в пабах слишком много времени; я читал или писал, горбясь над залитыми пивом колченогими столами, прорывая карандашом картонные подкладки для пивных бокалов, ведя своих героев — кого из сточной канавы к славе и богатству, а кого, наоборот, из особняков в нищету. Один, всегда один. Я пил не чрезмерно, но все же пил. В правой руке сигарета, на левой манжете одно-два прожженных пятна. Этот карикатурный портрет — писателя, строчащего в укромных уголках лондонских салунов, — страшно раздражал меня. В последние годы я даже восставал против него, ошестиниваясь или скуля в интервью, как загнанный пес. Но на самом деле он правдив. Ведь шум переполненного паба неизмеримо сильнее греет душу, чем тишина пустого дома.

— Чего желаете, сэр? — радушно спросил мужчина, который стоял без пиджака за стойкой бара и тряпкой стирал с нее дорожку капель пролитого пива. — Что вам налить?

Я обвел глазами ряд кранов, тянувшийся перед барменом, — большинство названий мне раньше не встречалось, видно, местные сорта — и выбрал наугад.

— Пинту, сэр?

— Да, спасибо, — ответил я и стал глядеть, как он снимает стакан с подставки у себя за спиной, машинально проглядывает его на свет — нет ли отпечатков пальцев или пыли — и, удовлетворенный, выверенно наклоняет стакан и открывает кран. В пышных усах застряли крошки слоеного теста. Меня это одновременно заворожило и наполнило отвращением.

— Вы владелец? — спросил я через несколько секунд.

— Точно, сэр, — улыбнулся он. — Джон Клейтон. Мы знакомы?

— Нет-нет. — Я выудил из кармана несколько монет. Значит, можно не бояться.

— Благодарю вас, сэр, — он поставил пинту передо мной. Мой вопрос его явно не встревожил.

Я поблагодарил в ответ, прошел в полупустой угол паба, снял плащ и сел с глубоким вздохом удовлетворения. Может, это и к лучшему, что моя комната оказалась не готова, подумал я, глядя, как отстаивается темный эль в стакане. Шапка пены словно подмигивала мне — это пузырьки воздуха пробирались наверх и лопались, пока я предвкушал огромное

наслаждение первого глотка после утомительного путешествия по железной дороге. Я подумал, что могу ведь тут и весь вечер просидеть. Напиться допьяна, поднять шум. Тогда полиция меня арестует, запрет в камеру и наутро отправит назад в Лондон первым же поездом. И уже не надо будет доводить задуманное до конца. Я стану беспомощной жертвой обстоятельств.

Я глубоко вздохнул, запретил себе фантазировать и вытащил из кармана книгу. От пачки переплетенных страниц, как всегда, повеяло надежностью и покоем. В тот понедельник в середине сентября 1919 года я читал «Белый Клык» Джека Лондона. Я перевел взгляд на суперобложку: щенок, обрисованный силуэтом, осторожно принюхивается на фоне каких-то сосен. Судя по тому, как падают тени от ветвей, дорога врежется глубоко в сердце гор, лежащих впереди. Полная луна освещает собаке путь. Я раскрыл книгу на месте, заложенном закладкой, но, прежде чем читать, в который раз заглянул на титульную страницу и посмотрел на дарственную надпись: «Старому приятелю Ричарду, верному псу не хуже самого Белого Клыка. Джек». Книгу я нашел несколькими днями раньше на лотке у двери букинистического магазина, одного из многих на Чаринг-кросс-роуд. И лишь придя домой и раскрыв покупку, заметил надпись. Книготорговец запросил за подержанный томик лишь полпенни, и я решил, что надпись он проглядел. Я счел ее ценным довеском к покупке, хотя, конечно, у меня не было никакого способа узнать, что за Джек подписал книгу — тот же, что написал ее, или какой-нибудь другой. Но мне нравилось думать, что именно тот. Я обвел буквы указательным пальцем правой руки — как раз тем, который так противно дрожал, — представляя себе, как перо великого писателя оставляет след на странице. Но, вопреки полету юношеских надежд, литература не принесла исцеления — казалось, дрожь даже усилилась. Я с отвращением отдернул руку.

— А что же это вы читаете? — спросили от одного из ближних столиков.

Я повернулся — ко мне обращался мужчина средних лет. Удивленный внезапным вопросом, я молча показал обложку романа мужчине, чтобы он мог прочесть название.

— Никогда не слышал. — Он пожал плечами. — Что, хорошая книжка?

— Очень хорошая. Прямо-таки отличная.

— Отличная? — повторил он, чуть улыбаясь, — слово прозвучало так, точно было ему в диковину. — Ну что ж, раз отличная, надо будет глянуть. Я-то всегда любил книжки. Ничего, если я к вам подсяду? Или вы кого-то ждете?

Я поколебался. До того я думал, что хочу быть один, но предложение незнакомца вдруг показалось приемлемым.

Я указал на соседний стул:

— Прошу.

Мужчина пересел и поставил свой полупустой стакан на стол между нами. Мой собеседник пил более темное пиво, чем я. От него пахло застарелым потом — должно быть, после долгого трудового дня. Как ни странно, этот запах меня не беспокоил.

— Меня звать Миллер, Уильям Миллер.

— Тристан Сэдлер, — отозвался я и пожал ему руку. — Приятно познакомиться.

— Взаимно, — ответил он.

Я решил, что ему лет сорок пять. Ровесник моего отца. Но совсем не похож на него — более хрупкого сложения, с добрым, задумчивым лицом, то есть полная противоположность.

— Вы из Лондона, а? — спросил он, разглядывая меня.

— Верно, — ответил я, улыбаясь. — Что, так заметно?

Он подмигнул мне:

— Я по голосу определяю. Про большинство людей могу сказать, где они росли, с точностью до двадцати миль. Жена моя называет это «фокусом для вечеринок», но я с ней не согласен. Для меня это не просто забава.

— И где же рос я, мистер Миллер? — спросил я, предвкушая развлечение. — Можете определить?

Он прищурился, уставился на меня и молчал почти целую минуту, только тяжело

дышал носом. Потом осторожно сказал:

— Чизик, наверное. Кью-Бридж. Где-то в тех местах. Попал?

Я удивленно и радостно засмеялся.

— Чизик, Хай-стрит. Мой отец держал мясную лавку. Там мы и выросли.

— «Мы»?

— Я и моя младшая сестра.

— Но теперь вы тут живете, в Норидже?

— Нет, — я покачал головой, — нет, я теперь живу в Лондоне. Хайгейт.

— Далеко от семьи забрались, — заметил он.

— Да, — ответил я. — Знаю.

Из-за стойки бара донесся звон — это стакан грохнулся об пол и разлетелся на миллион частей. Я дернулся в направлении звука, инстинктивно вцепившись в край стола, и расслабился, лишь когда владелец пожал плечами и нагнулся со щеткой и совком собрать осколки. Мужчины, сидевшие у стойки бара, насмешливо и весело заухали.

— Стакан упал, только и всего, — успокоил собеседник, заметив мой испуг.

— Да, конечно. — Я попытался засмеяться, но тщетно. — Просто очень неожиданно.

— Ты там до конца был, а? — спросил он, и я взглянул на него. Он вздохнул, улыбка сошла с лица. — Прости, парень. Зря я спросил.

— Ничего, — тихо сказал я.

— Мои два мальчика там были, понимаешь. Хорошие мальчики. Один всегда был озорником, другой больше похож на нас с тобой. Читатель. На пару лет старше тебя. Тебе сколько, девятнадцать?

— Двадцать один. — Новый возраст был мне еще непривычен.

— Ну вот, а нашему Билли теперь было бы двадцать три, а Сэму как раз исполнилось бы двадцать два.

Произнося их имена, он улыбался, но потом сглотнул и отвернулся. Сослагательное наклонение теперь часто возникало в разговоре о детях. Другие слова были не нужны. Мы несколько секунд посидели молча, и мой собеседник, неуверенно улыбаясь, снова заговорил:

— Ты даже похож на Сэма.

— Правда? — переспросил я.

Это сравнение было мне странно приятно. Я снова вошел в лес своего воображения и, продравшись через подлесок и заросли крапивы, представил себе Сэма, который любил книги и надеялся в один прекрасный день сам что-нибудь написать. Я словно присутствовал в тот вечер, когда он объявил родителям, что не станет ждать, пока его возьмут, — пойдет сам, чтобы Билли не был там один. Я представил себе дружбу братьев, заново крепнущую в учебной военной части, их отвагу на поле брани и героическую смерть. Это Сэм, решил я. Это сын Уильяма Миллера. Я знал его.

— Наш Сэм был хороший мальчик, — прошептал мой собеседник через минуту и трижды хлопнул ладонью по столу, словно говоря: «Баста!» — Выпьешь еще, парень? — Он показал взглядом на мой полупустой стакан.

Я покачал головой:

— Пока нет. Но спасибо. У вас случайно закурить не найдется?

— А как же, — ответил он, выуживая из кармана жестяной портсигар — судя по виду, его спутник с самых юных лет.

Внутри лежало около дюжины аккуратнейшим образом свернутых папирос, он вручил мне одну. Рука у него была грязная, линии на большом пальце резко очерчены и потемнели — я решил, что от физического труда.

— Такой скрутки и в табачной лавке не увидишь, а? — спросил он, улыбаясь и показывая на папиросу идеальной цилиндрической формы.

— Верно, — согласился я. — Вы мастер.

— Не я, — поправил он, — это жена их для меня крутит. Каждое утро спозаранку, когда я еще завтракаю, она уже сидит в углу кухни с пачкой папиросных бумажек и пакетом

махорки. Несколько минут — и готово. И отправляет меня с полным портсигаром. Вот мне повезло, а? Не многие женщины станут такое делать.

Я засмеялся, представив себе эту упоительную картину домашнего счастья.

— Вы счастливчик.

— А то я не знаю! — вскричал он с деланным возмущением. — А что же ты, Тристан Сэдлер?

Именуя меня так, он, видимо, хотел избежать слишком фамильярного обращения по имени; в то же время «вы» и «мистер» прозвучало бы слишком официально.

— Женат, а?

— Нет.

— Ну так есть милка в Лондоне?

— Никого особенного на примете. — Я не хотел признаваться, что и неособенного никого у меня тоже нет.

— Ну что ж, дело молодое, — сказал он с улыбкой, но без вульгарной ухмылки, с которой иногда люди постарше отпускают подобные замечания. — Я тебя не виню, да и никого из вас не виню, после всего, через что вы прошли. Будет еще время и для свадеб, и для деток, в свой черед. Но господибожемой, до чего же девчонки радовались, когда вы все вернулись, а?

Я засмеялся.

— Должно быть, так.

Я уже начал уставать: долгий путь брал свое, а пиво на пустой желудок клонило меня в сон и кружило голову. Еще один стакан меня точно погубит.

— Так у тебя родня в Норидже? — спросил мистер Миллер.

— Нет.

— Первый раз тут?

— Да.

— Значит, надумал выходной себе устроить? Отдохнуть от большого города?

Чуть поколебавшись, я решил соврать.

— Да. Приехал отдохнуть на пару дней.

— Ну так ты отличное место выбрал, точно тебе говорю. Я-то здесь родился и вырос. И мальцом тут жил, и взрослым. Больше нигде на свете не согласился бы жить и не понимаю тех, кто живет в других местах.

— Но ведь вы разбираетесь в говорах, — заметил я. — Должно быть, все же путешествовали.

— Щенком еще. Но я прислушиваюсь к людям, мой секрет как раз в этом. Большинство людей никогда не слушает. — Он подался вперед: — А порой я даже угадываю, о чем они думают.

Я посмотрел на него, чувствуя, как каменеет мое лицо. Наши глаза встретились — словно в поединке или на пари, и ни один из нас не отвел взгляда и не моргнул.

— Неужели, — произнес я наконец. — Выходит, вы знаете, о чем я думаю, а, мистер Миллер?

— Нет, это нет, парень. — Он все глядел мне в глаза. — А вот что ты чувствуешь — да. Это я, пожалуй, могу точно сказать. Хотя для этого не нужно мысли читать. Довольно было один раз глянуть на тебя, когда ты вошел.

Он, кажется, не собирался развивать эту тему, так что пришлось задать вопрос — вопреки всем внутренним голосам, которые вопили, чтобы я не будил лихо, пока оно спит.

— Так что же, мистер Миллер? — Я изо всех сил сохранял безразличное выражение. — Что я чувствую?

— Я бы сказал, две вещи. Во-первых, вину. Я не шевелился и все так же глядел на него.

— А еще что?

— Ну как же, — ответил он. — Ты себя ненавидишь.

Я бы ответил — уже открыл рот, чтобы ответить, — но сам не знаю, что я собирался

сказать. Хотя мне это все равно бы не удалось, потому что мой собеседник снова хлопнул по столу, разрушая воздвигнутую между нами невидимую преграду, и глянул на часы, которые висели на стене.

— Не может быть! — вскричал он. — Уже так поздно! Пойду-ка я домой, а то моя хозяйка все кишки из меня выдерет. А тебе, Тристан Сэдлер, удачного отдыха. — Он поднялся, улыбаясь мне. — Ну или ради чего ты там приехал. И благополучно добраться до дому, когда все кончится.

Я кивнул на прощанье, но остался сидеть. Только смотрел, как он идет к двери. В самых дверях он повернулся и молча махнул рукой на прощанье ВЛАДЕЛЬЦУ ДЖ. Т. КЛЕЙТОНУ, обладателю ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОДАЖУ ПИВА И КРЕПКИХ НАПИТКОВ.

Я снова взглянул на «Белого Клыка», лежащего на столе обложкой вверх, но вместо книги потянулся к стакану. Когда я допил его, моя комната уже, скорее всего, ждала меня, но я был не готов идти обратно. Так что я поднял палец в направлении бара, и передо мной вмиг появилась новая пинта; последняя на сегодня, клятвенно пообещал я себе.

* * *

Моя комната в пансионе миссис Кантуэлл — злополучный четвертый номер — вчера явно обеспечила мрачный фон развернувшимся в ней драматическим событиям. Тусклые печатные обои с изображением увядших гиацинтов и цветущих крокусов как будто помнили былые времена, повеселей. На выгоревшем квадрате прямо напротив окна рисунок обоев побелел, а ковер под ногами кое-где протерся до основы. К одной стене был притиснут письменный стол; в углу — фаянсовая раковина со свежим куском мыла на краешке. Я огляделся. Мне пришлось по душе чисто английская деловитая недосказанность этой комнаты, ее голая функциональность. Эта комната, безусловно, была лучше моей детской спальни, но хуже моей квартирки в Хайгейте, которую я обставил продуманно, экономно и заботливо.

Я посидел на кровати, воображая драму, разыгравшуюся здесь прошлой ночью: несчастный мистер Чартерс пытается добиться ласк мальчика, а потом — сохранить достоинство, оказавшись жертвой ограбления, покушения на убийство и ареста, и все это на протяжении часа. Я пожалел его и задался вопросом — успел ли он получить вожделенное преступное удовольствие до того, как начался кошмар? Заманили его умышленно или он оказался несчастной жертвой обстоятельств? Впрочем, возможно, он на самом деле не был таким тихоней, каким рисовался Дэвиду Кантуэллу, и искал удовлетворения, которого ему вовсе не предлагали.

Я медленно поднялся — ноги гудели после целого дня в дороге. Снял носки и ботинки, повесил рубашку на подлокотник кресла и остался посреди комнаты в брюках и майке. Когда я услышал миссис Кантуэлл — она постучала в дверь и окликнула меня, — первым моим побуждением было снова одеться и обуться, но у меня не было сил, да и нельзя сказать, что я своим видом нарушал пристойность. Я открыл дверь. Хозяйка стояла на пороге с подносом в руках.

— Простите, что я вас побеспокоила, — сказала она, снова нервно улыбаясь, — без сомнения, печать долгих лет привычного подбострастия. — Я подумала, что вы, наверное, голодны. И что мы перед вами в долгу за сегодняшнюю неприятность.

Я поглядел на поднос — чайник, сэндвич с ростбифом и кусочек пирога с яблоками. Меня пронизала благодарность. Я и сам не понимал, до чего голоден, пока не увидел всю эту еду. Я поел утром перед выездом из Лондона, но я обычно очень легко завтракаю, только чай и кусочек тоста. В поезде я проголодался, но выбор в вагоне-ресторане был скудный — я осилил половину едва теплого пирога с курицей и с отвращением отодвинул его. День натошак и две пинты пива в «Гербе плотника» пробудили у меня волчий голод, и я открыл дверь пошире, пропуская хозяйку внутрь.

— Благодарю вас, сэр. — Она, колебавшись, обвела взглядом комнату, словно желая

убедиться, что в ней не осталось следов вчерашнего безобразия. — Я поставлю на стол, если не возражаете.

— Огромное вам спасибо, миссис Кантуэлл. Я бы и не подумал вас беспокоить, требуя еды в такой час.

— Никакого беспокойства, — ответила она, поворачиваясь ко мне и слегка улыбаясь; она внимательно оглядела меня и так долго рассматривала мои голые ступни, что мне стало неловко и я начал спрашивать себя, что такое она могла в них увидеть. Наконец она опять перевела взгляд на мое лицо. — Вы завтра будете обедать тут, в пансионе? — спросила она, и мне показалось, что она хочет заговорить о чем-то другом, но не находит нужных слов. Еда, безусловно столь желанная для меня, была только предлогом.

— Нет. У меня встреча в час дня, так что я уйду еще до полудня. Я собираюсь прогуляться и посмотреть город, если проснусь достаточно рано. Можно я оставлю здесь свои вещи и заберу их перед вечерним поездом?

— Конечно.

Она явно не собиралась уходить; я молчал, ожидая, чтобы она заговорила.

— Насчет Дэвида, — наконец решила она. — Надеюсь, он сегодня не слишком вам докучал?

— Вовсе нет. Он очень деликатно описал положение дел. Пожалуйста, ни в коем случае не думайте, что я...

— Нет-нет, — она быстро покачала головой, — я не об этом. То дело прошло и, я надеюсь, будет забыто. Просто он иногда слишком много вопросов задает тем, кто был в армии. То есть тем, кто был там. Я понимаю, большинство из вас не любит вспоминать, но Дэвид не отстает. Я пыталась с ним говорить, но это трудно.

Она пожала плечами и отвернулась, словно признавая свое поражение.

— С ним трудно, — поправила она. — Он такой мальчик, с которым одинокой женщине бывает нелегко.

Тут уже я отвел глаза, смущенный фамильярностью ее тона, и поглядел в окно. Высокий каштан загораживал вид на улицу, и я поймал себя на том, что вглядываюсь в густое сплетение ветвей и еще одно детское воспоминание удивительно безжалостно вторгается в мои мысли. Мы с Лорой, моей младшей сестрой, собираем каштаны, — деревьями засажены проспекты возле Кью-Гарденс. Дома обдираем колючую шелуху и либо стреляем каштанами из рогатки, либо жарим и наслаждаемся горячим лакомством. Я немедленно прогнал это воспоминание.

— Ничего страшного. — Я снова повернулся к миссис Кантуэлл: — Мальчиков в таком возрасте это всегда интересует. Ему сколько, семнадцать?

— Семнадцать, только что исполнилось. Он так сердился в прошлом году, когда война кончилась.

— Сердился? — удивленно нахмурился я.

— Да, согласна, это смешно звучит. Но он так долго предвкушал, как сам пойдет. Он каждый день читал об этом в газетах, следил за судьбой всех здешних ребят, которых отправили во Францию. Даже пару раз пытался пойти, прибавив себе лет, но над ним только посмеялись и послали обратно к маме, а я вам скажу, сэр, что это они неправильно поступили. Он только хотел принести какую-то пользу, и вовсе незачем было над ним смеяться. А когда все кончилось — ну, по правде сказать, он решил, что пропустил что-то важное.

— Пропустил, чтобы ему оторвало голову снарядом, — сказал я, и мои слова заматались по комнате, рикошетируя от стен и осыпая нас обоих шрапнелью.

Миссис Кантуэлл дернулась, но глаз не отвела.

— Понимаете, он на это по-другому смотрит, — тихо ответила она. — Его отец был там. Погиб в самом начале.

— Простите.

Итак, несчастный случай с молотилкой все же оказался моей фантазией.

— Да, ну вот, Дэвиду было тогда только тринадцать лет, и он уж так любил отца, даже необычно для мальчика. Мне кажется, он так и не оправился с тех пор, если честно. Ну вы сами видите, как он себя ведет. Все время сердится. Та к трудно с ним разговаривать. Конечно, он во всем винит меня.

— Как все мальчишки в таком возрасте, — с улыбкой сказал я, удивляясь, что говорю как зрелый мужчина, когда на самом деле я старше ее сына только на три года.

— Конечно, я-то хотела, чтобы война закончилась, — продолжала она. — Я об этом молилась. Чтобы он не попал туда и не страдал, как вы все страдали. Я даже представить себе не могу, каково вам пришлось. Ваша бедная матушка, наверное, места себе не находила.

Я пожал плечами, но тут же перевел это движение в кивок: я не собирался развивать затронутую ею тему.

— Но где-то в маленьком уголке души, совсем крохотном, я надеялась, что его все-таки возьмут. На неделю-другую, не больше. И чтобы он не участвовал ни в каких битвах. Не дай бог с ним бы что-нибудь случилось. Но побыть неделю с другими мальчишками ему было бы полезно. А потом настал бы мир.

Я не понял, говорит она о мире в Европе или на ее личном кусочке Англии. Но спрашивать не стал.

— В общем, я просто хотела за него извиниться. — Она улыбнулась. — А теперь кушайте, не стану вам мешать.

— Спасибо, миссис Кантуэлл. — Я проводил ее до двери и постоял, глядя, как она торопливо уходит по коридору. Она озиралась, словно не понимая, в какую сторону идти, хотя, скорее всего, прожила в этом доме всю свою взрослую жизнь.

Я вернулся в комнату, закрыл дверь и съел сэндвич — с нарочитой неторопливостью, чтобы спешка не нарушила хрупкое равновесие моего желудка. Запил чаем — горячим, сладким и крепким — и снова почувствовал себя человеком. Время от времени до меня доносились шумы из коридора — стенки номера были тонкие, как бумага. Я дал себе клятву уснуть до того, как вернуться на ночь мои соседи из третьего и пятого номеров. Риск провести бессонную ночь был для меня неприемлем — завтра мне понадобятся все силы.

Я отставил поднос, снял майку и обмылся у раковины холодной водой. Вода тут же натекла мне в штаны, так что я задернул занавески на окне, включил свет, разделся догола и обмыл все тело, как мог. На кровати лежало приготовленное для меня свежее полотенце, но оно оказалось из такой материи, которая тут же намокает. Я безжалостно растерся этим полотенцем, как нас учили в первый день в Олдершоте, и повесил его на край раковины, чтобы высохло. Чистоплотность, гигиена, внимание к деталям — вот приметы хорошего солдата. Все эти вещи уже стали моей второй натурой.

В углу было высокое зеркало. Я встал перед ним, критически разглядывая собственное тело. Грудь, когда-то (лет в восемнадцать) хорошо накачанная и мускулистая, за последнее время потеряла свои четкие очертания и стала бледной. На ногах гневно краснели поперечные шрамы; на животе расплывался темный синяк, упорно не желающий бледнеть. Мой вид решительно не радовал глаз.

Я знал, что когда-то, в мальчишеские годы, был гораздо привлекательнее. Люди тогда считали, что у меня приятная внешность. Они мне часто об этом говорили.

По ассоциации я вспомнил про Питера Уоллиса. В детстве мы с Питером были лучшими друзьями. А от мыслей о Питере было совсем недалеко до Сильвии Картер, которая появилась на нашей улице, когда нам обоим было по пятнадцать лет, и именно ее присутствие в конце концов привело к моему полному отсутствию. В детстве мы с Питером были неразлучны, он — с черными как смоль кудряшками, я — с непокорной соломенной копной на голове; волосы все время лезли мне в глаза, даже несмотря на то, что отец часто сажал меня на стул у обеденного стола и быстро стриг тяжелыми мясницкими ножницами, теми самыми, которыми срезал жилы с отбивных в лавке на первом этаже.

Мать Сильвии смотрела вслед нам троим, убегающим по улице, — мне, Питеру и своей дочери; юность объединяла нас, как общая тайна, и мать боялась, как бы дочь не попала в

беду. И это беспокойство было оправданным, потому что мы с Питером были в таком возрасте, когда говорят только о сексе — как мы жаждем секса, где собираемся искать удовлетворения и какие ужасные вещи продelaем с несчастным созданием, которое нам его предложит.

В то лето мы купались вместе и не могли не заметить, как меняются наши тела; мы с Питером выросли и набирались уверенности, привлекая дразнящие взгляды и вызывая игривые реплики Сильвии. Однажды, когда мы с ней были вдвоем, она сказала, что никогда не встречала мальчика красивее меня и что у нее мурашки по спине бегают, когда я выхожу из пруда, сверкая гладким мокрым телом, в плавках, черных, мокрых и капающих, как шкура выдры. Эти слова вызвали во мне возбуждение, смешанное с отвращением, и когда мы поцеловались, я — сухими губами и робким языком, Сильвия — как раз наоборот, то у меня мелькнула мысль, что если такая красotka считает меня привлекательным, то, может, я и вправду не так уж безобразен. Я пришел в восторг, но ночью в постели, доводя себя до пика стремительными, драматичными фантазиями, столь же стремительно исчезающими, я воображал страшные, отвратительные сцены, в которых Сильвия вовсе не участвовала. А потом, преисполненный омерзения и опустошенный, я скрючивался на мокрых от пота простынях и глотал слезы, пытаясь понять, что со мной не так, что со мной, черт побери все на свете, не так.

Тот поцелуй остался нашим единственным: неделю спустя Питер и Сильвия объявили, что любят друг друга и желают соединить свои жизни. Достигнув совершеннолетия, они поженились. Я сходил с ума от ревности и мучился унижением, ибо, сам того не сознавая, безответно влюбился; я и не заметил, как любовь вползла мне в сердце, и когда я видел Питера и Сильвию, когда воображал все, что они делают друг с другом, оставшись наедине, меня терзали мучительные спазмы горя и я ощущал к ним обоим только ненависть.

Но все же именно Сильвия Картер когда-то сказала мне, еще неопытному мальчику, что при взгляде на мое тело у нее бегут мурашки по коже. Теперь, глядя на свое тело, истерзанное двумя фронтовыми годами, волосы, когда-то соломенные, а теперь грязно-русые, влажно прилипшие ко лбу, левую руку, покрытую венами и пятнами, и правую, подверженную непростительной дрожи, тонкие ноги, давно не напоминавший о себе пристыженный член, я подумал: пожалуй, сейчас у Сильвии опять побежали бы мурашки, но уже от брезгливости. Конечно, сегодняшняя попутчица назвала меня красивым только в шутку. Я безобразен — израсходованная, высохшая оболочка.

Я снова натянул трусы и майку, не желая спать голым. Нельзя, чтобы ветхие простыни миссис Кантуэлл соприкасались с моим телом. Я не переносил ни единого прикосновения, намекающего на интимность. Мне было двадцать лет, и я уже решил, что эта часть моей жизни окончена. Как глупо. Я любил дважды, подумал я, закрывая глаза и опуская голову на тонкую подушку, приподнимающую меня над матрасом от силы на дюйм-другой. Я любил дважды, и оба раза моя любовь меня уничтожила.

Мысль об этом — о моей второй любви — яростно сжала мне желудок. Я соскочил с кровати, зная, что у меня есть лишь несколько секунд, метнулся к раковине и вытошнил туда все: пиво, сэндвич, чай и яблочный пирог — в два молниеносных спазма. Непереваренное мясо и пористый хлеб отвратительно смотрелись в фаянсовой раковине, и я поскорей смыл их в сток водой из кувшина.

Весь в испарине, я рухнул на пол, прижав колени к подбородку. Обхватил колени руками, сжимая тело в комок и изо всех сил втискиваясь в щель между стеной и тумбой раковины. Я как мог зажмурился, но жуткие картины уже вернулись.

Зачем я сюда приехал? — недоумевал я. О чем я только думал? Если я стремлюсь к искуплению, здесь я его не получу. Понимания? Здесь некому меня понять. Прощения? Я его не заслуживаю.

* * *

Наутро я проснулся рано после на удивление крепкого сна и первым воспользовался ванной комнатой, которая в заведении миссис Кантуэлл была одна на шесть постояльцев. Вода оказалась в лучшем случае тепловатая, но для меня годилась. Я начисто вымылся куском мыла, оставленным вчера в моей комнате. Потом побрился и причесался перед маленьким зеркальцем, висевшим над раковиной, и стал с чуть большей уверенностью смотреть на то, что предстояло сегодня; сон и ванна оживили меня, и я уже не чувствовал себя таким больным, как вчера. Я вытянул правую руку перед собой и впился в нее взглядом, словно подначивая задрожать, но рука была неподвижна, и я расслабился, стараясь не думать о том, что она еще может подвести меня в течение предстоящего дня.

Не желая участвовать в разговорах, я решил пропустить завтрак в пансионе и, едва минуло девять, на цыпочках спустился по лестнице, не сказав ни слова хозяевам, которые сутились в столовой, привычно перебраниваясь, как супруги со стажем. Я оставил дверь своей комнаты нараспашку, а саквояж — на кровати.

Утро было свежее и ясное, небо безоблачное, ни намек на дождь, и это меня обрадовало. Я раньше не бывал в Норидже и потому приобрел на лотке небольшую карту города, собираясь погулять час-другой. Моя встреча только в час дня, так что мне хватит времени посмотреть местные достопримечательности, вернуться в пансион и привести себя в пристойный вид.

Я прошел по мосту на Принс-Уэйлс-роуд, на миг остановился, глядя в стремительные воды реки Яр, и почему-то вспомнил солдата, с которым был в учебном лагере в Олдершоте, а потом на фронте во Франции. Его звали Спаркс, и однажды, когда мы были вместе в дозоре, он поведал мне совершенно удивительную историю: лет пять назад он переходил Тауэрский мост в Лондоне и вдруг остановился как вкопанный, ощутив незыблемую уверенность, что этот момент отмечает ровно середину его жизни.

— Я поглядел налево, — рассказывал он, — потом направо. Всмотрелся в лица прохожих. И понял, что знаю. Это оно. И тогда у меня в голове всплыла дата: одиннадцатое июня тысяча девятьсот тридцать второго года.

— Но значит, ты проживешь всего... сколько это выходит, сорок лет?

— И мало того! Добравшись домой, я взял листок бумаги и посчитал: если сегодня действительно ровно середина моей жизни, то какой день будет последним? И ты не поверишь, что у меня вышло.

— Не может быть! — изумился я.

— Нет-нет, не тот самый день, — со смехом ответил он. — Но очень близко. Август тысяча девятьсот тридцать второго. В любом случае, долгожителем мне вряд ли стать, а?

Он не дожил ни до той, ни до другой даты. Ему оторвало обе ноги как раз перед Рождеством 1917 года, и он умер от ран.

Я выкинул Спаркса из головы и продолжал путь на север, карабкаясь вверх по крутой улице. В конце концов я оказался у каменных стен Нориджского замка. Я подумал, что стоит подняться на холм и осмотреть исторические сокровища, которые, может быть, выставлены внутри, но вдруг потерял всякий интерес. В конце концов, такие замки — всего лишь бывшие военные базы, где солдаты могли разбить лагерь и ждать появления врага. А уж этого я насмотрелся на всю жизнь. Я свернул направо, прошел место со зловещим названием Тумлэнд¹ и двинулся в сторону величественного шпиля Нориджского собора.

Я заметил небольшое кафе и вспомнил, что не завтракал, так что решил не продолжать путь, а остановиться и что-нибудь поесть. Я сел в углу у окна, и почти сразу ко мне подошла розовощекая женщина с большой шапкой густых рыжих волос, чтобы принять заказ.

¹ Тумлэнд (Tomblond) — название старинной рыночной площади неподалеку от собора в Норидже, известной еще со времен саксов. Название созвучно с английским tomb land (земля гробниц), но на самом деле происходит от слова tum, обозначавшего в языке саксов открытое пространство. Поселение англо-саксов на месте современного города Нориджа возникло в V–VII веках.

— Мне только чаю и тостов, — сказал я, радуясь возможности присесть.

— И парочку яиц, сэр? — предложила она, и я охотно согласился.

— Да, спасибо. Яичницу-болтунью, если можно.

— Непременно, — радушно отозвалась она и исчезла за стойкой, а я принялся глядеть в окно. Я пожалел, что не взял с собой «Белого Клыка», ведь сейчас как раз можно было бы расслабиться, со вкусом позавтракать и почитать. Но книга осталась в саквояже в пансионе, так что я стал глазеть на прохожих, спешащих по своим делам.

Улица была полна женщин, несущих авоськи с утренними покупками. Я подумал о матери — о том, как в моем детстве она каждое утро застилала постели и убирала квартиру, а отец облачался в огромный белый халат и занимал место за прилавком на первом этаже нашего дома, нарезаая свежие отбивные для постоянных покупателей, которые должны были зайти в ближайшие восемь часов.

Я боялся всего, связанного с работой отца, — обвалочных ножей, туш животных, пил для кости, клещей для выдергивания ребер, рабочей одежды в пятнах крови, — и отец меня недолюбливал за эту слабость. Позже он научил меня работать ножами, разделявать по суставам туши свиней, овец и коров, висящие в холодной, — их очень торжественно привозили каждый вторник. Я ни разу не порезался и вполне овладел ремеслом мясника, но таланта к нему у меня не было, в отличие от отца, родившегося в этой самой лавке, или его отца, который бежал из Ирландии от «картофельного голода» и как-то наскреб денег, чтобы открыть свое дело.

Отец, конечно, надеялся, что я войду в семейный бизнес. На вывеске уже значилось «Сэдлер и сын», и отец желал, чтобы название соответствовало действительности. Но его мечта не сбылась. Меня выгнали из дому незадолго до того, как мне стукнуло шестнадцать, и вернулся я только один раз — через полтора года, за день до ухода в армию.

— Вот что я тебе скажу, — произнес отец, осторожно выводя меня на улицу, — толстые пальцы с силой упирались мне в лопатки. — Для всех для нас будет лучше, если немцы пристрелят тебя на месте.

Это были последние его слова, обращенные ко мне.

Я потряс головой и несколько раз моргнул, недоумевая, зачем я порчу себе утро этими воспоминаниями. Вскоре на столе появился мой заказ: яичница, тосты и чай, но официантка почему-то не ушла, а осталась рядом, сжав ладони, словно в молитве, с лицом, расплывшимся в улыбке. Я вопросительно взглянул на нее снизу вверх — вилка с куском яичницы застыла в воздухе.

— Все в порядке, сэр? — бодро поинтересовалась она.

— Да, спасибо, — ответил я, и это, кажется, ее успокоило, так как она поспешила обратно за прилавок и стала дальше заниматься своим делом.

Я еще не привык сам выбирать меню и время для еды — после почти трех лет в армии, где приходилось поглощать что дают и когда дают, в тесноте и давке, — другие солдаты, сидящие справа и слева, втыкали в меня локти и жевали с таким чавканьем, будто они свиньи в хлеву, а не добропорядочные англичане, которых матери учили вести себя за столом. Даже качество и обилие еды были мне в диковинку, хоть и не шли в сравнение с довоенными. Но мысль о том, что можно зайти в кафе, сесть, проглядеть меню и сказать: «Я, пожалуй, возьму омлет с грибами», или: «Я попробую пирог с рыбой», или «Мне порцию колбасок с картофельным пюре, да, и с луковой подливой», потрясала невыразимой новизной. Простые радости для того, кто пережил нечеловеческие лишения.

Я заплатил несколько пенсов, поблагодарил официантку, вышел из кафе и двинулся в прежнем направлении по Куин-стрит к собору. Подойдя к великолепным монастырским зданиям, я осмотрел их, окружающую стену и ворота. Я очень люблю церкви и соборы. Не столько из-за их связи с религией — я записной агностик, — сколько из-за мира и спокойствия, царящих внутри. Два взаимоисключающих места, в которых я предаюсь праздности, — паб и храм. В одном так весело и жизнь кипит, в другом тихо и всюду напоминания о смерти. Но отдых на скамье в огромном храме как-то успокаивает душу —

стылый воздух напоен веками возжжений ладана и свеч, теряющийся в высоте потолок напоминает о твоей ничтожности перед лицом необъятного мироздания, и еще картины, фриз, резные алтари, статуи с простертыми вперед руками, словно желающие тебя обнять, и неожиданный момент, когда хор, репетирующий утреню, взрывается песнопением, вздымая дух из бездн отчаяния, — отчаяния, которое как раз и привело тебя в храм.

Однажды под Компьеном наш полк устроил привал примерно в миле от небольшой *eglise*². Мы шли походом все утро, но я все равно решил прогуляться к церквушке — не столько ради духовного пробуждения, сколько ради того, чтобы отдохнуть от общества других солдат. Церковь была вполне заурядная, даже примитивная, что внутри, что снаружи, но меня поразил в самое сердце ее заброшенный вид. Должно быть, прихожане спаслись бегством, ушли на фронт или переселились на кладбище, и в воздухе больше не витало радостное единодушие верных. Я вышел из церкви, думая, не прилечь ли на траву, пока нас не позвали обратно в строй; может, мне даже удастся закрыть глаза и мыслями перенестись в более счастливое время и место... Тут я увидел своего однополчанина по фамилии Поттер: он, слегка склонившись вперед и опираясь одной рукой на стену церкви, шумно мочился на многовековую каменную кладку. Я, даже не думая, рванулся к нему и с силой толкнул — он, застигнутый врасплох, упал на землю, открыв наготу праздным взорам. Струя мочи пресеклась, но он успел обрызгать себе все штаны и рубашку. Еще секунда — и он с руганью вскочил, застегнулся и сбил меня с ног, мстя за унижение. Другие солдаты расцепили нас. Я обвинил его в осквернении священного места, а он меня — в гораздо худшем, в религиозном фанатизме. Несмотря на ложность этого обвинения, я не стал его отрицать. Наша горячность постепенно увяла, мы перестали обмениваться оскорблениями, и наконец нас отпустили — после того, как мы, став лицом к лицу, пожали друг другу руки и сказали, что мы опять друзья. Затем мы всей компанией спустились с холма. Но все равно это святотатство меня расстроило.

Я прошел через неф собора, украдкой разглядывая людей, числом около дюжины, рассеянных по храму и погруженных в безмолвную молитву. Интересно, об облегчении каких тягот они молятся или от каких грехов пришли просить отпущения? Дойдя до места, где продольный неф пересекался с поперечным, я повернулся и посмотрел туда, где в воскресенье утром будет стоять хор, вознося хвалы. Дальше я свернул на юг и через открытую дверь попал в лабиринт, где несколько детей играли в салочки в ясном утреннем свете. Я двинулся дальше вдоль восточной стены собора и вдруг остановился при виде одинокой могилы. Она бросалась в глаза. Надгробие было простым, даже примитивным — ничем не украшенный каменный крест на двухслойной каменной плите. Я склонился поближе и прочел, что здесь похоронена Эдит Кейвелл, великая медсестра и патриотка, которая помогла сотням британских военнопленных бежать из Бельгии через организованную ею подпольную сеть и была за это расстреляна осенью 1915 года.

Я постоял и не то чтобы помолился за ее душу, ибо от этого никому не было бы никакого толку, но посвятил ей минуту созерцания. Конечно, Кейвелл провозгласили героиней. Мученицей. И притом она была женщиной. В кои-то веки английский народ признал это, и я ощутил великую радость от того, что так неожиданно побывал на ее могиле.

Звук шагов по гравии возвестил чье-то приближение — точнее, приближение двух человек; они шагали в ногу, как ночной патруль на обходе военного лагеря. Я прошел чуть дальше за могилу и отвернулся, притворяясь, что разглядываю витражи в окнах собора.

— К трем часам мы уже составим окончательный список, — произнес молодой человек, видимо причетник, обращаясь к мужчине постарше. — При условии, что достаточно быстро разберемся с предыдущим вопросом.

— С предыдущим вопросом мы будем разбираться столько, сколько понадобится, — с напором ответил его собеседник. — Но я выскажу свое мнение, будьте уверены.

² Церковь, часовня (*фр.*).

— Конечно, преподобный Бэнкрофт. Ситуация очень деликатная. Но все понимают вашу боль и скорбь.

— Чушь, — отрезал старший. — Ничего они не понимают и никогда не поймут. Я свое слово скажу, можете не сомневаться. Но после этого мне надо будет быстро попасть домой. Моя дочь кое-что организовала. Что-то вроде... в общем, это трудно объяснить.

— Что, ухажера хочет привести? — игриво спросил причетник и осекся, встретив взгляд, который отбил у него всякую охоту говорить на эту тему.

— Ничего страшного не случится, если я опоздаю, — сказал священник, но в голосе его слышалась глубокая неуверенность. — Наша встреча гораздо важнее. И вообще, я еще не решил, насколько мудры замыслы моей дочери. У нее бывают разные идеи. Не всегда разумные.

Они уже было возобновили свой путь, и тут священник поймал мой взгляд и улыбнулся.

— Доброе утро, юноша, — произнес он, и я уставился на него, чувствуя, как учащенно бьется сердце.

— Доброе утро, — повторил он, делая шаг ко мне и улыбаясь на манер благодушного дядюшки; но тут же снова отступил, словно передумал, почуяв опасность. — Вам нехорошо? У вас такое лицо, словно вам явился призрак.

Я открыл рот, не находя слов, и, должно быть, до смерти напугал обоих, когда внезапно развернулся и помчался обратно к воротам, через которые пришел; по дороге я чуть не споткнулся о заборчик (слева), маленького ребенка (справа) и камни вымостки (прямо впереди); я снова очутился в соборе, теперь он казался мне чудовищным и словно душил, желая сжать в объятиях и оставить у себя навсегда. Я растерянно оглядывался, отчаянно ища путь наружу, и наконец увидел выход и рванулся к нему, грохоча ботинками по каменным плитам; мой топот отдавался во всех углах здания, пока я бежал к двери, зная, что прихожане оборачиваются и глядят на меня с тревогой и неодобрением.

Оказавшись снаружи, я глубоко вдохнул, пытаюсь успокоить дыхание, и почувствовал, как холодный липкий пот выступает из пор, покрывая все тело. Утренний покой сменился ужасом и раскаянием. Безмятежность, внушенная атмосферой собора, улетучилась; я снова был одиночкой в незнакомом городе, человеком, которому предстоит выполнить некую задачу.

Но как я мог свалить такого дурака? Как я мог забыть? Впрочем, все это так неожиданно: имя — преподобный Бэнкрофт — и выражение лица. Сходство было поразительное. Я словно вернулся в учебный лагерь в Олдершоте или в окопы Пикардии. Или в то кошмарное утро, когда я поднялся наверх из подземной камеры гауптвахты, охваченный яростью и жадой мщения.

* * *

Однако мне пора было возвращаться в пансион, чтобы привести себя в порядок перед назначенной встречей. Прочь от собора я направился другой дорогой, сворачивая направо и налево на попадающиеся улочки.

Я первый написал Мэриан Бэнкрофт. Мы никогда не встречались, но Уилл часто говорил о ней, и я завидовал их необычайной близости. Конечно, у меня у самого была сестра, но ей было всего одиннадцать лет, когда я покинул дом, и я сразу после этого начал ей писать, но так и не получил ответа; я подозревал, что письма перехватывает отец. Но читал ли он их сам? Я часто думал об этом. Может, он уносил их в укромное место, раздирал конверты и вглядывался в мой корявый почерк, выискивая новости о том, где я живу и как зарабатываю себе на кусок хлеба? Может, он даже в глубине души задумывался, не прекратятся ли когда-нибудь эти письма, — не потому, что мне надоест писать, но потому, что меня больше не будет в живых, Лондон сожрет меня? Я не знал и не мог знать.

Война уже почти девять месяцев как кончилась, когда я набрался храбрости написать

Мэриан. Я уже давно думал об этом, и чувство долга не давало мне спать ночь за ночью, пока я пытался понять, как мне лучше поступить. Я вроде бы хотел начисто выкинуть ее из головы, притвориться, что ни она, ни ее семья никогда не существовали. Да и что им от меня толку, если вдуматься? Какое утешение я им принесу? Но мысль об этом меня не оставляла, и однажды, терзаясь муками совести, я купил набор для письма, показавшийся мне элегантным, и новую перьевую ручку — ибо желал произвести благоприятное впечатление на Мэриан — и написал:

Дорогая мисс Бэнкрофт!

Вы меня не знаете — а может быть, слыхали мое имя, так как я был другом Вашего брата Уилла. Мы вместе были в учебном лагере до того, как нас отправили туда. Мы служили в одном полку и потому хорошо друг друга знали. Мы были друзьями.

Простите, что я пишу Вам вот так, ни с того ни с сего. Я не представляю, как Вы пережили последние два года, и даже не могу вообразить. Но я не забываю Вашего брата и часто думаю о нем — кто бы что ни говорил, я не встречал человека храбрее и добрее Уилла, а ведь там было множество храбрецов, это я могу сказать с уверенностью, но добрых людей — гораздо меньше.

Как бы то ни было, сейчас я пишу Вам, поскольку у меня есть нечто принадлежащее Уиллу, и я подумал, что должен это вернуть. Это письма, которые Вы писали ему, пока он был там. Видите ли, он сохранил их все, и они попали ко мне. После, я имею в виду. Потому что мы были друзьями. Я даю Вам честное слово, что ни одного из них не читал. Но я подумал, что Вы были бы рады получить их назад.

Конечно, мне давно следовало написать Вам, но, по правде сказать, я был нездоров с самого возвращения и мне нужно было время, чтобы поправиться. Возможно, Вы поймете. Думаю, что это уже позади. Не знаю. Глядя в будущее, я ни в чем не уверен. Не знаю, уверены ли Вы, но я — точно нет.

Я не собирался писать Вам такое длинное письмо, просто хотел представиться и выразить надежду, что, возможно, Вы согласитесь как-нибудь со мной встретиться. Я был бы счастлив Вас увидеть и вернуть Вам письма, ибо, может быть, это даст Вам какую-то крупицу утешения при мысли о брате.

Возможно, Вы бываете в Лондоне, но если нет, я могу приехать в Норидж. Надеюсь, это письмо найдет Вас. Я не знаю, живете ли Вы все еще по старому адресу или переехали. Я слыхал, что иногда люди в таких случаях переезжают из-за всех связанных с этим бед и неприятностей.

Если Вы мне напишете, я постараюсь выполнить то, что считаю своим долгом. Если Вы не желаете встречаться, я могу упаковать письма и отправить их Вам по почте. Но я надеюсь, что Вы согласитесь со мной встретиться. Я очень многое хотел бы Вам рассказать.

Ваш брат был моим лучшим другом — но я это уже говорил, да? В общем, я знаю одно: он не был никаким трусом, мисс Бэнкрофт, ничего подобного. Он был такой храбрый, что мне с ним в жизни не сравниться.

Я не собирался писать так длинно. Но мне очень многое надо Вам рассказать.

*С почтительными пожеланиями всего наилучшего,
Тристан Сэдлер*

Сам того не заметив, я проскочил свой поворот на Рекордер-роуд и оказался у реки, прямо напротив того места, где возвышалась каменная громада Торпского вокзала. Ноги сами перенесли меня через мост и направили в здание вокзала. Я встал столбом, глядя, как люди покупают билеты и идут к платформам. Двенадцать ноль пять. Прямо передо мной стоял лондонский поезд, который отойдет через пять минут. Кондуктор ходил взад-вперед по платформе, выкрикивая: «Занимайте места!» Я сунул руку в карман, вытащил бумажник и

посмотрел на обратный билет, который собирался использовать позже, сегодня вечером. Я увидел, что билет действителен на любой сегодняшний поезд, и у меня забилося сердце. Я могу войти в вагон, сесть, поехать домой и забыть все это дело как страшный сон. Конечно, я лишусь саквояжа, но в нем нет ничего ценного, только вчерашняя смена одежды и книга Джека Лондона. Я могу послать миссис Кантуэлл по почте то, что я ей должен за комнату, и извиниться за внезапный отъезд.

Пока я колебался, ко мне подошел мужчина, протянул руку и попросил уделить ему какую-нибудь мелочь. Я покачал головой и чуть отступил: от него разило застарелым потом и дешевым вином; он опирался на костыли — левой ноги у него не было, а правый глаз заплыл, словно после недавней драки. Мужчине было лет двадцать пять, ни днем больше, это точно.

— Хоть несколько пенсов. Я что, не воевал за свою страну? И посмотрите, в каком виде я после этого остался. Тебе что, мелочи жалко? Ах ты, говнюк! — Он перешел на крик, пугая меня внезапной бранью. — Монеты жалеешь для тех, кто тебя защищал!

Проходившая мимо женщина с маленьким мальчиком зажала ребенку уши. Я заметил, что мальчик глядит на попрошайку с ужасом и восторгом. Я ничего не успел сказать инвалиду: он сделал неожиданный выпад в мою сторону, и я едва увернулся. Тут появился полицейский, взял хулигана в захват — очень бережно, без всякой злобы — и скомандовал:

— Пойдем-ка. Это ничему не поможет, ты же понимаешь.

Услышав его банальные слова, попрошайка сразу сник и забыл про меня. Он доковылял до стены, снова сел на пол и застыл в почти кататонической позе, протянув руку перед собой — явно и не ожидая, что кто-нибудь ему поможет.

— Простите, сэр, — сказал констебль. — Он обычно не буянит, так что мы позволяем ему тут сидеть. Ему дают несколько шиллингов за день. Он бывший фронтовик, как и я. Но ему вот не повезло.

— Ничего страшного, — пробормотал я и ушел с вокзала.

Мысль о бегстве в Лондон улетучилась. Я приехал сюда по делу и должен довести его до конца. И оно имеет мало общего с возвращением пачки писем.

* * *

Минуло почти две недели, прежде чем я получил ответ от Мэриан Бэнкрофт, — и все это время я почти ни о чем другом не мог думать. Я гадал, почему она молчит — то ли она не получила моего письма, то ли не желает иметь со мной дела, то ли ее семья вынуждена была уехать на другой конец страны. У меня не было никакого способа это узнать, и я изводил себя сожалением, что вообще ей написал, и подозрением, что молчанием она меня наказывает. А потом, как-то вечером, вернувшись домой из издательства после целого дня унылого чтения — рукописей-«самотека», — я обнаружил на коврике у двери письмо. Я в изумлении подобрал его — мне никогда никто не пишет — и уставился на изящный почерк. Я тотчас понял, от кого это, и прошел на кухню, чтобы заварить себе чай. Готовя чай, я нервно поглядывал на конверт, воображая разные удары, уготованные мне письмом. Наконец чай заварился, я устроился за столом, осторожно вскрыл конверт, и меня до глубины души поразил исходящий от письма слабый запах лаванды. Интересно, подумал я, она душится этими духами или просто старомодна и прыскает их капельку на конверт, кому бы он ни предназначался — будь то любовное письмо, чек в оплату счета или ответ на неожиданное послание вроде моего.

Дорогой мистер Сэдлер!

Первым делом хочу поблагодарить Вас за письмо и извиниться за то, что так долго не отвечала. Я понимаю, что мое молчание могло показаться грубостью, но, думаю, Вы поймете, если я скажу, что Ваше письмо и расстроило,

и растрогало меня совершенно неожиданным образом, и я сперва не знала, как ответить. Я не хотела отвечать, пока не обрела уверенности в том, что намерена сказать. Мне кажется, люди зачастую слишком торопятся с ответом, Вы согласны? И я постаралась избежать этой ошибки.

Вы с большой добротой отзываетесь о моем брате, и меня это чрезвычайно тронуло. Я рада, что у него был друг — «там», как Вы это называете. (Почему так, мистер Сэдлер? Вы боитесь назвать то место его настоящим именем?) К сожалению, я испытываю крайне противоречивые чувства по отношению к нашим солдатам. Конечно, я их уважаю, а также сожалею, что им пришлось сражаться так долго и в таких чудовищных условиях. Я не сомневаюсь, что они проявили исключительную отвагу. Но когда я думаю о том, что они сделали с моим братом, то — я уверена, Вы поймете — гораздо менее склонна ими восхищаться.

Если я попытаюсь объяснить все, — несомненно, в мире не хватит чернил, чтобы излить мои мысли, и бумаги, чтобы запечатлеть их, и, надо думать, не найдется почтальона, который взялся бы доставить такое огромное послание.

Письма! Мне не верится, что они у вас. Вы очень добры, что решили вернуть их.

Мистер Сэдлер, надеюсь, Вас не обидит, если я скажу, что в настоящее время по личным причинам не могу приехать в Лондон. Я хотела бы с Вами встретиться, но поймете ли Вы, если я скажу, что хочу увидеть Вас тут, среди родных мне улиц, в городе, где росли мы с Уиллом? Вы очень великодушно предложили сами приехать сюда — подходит ли Вам вторник, 16 числа сего месяца? Или Вы работаете? Работаете, должно быть. Теперь всем приходится работать, это что-то невероятное.

Послушайте, может быть, Вы снова напишете и дадите мне знать?

*Искренне Ваша
Мэриан Бэнкрофт*

Я надеялся, что в пансионе мне никто не помешает, но наткнулся на Дэвида Кантуэлла — он ставил свежие цветы в вазы на боковых столиках и при виде меня чуть покраснел и заметно смутился.

— Мать вышла, — объяснил он. — Так что приходится мне. Это ведь женская работа, верно? Цветы. Как будто я сам голубенький цветочек.

Он улыбнулся мне, словно предлагая посмеяться вместе, но я, проигнорировав его слова, сообщил о своих намерениях.

— Я только ненадолго зайду к себе в комнату. Вы предпочитаете, чтобы я оставил свой саквояж там, или лучше занести его к вам в контору?

— Наверное, лучше в контору, сэр, — ответил он, уже с некоторой холодностью — возможно, разочарованный тем, что я не желаю быть запанибрата. — Ваша комната зарезервирована для другого гостя, он прибудет около двух часов дня. Во сколько вы собираетесь вернуться за вещами?

— Как раз в это время или чуть позже, — сказал я, сам не зная почему. Может быть, моя встреча не продлится и десяти минут. — Я зайду сразу перед поездом.

— Очень хорошо, сэр, — ответил он и снова занялся цветами.

Он был куда менее разговорчив, чем прошлой ночью, да и я не горел желанием с ним общаться, но все же задумался о причинах такой перемены. Быть может, мать объяснила ему, что разговоры о тамошних событиях с теми, кто пережил их, могут быть жестокостью. Впрочем, есть, конечно, ветераны, живущие фронтовыми историями — словно им на войне было хорошо. Но есть и другие, и я отношусь к числу последних.

Я пошел наверх, почистил зубы и умылся, причесался перед зеркалом и решил, что, несмотря на бледность, выгляжу приемлемо. Если я сейчас не готов к встрече, то не буду к ней готов никогда.

Не прошло и двадцати минут, как я уже сидел в уютном кафе рядом с Кэттл-Маркет-стрит, поглядывая то на часы — они тикали, и короткая стрелка неумолимо двигалась к единице, — то на других посетителей. Я подумал, что это кафе существует давно — возможно, переходит из поколения в поколение в одной и той же семье. За прилавком хозяйничали мужчина лет пятидесяти и девушка, моя ровесница, — я решил, что это его дочь: они были похожи друг на друга. Посетителей в кафе было мало, от силы человек шесть, и это меня устраивало, потому что мне трудно было бы говорить в переполненном, шумном зале, но так же трудно — в пустом, где нас легко могли бы подслушать.

Дорогая мисс Бэнкрофт!

Благодарю за Ваш ответ и добрые слова. Не нужно извиняться за задержку с ответом. Я был счастлив получить Ваше письмо, и все тут.

16-е число меня устраивает. Да, я работаю, но мне положен отпуск, и я его использую. С нетерпением жду встречи с Вами. Не откажите в любезности написать, когда и где Вам удобно будет со мной увидеться.

*Искренне Ваш
Тристан Сэдлер*

Дверь открылась, и я вскинул взгляд, удивившись тому, как испугал меня этот звук. Желудок сжался, и я вдруг понял, что страшно боюсь предстоящей встречи. Но вошел мужчина. Он огляделся, рыская глазами по сторонам, почти как дикий зверь, а потом сел в дальнем углу, спрятавшись за колонной. Мне показалось, что он посмотрел на меня подозрительно, прежде чем скрыться из виду, и я бы задумался над этим, не будь мои мысли заняты другим.

Дорогой м-р Сэдлер!

Давайте встретимся в час дня, если Вас это устраивает. Рядом с Кэттл-Маркет-стрит есть приятное кафе, оно называется «Кафе Уинчелла». Вам всякий покажет.

Мэриан Б.

Я взял со стола подставку для салфеток, чтобы занять руки. Правая рука тут же дернулась в спазме, и подставка выпала, рассыпая салфетки по скатерти и по полу. Я тихо выругался и нагнулся, чтобы их подобрать, а потому не заметил, как дверь снова открылась, вошла женщина и направилась прямо к моему столу.

— Мистер Сэдлер? — запыхавшись, спросила она.

Я поднял голову, покрасневший от усилий, и вскочил, теряя все слова, теряя слова.

Мы с тобой не такие

Олдершот, апрель — июнь 1916 года

Я разговорился с Уиллом Бэнкрофтом на второй день по прибытии в Олдершотские казармы.

Нас привозят ближе к вечеру, в последний день апреля, — группу всклокоченных мальчиков, человек сорок, громогласных и вульгарных; от нас разит потом и фальшивым героизмом. Те, что успели познакомиться, сидят вместе в поезде и непрерывно болтают, боясь тишины, — каждый старается заглушить голос соседа. Те, кто никого не знает, ссутулились на сиденьях у окон, прижимаясь лбом к стеклу и притворяясь спящими или глядя на проносящийся мимо пейзаж. Кое-кто осторожно говорит об оставленном позади — о семьях, о девушках, по которым они будут скучать, но о войне не упоминает никто. Можно подумать, мы — школьники на экскурсии.

Мы выходим из поезда и сбиваемся в кучки на платформе, и я оказываюсь рядом с юношей лет девятнадцати, который беспокойно озирается, окидывает меня взглядом и явно сбрасывает со счетов как не стоящего внимания. На лице у него — тщательно выстроенное выражение, смесь покорности судьбе и злости; щеки пухлые и словно ободранные, как будто он брился тупой бритвой в холодной воде, но стоит он прямо, оглядываясь вокруг с таким видом, словно не верит в приподнятый настрой других мальчиков.

— Только посмотреть на них, — холодно замечает он. — Вот же идиоты, все до единого.

Я поворачиваюсь, чтобы разглядеть его получше. Он выше меня, с аккуратной стрижкой, похож на прилежного ученика. Близко посаженные глаза прячутся за стеклами очков в роговой оправе, придающих ему сходство с совой, — время от времени он их снимает и массирует заметную красную вмятинку на переносице. Он напоминает мне одного из моих школьных учителей, только он помоложе и, видимо, менее склонен к вспышкам беспричинной злобы.

— Это все бессмысленно, верно ведь? — продолжает он, глубоко затягиваясь сигаретой, будто желая за один раз вдохнуть весь никотин.

— Что «это»? — спрашиваю я.

— Это, — кивает он на других новобранцев, которые болтают и хохочут, словно мы приехали развлекаться. — Все это. Эти кретины. Эти казармы. Нам тут не место, никому из нас.

— Я хотел сюда попасть с самого первого дня, как все началось.

Он взглядывает на меня, решает, что получил обо мне достаточное представление, презрительно фыркает и отворачивается. Давит окурком ногой, открывает серебряный портсигар и вздыхает: тот оказывается пустым.

— Тристан Сэдлер, — говорю я, на этот раз протягивая руку, — мне не хочется начинать свое пребывание в армии с раздоров. Он смотрит на мою руку секунд пять, а может, и больше, и я уже начинаю думать, что придется ее с позором убрать, но наконец он кратко кивает и пожимает ее.

— Артур Вульф, — говорит он.

— Ты из Лондона?

— Из Эссекса. Из Челмсфорда, если совсем точно. А ты?

— Чизик.

— Неплохое место. У меня там тетя живет. Элси Тайлер. Ты с ней не знаком, наверное?

— Даже не слышал.

— Она держит цветочную лавку возле Тэрнем-Грин.

— А я — «Сэдлер и сын», мясная лавка на главной улице.

— Ты, надо полагать, сын.

— Был.

— Ты наверняка добровольцем пошел, — говорит он еще презрительнее. — Небось только восемнадцать исполнилось?

— Да, — вру я. На самом деле мне будет восемнадцать лишь через пять месяцев, но я не собираюсь в этом признаваться, иначе, не пройдет и недели, окажусь опять в Англии с мастерком в руках.

— Небось дожидаться не мог? Сделал себе подарочек на день рождения — побежал к сержант-майору: да, сэр, нет, сэр, слушаюсь, сэр — и отдал себя на заклатие.

— Я бы и раньше пошел, — отвечаю я. — Да меня не брали, годами не вышел.

Он смеется, но больше не пристаёт с расспросами — лишь качает головой, словно на меня не стоит и время тратить. Станный тип этот Вульф.

Через несколько секунд по толпе пробегает шумок. Я поворачиваюсь и вижу трех мужчин в жестко накрахмаленной военной форме — они выходят из ближайшей казармы и шествуют к нам. От них прямо-таки разит властью, и меня вдруг охватывает горячая волна чего-то неожиданного. Несомненно, предчувствия. А может, и желания.

— Добрый день, джентльмены, — говорит средний из мужчин, самый старший, самый низкорослый, самый толстый, самый главный. Тон его дружелюбен, что меня удивляет. — Прошу вас следовать за мной. Мы еще не прибыли в точку окончательного назначения.

Мы сбиваемся в толпу и шаркаем вслед за ним. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы разглядеть других — большинство курит и продолжает вполголоса разговаривать. Я достаю из кармана собственный жестяной портсигар и предлагаю сигарету Вульффу, который берет ее без колебаний.

— Спасибо, — говорит он и тут же неприятно удивляет меня, попросив еще одну. Я раздраженно пожимаю плечами, но разрешаю, и он вытаскивает сигарету из-под резинки моего портсигара и сует за ухо. — Кажется, этот тут главный, — он кивает на сержанта. — Мне нужно с ним перемолвиться словечком. Он, скорее всего, меня не послушает, но я все равно скажу свое слово, можешь не сомневаться.

— О чем? — спрашиваю я.

— Оглянись вокруг, Сэдлер. Через полгода из этих людей мало кто останется в живых. Что ты об этом думаешь?

Я об этом вовсе не думаю. А что я должен думать? Я знаю, что люди гибнут, — отчеты о числе убитых ежедневно публикуются в газетах. Но для меня погибшие — лишь имена, цепочки букв, составленных газетным шрифтом. Всех окружающих меня людей я вижу первый раз в жизни. Они для меня пока ничего не значат.

— Послушай моего совета, — говорит он. — Бери с меня пример и вали отсюда, если можешь.

Мы останавливаемся посреди плаца, и сержант со спутниками поворачивается к нам лицом. Мы стоим как попало, но он сверлит нас взглядом и молчит, и мы, не обменявшись ни словом, вдруг начинаем выстраиваться в прямоугольную колонну в десять человек длиной и четыре глубиной, так, чтобы расстояние между соседями было не больше вытянутой руки.

— Хорошо, — кивает сержант. — Неплохо для начала, джентльмены. Позвольте приветствовать вас в Олдершоте. Кто-то из вас прибыл сюда охотно, а кто-то — нет. Мы, кадровые военные, понимаем вас и сочувствуем вам. Но ваши эмоции теперь никого не интересуют. То, что вы думаете и чувствуете, не имеет никакого значения. Вы здесь для того, чтобы из вас сделали солдат, и их из вас сделают.

Он говорит спокойно, разрушая стереотипный образ казарменного сержанта, — может быть, для того, чтобы мы успокоились. Может быть, для того, чтобы потом удивить нас внезапной переменой.

— Я — сержант Джеймс Клейтон. Мои обязанности заключаются в том, чтобы за пару месяцев, которые вы проведете тут, превратить вас в солдат. Для этого от вас потребуется не только сила и выносливость, но и ум.

Он прищуривается, оттопыривает языком щеку, разглядывая людей — мальчиков, — выстроившихся перед ним.

— Вы, сэр, — он поднимает трость и указывает ею на парня в центре первой шеренги — в поезде тот успел завоевать себе репутацию острослова и шутника, — как вас зовут?

— Микки Рич, — уверенно отвечает юноша.

— Микки Рич, СЭР! — рявкает человек, стоящий слева от сержанта, но тот взглядывает на него и качает головой.

— Ничего страшного, капрал Уэллс, — говорит сержант. — Рич пока не усвоил наши порядки. Он полный невежда, верно, Рич?

— Да, сэр, — отвечает Рич чуть менее уверенно, особо напирая на слово «сэр».

— Скажите, Рич, вы рады, что сюда попали? — спрашивает сержант Клейтон.

— Да, сэр! — рапортует Рич. — Доволен, как свинья в навозе!

К взрыву смеха осторожно присоединяюсь и я.

Сержант ждет, пока мы уgomонимся, — на лице у него насмешка и презрение, но он молчит. Потом заглядывает сквозь передние ряды и кивает другому солдату:

— А вы, сэр? Вас как зовут?
— Вильям Телль, — отвечает тот, и по рядам снова пробегает смешок.
— Вильям Телль? — переспрашивает сержант, поднимая бровь. — Вот это имечко. Небось привезли с собой лук и стрелы? Откуда вы, Телль?
— Из Хаунслоу, — отвечает Телль, и сержант удовлетворенно кивает.
— А вы? — спрашивает он у следующего солдата.
— Шилдс, сэр. Эдди Шилдс.
— Хорошо, Шилдс. А вы?
— Джон Робинсон.
— Робинсон, — повторяет сержант с коротким кивком. — А вы?
— Филип Ансуорт.
— Вы?
— Джордж Паркс.
— Вы?
— Уилл Бэнкрофт.

И так далее и тому подобное. Вопросы и ответы звучат как ектеня в церкви. Я запоминаю кое-какие имена, но ни один из их носителей не привлекает моего взгляда.

— А вы? — спрашивает сержант, кивком указывая на меня.
— Тристан Сэдлер, сэр, — говорю я.
— Сколько вам лет, Сэдлер?
— Восемнадцать, сэр. — Я держусь за свою ложь.
— Рады, что сюда попали, а?

Я молчу. Какой ответ будет правильным? К счастью, сержант не намерен допытываться и уже перешел к очередному солдату.

— Артур Вульф, сэр, — говорит мой сосед.
— Вульф? — переспрашивает сержант, приглядываясь к нему. Он явно уже что-то о нем знает.

— Да, сэр.
— Вот как. — Сержант оглядывает его с головы до ног. — Я думал, вы меньше ростом.
— Шесть футов один дюйм, сэр.
— Действительно, — говорит сержант Клейтон, медленно растягивая рот в узкую щель улыбки. — Значит, это вы — тот самый парень, который не хочет тут быть?

— Верно, сэр.
— Боитесь драться, а?
— Нет, сэр.
— Нет, сэр, в самом деле, сэр, какой ужасный поклеп, сэр! А вы знаете, сколько там сейчас храбрецов, которые тоже не хотят драться? — Он делает паузу, и его улыбка медленно тает. — Но все равно они там. И дерутся. День за днем. Рискуют своей жизнью.

По взводу пробегает тихий гул, и многие поворачивают голову, чтобы взглянуть на Вульфа.

— Я не собираюсь отправлять вас домой, вы наверняка только этого и ждете, — непринужденно говорит сержант.

— Нет, сэр, — отвечает Вульф. — Я этого и не ждал. Во всяком случае, не сразу.
— И в тюрьму вас тоже не посадят. Пока я не получу соответствующего приказа. Мы будем вас обучать, вот что мы с вами будем делать.

— Да, сэр.
Сержант Клейтон смотрит на Вульфа, едва заметно двигая желваками на челюсти.
— Ну ладно, Вульф, — наконец тихо говорит он. — Посмотрим, что из этого выйдет.
— Я уверен, что нам скоро сообщат, сэр, — объявляет Вульф. Голос его совершенно не дрожит, но я стою рядом с ним и чувствую, что он напряжен, однако изо всех сил скрывает это. — Из военного трибунала, я имею в виду. Они должны поставить меня в известность о своем решении, сэр.

— Меня, а не вас, Вульф, — рывкает сержант, на этот раз слегка теряя невозмутимость. — Любые сообщения будут проходить через меня.

— Надеюсь, вы не откажете в любезности известить меня, как только что-то узнаете, — говорит Вульф.

Сержант Клейтон снова улыбается и выдерживает секундную паузу.

— Может быть. Я уверен, что все вы рады оказаться здесь! — Это он произносит уже громко, обращаясь ко всем и оглядывая нас. — Но вам, должно быть, известно, что отдельные юноши из вашего поколения не считают своим долгом защищать родину. Они называют себя отказниками. Они заглядывают к себе в душу и не находят в ней стремления выполнить свой долг. Да, внешне они не отличаются от других людей. У них два глаза, два уха, две руки, две ноги. Конечно, они не мужчины, но разницы не увидишь, пока не сдерешь с такого штаны и не посмотришь куда надо. Но они есть. Они нас окружают. И они нас погубили бы, если бы могли. Они играют на руку врагу.

Он улыбается горько и зло, и солдаты в строю сердито бормочут, бросая презрительные взгляды на Вульфа. Каждый старается перещеголять соседа и показать сержанту Клейтону, что совершенно не разделяет подобные воззрения. Вульф, к его чести, держится и делает вид, что не замечает презрительного шипения, грубых слов и выкриков, которые сержант и два капрала даже не пытаются пресечь.

— Позор! — кричит кто-то позади меня.

— Трус паршивый, — говорит другой.

— Перышко ему!³

Я жду от Вульфа какой-нибудь реакции на оскорбления и тут впервые замечаю Уилла Бэнкрофта. Он стоит за четыре человека от меня и смотрит на Вульфа с явным интересом. Судя по лицу, он не совсем одобряет воззрения Вульфа, но и не присоединяется к хору гонителей. Он как будто хочет поближе познакомиться с диковинным созданием под названием «отказник» — словно слышал о таких, но никогда не видел во плоти. Я вдруг понимаю, что откровенно пялюсь на него — в смысле, на Бэнкрофта, а не на Вульфа, — не в силах отвести глаз, и он, должно быть, чувствует мой пристальный взгляд, секунду смотрит мне в глаза, потом чуть склоняет голову набок и улыбается. Очень странно: мне кажется, что я его уже видел, что мы встречались. Я смущенно прикусываю губу и отворачиваюсь, выжидая, насколько хватает сил, прежде чем снова взглянуть на него; теперь он стоит в строю прямо, сосредоточенно глядя перед собой, как будто мига взаимопонимания между нами никогда и не было.

— Достаточно, — говорит сержант Клейтон, и какофония мгновенно стихает; сорок пар глаз снова смотрят лишь на него. — Подите сюда, Вульф.

Мой спутник колеблется лишь долю секунды и выступает вперед. Я чувствую, что под его бравадой прячется беспокойство.

— И вы, мистер Рич, — командует сержант, указывая на первого солдата, с которым разговаривал. — Наша полковая свинья в навозе. Вы оба, подойдите сюда, пожалуйста.

Они подходят и останавливаются футах в шести-семи от сержанта и на таком же расстоянии от линии строя, которая осталась у них за спиной. Все прочие хранят полное

³ Белое перо — традиционный в Британии символ трусости. В августе 1914 года адмирал Чарлз Фитцджералд при поддержке известной писательницы миссис Хамфри Уорд, носительницы крайне консервативных патриотических взглядов, основал «Орден белого пера». Эта организация ставила своей задачей стыдить мужчин, не ушедших на фронт, и таким образом заставлять их идти добровольцами. (Обязательный призыв в армию был введен в Британии лишь в 1916 году.) Представительницы организации вручали белые перышки на улицах мужчинам, не одетым в военную форму. Кампания была настолько успешной, что правительство Британии стало испытывать нехватку кадров, так как государственные служащие в массовом порядке начали уходить добровольцами. Правительству пришлось ввести специальные значки, указывающие на то, что их носители работают на оборону, а также значки другого образца для солдат, демобилизованных по ранению.

молчание.

— Джентльмены, — обращается к нам сержант Клейтон. — Здесь, в армии, вас всех научат, как когда-то научили меня, не срамить вашу военную форму. Вы научитесь драться, обращаться с винтовкой, быть сильными, выходить на поле боя и убивать всех врагов, какие попадутся, мать их так.

На последней фразе его голос резко и гневно взмывает вверх, и я думаю: «Вот что это за человек, вот кто он такой».

— Но в один прекрасный день, — продолжает сержант, — может случиться так, что у вас не останется никакого оружия — и у вашего противника тоже. Представьте себе, что вы стоите посреди ничьей земли, а перед вами фриц, а винтовку вы потеряли, и штык тоже куда-то делся, и вам нечем больше обороняться, кроме кулаков. Пугающая перспектива, а, джентльмены? И если такое случится... Шилдс, что вы будете делать?

— Выбора-то нет, сэр, — отвечает Шилдс. — Надо драться.

— Совершенно верно. Очень хорошо, Шилдс. Надо драться. Итак, вы двое, — он кивает на Вульфа и Рича, — представьте себе, что вы именно в таком положении.

— Сэр? — переспрашивает Рич.

— Надо драться, парни, — бодро говорит сержант. — Рич у нас будет англичанином — он мало на что годится, но хоть зубы скалит. Вульф, вы — противник. Деритесь. Посмотрим, из какого вы теста сделаны.

Рич и Вульф поворачиваются друг к другу. Вульф явно не может поверить в происходящее, но Рич уже понял, куда ветер дует, и не колеблется: сжимает правую руку в кулак и внезапно бьет Вульфа прямо в нос, резкий тычок — и отдернул руку, как боксер; Вульфа это застаёт настолько врасплох, что он, шатаясь, отступает на несколько шагов, ноги у него заплетаются, он закрывает лицо руками. Снова выпрямляется, потрясенно глядя на кровь из ноздрей, окрасившую ладони. Оно и понятно, Рич — крупный парень с сильными руками и хорошим хуком справа.

— Ты сломал мне нос! — говорит Вульф, оглядывая нас так, словно не может поверить. — Взял и сломал мне нос, бя!

— Ну так и ты ему сломай, — непринужденно советует сержант Клейтон.

Вульф глядит на руки — кровь из носа льется уже не так сильно, но ее по-прежнему много, она густыми разводами покрывает ладони. Нос на самом деле не сломан, Рич просто расплющил пару кровеносных сосудов.

— Нет, сэр, — отвечает Вульф.

— Ну-ка, Рич, стукни его еще раз.

И Рич бьет снова, теперь уже в правую скулу. Вульф, шатаясь, отступает, но на этот раз хотя бы не сгибается пополам. Он двигает челюстью и вскрикивает от боли, прижимает ладонь к месту удара и растирает синяк.

— Дерись, Вульф, — очень тихо и очень отчетливо произносит Клейтон, выговаривая каждый слог.

Что-то в лице Вульфа подсказывает мне, что может и до этого дойти, — но он ждет двадцать, тридцать секунд, тяжело дыша и овладевая собой, а потом качает головой и твердо говорит:

— Не буду, сэр.

И его опять бьют, в живот, потом еще раз — в солнечное сплетение, и он падает и лежит на земле, сжавшись и, без сомнения, надеясь, что избиение скоро прекратится. Солдаты смотрят в растерянности. Даже Рич отступает на шаг, понимая, что вряд ли это можно назвать дракой, если противник не защищается.

Сержант Клейтон презрительно качает головой. Драки, на которую он надеялся — такой, в которой Вульфа могли бы сильно покалечить, — явно не выйдет.

— Хорошо, Рич, возвращайтесь в строй. А ты, — он кивает на лежащего Вульфа, — встань ради бога. Будь мужчиной. Он до тебя едва дотронулся.

У Вульфа получается не сразу, но наконец он поднимается на ноги и, шаркая, плетется

на свое место в строю. Наши глаза встречаются; он отворачивается — может быть, видит, что я беспокоюсь за него. Жалость ему не нужна.

— Сегодня прекрасный день для всех новых начинаний, — объявляет сержант Клейтон, вытягивая руки перед собой и хрустя костяшками пальцев. — Очень подходящий для того, чтобы научиться дисциплине и узнать, что в этом полку я не терплю ни остряков, ни трусов. Те х и других я ненавижу больше всего на свете, джентльмены. Усвойте это хорошенько. Вы здесь для того, чтобы обучиться. И вас обучат.

С этими словами он поворачивается и направляется к казармам, оставляя нас в руках двух своих сподвижников, Уэллса и Моуди. Они выступают вперед и начинают перекличку, отмечая нас галочками в списке и отпуская каждого отмеченного. Вульфа, конечно, вызывают самым последним.

* * *

Мой первый разговор с Уиллом Бэнкрофтом происходит назавтра в пять часов утра, после пробудки, устроенной Уэллсом и Моуди.

Нас делят по казармам — две группы по двадцать человек, десять коек вдоль одной стены, десять вдоль противоположной, и Ансуорт замечает, что, по его мнению, именно так должен выглядеть полевой госпиталь.

— Будем надеяться, тебе не скоро выпадет случай это проверить, — говорит Йейтс.

У меня нет братьев, поэтому я не привык делить комнату ни с кем, тем более с девятнадцатью другими молодыми людьми, которые дышат, храпят и ворочаются всю ночь напролет. Я уверен, что не засну. Однако, к собственному удивлению, я едва успеваю донести голову до подушки, как проваливаюсь в беспокойные, запутанные сны — должно быть, усталость от путешествия на поезде и разнообразные чувства, вызванные тем, что я наконец здесь, берут свое, — и внезапно оказывается, что уже утро, и два капрала орут, чтобы мы шевелили жопами или они нам их сами пошевелият сапогом.

Мне досталась вторая по счету койка у левой стены — если лучи солнца заглянут утром в окошечко под потолком, то как раз упадут мне на лицо. Уилл попал в казарму одним из первых и занял соседнюю койку — это лучшее место, потому что с одной стороны у него стенка, а с другой единственный сосед, я. У противоположной стены, тремя койками правее, лежит Вульф. Со вчерашнего вечера он получил множество тычков и пинков от других солдат. Рич занял койку рядом с ним, и я не могу понять, то ли это завуалированное извинение, то ли скрытая угроза.

Вчера мы с Уиллом лишь бегло кивнули друг другу, прежде чем упасть по койкам, но сегодня, соскакивая с коек — он вправо, я влево, — мы сталкиваемся лбами и падаем назад, потирая ушибленные головы. Мы смеемся, быстро извиняемся друг перед другом и выстраиваемся у изножий коек, слушая Моуди, который велит нам немедленно явиться в медицинскую палатку на врачебный осмотр. Еще один, потому что меня уже осматривали в Брентфорде, где я записался в армию. Этот осмотр должен решить, годимся ли мы сражаться за короля и Британскую империю.

— Что маловероятно, — добавляет Моуди. — Я в жизни не видал такой кучи сраных дебилов, бля. Если исход войны зависит от вас, то, пожалуй, лучше сразу идти учить «гутен морген, гутен нахт», потому как оно нам скоро понадобится.

Мы выходим в хвосте группы. Все в одних трусах и майках, босые ноги ступают по неровностям гравия. Мы с Уиллом идем рядом, и он протягивает мне руку:

— Уилл Бэнкрофт.

— Тристан Сэдлер.

— Похоже, мы соседи на ближайшую пару месяцев. Надеюсь, ты не храпишь?

— Не знаю. — Я никогда об этом не думал. — Никто пока не жаловался. А ты?

— Мне говорили, что когда я лежу на спине, то от моего храпа крыша трясется, но я, кажется, приучился спать на боку.

— Я тебя переверну, если ты начнешь храпеть, — говорю я, улыбаясь. Он фыркает, и я чувствую, что между нами зарождается дружба.

— Я не возражаю, — тихо отвечает он.

— Так сколько у тебя братьев? — спрашиваю я, полагая, что какие-то братья у него должны быть, если есть кому комментировать его ночные привычки.

— Ни одного. Только сестра, старшая. А у тебя нету ни братьев, ни сестер?

Я колеблюсь, к горлу подступает ком, и я не знаю, сказать правду или солгать.

— Одна сестра, Лора, — говорю я, не вдаваясь в детали.

— Я считаю, мне очень повезло с сестрой, — улыбается он. — Она чуть постарше меня, но мы всегда заботимся друг о друге, если ты понимаешь, о чем я. Она взяла с меня обещание, что я буду регулярно писать ей, пока я тут. И я его сдержу.

Я киваю, разглядывая его пристальней. Он хорош собой: копна темных спутанных волос, ярко-синие глаза, словно ищущие приключений, круглые щеки, на которых от улыбки появляются ямочки. Он не чрезмерно мускулист, но руки у него крепкие и плотно заполняют рукава майки. Мне приходит в голову, что у него наверняка всегда есть с кем разделить постель, есть кому повернуть его на бок, если начнет храпеть.

— Что такое, Тристан? — спрашивает он, глядя на меня. — Ты как-то раскраснелся.

— Мы очень рано встали, — объясняю я, отводя глаза. — Слишком быстро выскочил из кровати, вот и все. Кровь в голову бросилась.

Он кивает, и мы шагаем дальше в арьергарде нашего взвода — у которого, кажется, изрядно поубавилось энтузиазма со вчерашнего дня, с момента, когда мы выгружались из поезда. Солдаты идут молча, глядя больше себе под ноги, чем на палатку медпункта впереди. Уэллс командует во всю глотку: «Раз-два! Три-четыре!» — и мы изо всех сил стараемся шагать в ногу, но это, в общем, безнадежно.

— Слушай, — говорит Уилл через несколько секунд, глядя прямо на меня с возрастающим беспокойством на лице. — А что ты скажешь про нашего друга Вульфа? Для такого нужна смелость, а?

— Скорее глупость, — отвечаю я. — Разозлить сержанта в первый же день? Да и с рядовыми он теперь не в лучших отношениях.

— Да, наверное. Но все же он смелый, в этом ему не откажешь. Вот так переть на рожон, понимая, что тебя наверняка побьют. Ты встречал кого-нибудь из этих ребят? Этих... как они называются... сознательных отказников?

— Нет, — качаю я головой, — а ты что, встречал?

— Только одного. Старший брат одного моего одноклассника. По фамилии Ларсон. Имени не помню — Марк, Мартин, что-то такое. Он отказался брать в руки оружие. Сказал, что по религиозным причинам и что старине Дерби со стариной Китченером не мешало бы читать Библию чуть чаще, а армейские уставы — чуть реже, и делайте с ним что хотите, он отказывается направлять ружье на другое Господне творение, даже если его за это посадят в тюрьму.

Я шиплю сквозь зубы и с омерзением трясую головой, полагая, что Уилл, подобно мне, считает этого человека трусом. Я ничего не имею против тех, кто не любит войну из принципа или хочет, чтобы она поскорее закончилась, — это вполне естественные чувства. Но я считаю, что, пока война идет, мы все обязаны в ней участвовать и делать все, что от нас зависит. Конечно, я молод. И глуп.

— И что с ним случилось? — спрашиваю я. — С этим Ларсоном. Его отправили в Стрейнджуэйз?⁴

— Нет, его послали на фронт таскать носилки. Так делают, понимаешь. Если ты отказываешься воевать, то хотя бы помогай тем, кто воюет. Та к они говорят. Кое-кого посылают работать на фермы — работа государственной важности, как это называется.

⁴ Стрейнджуэйз — тюрьма для мужчин в Манчестере (Англия).

Этим, считай, повезло. Кого-то сажают в тюрьму, этим везет меньше. Но большинство все равно оказывается здесь.

— По-моему, это справедливо, — говорю я.

— Только если не учитывать, что санитар на фронте живет от силы минут десять. Их выгоняют из окопов на ничью землю забирать мертвых и раненых, и дело с концом. Снайперы снимают их моментально. На самом деле это та же казнь. Что скажешь, теперь уже не так справедливо, а?

Я хмурюсь и не тороплюсь отвечать. Тщательно продумываю свой ответ — для меня очень важно понравиться Уиллу Бэнкрофту. Мне хочется, чтобы он со мной дружил.

— Я бы мог и сам отказаться на религиозной почве, — продолжает он чуть погодя. — Мой старик — священник. В Норидже. Он хотел, чтобы я тоже стал священником. Наверное, тогда меня не призвали бы.

— А ты не захотел?

— Нет, не захотел. Я не прочь стать солдатом. Точнее, я думаю, что мне это понравится. Можешь через полгода меня еще раз спросить. Знаешь, мой дедушка воевал в Трансваале. Даже вроде как отличился, прежде чем его убили. Мне хочется думать, что я проявлю себя так же хорошо. Моя мать всю жизнь хранит его... смотри, мы уже пришли.

Мы входим в палатку медпункта, и Моуди разбивает нас на группы. Человек шесть садятся на койки за занавесками, а прочие стоят и ждут своей очереди.

Мы с Уиллом попадаем в число тех, кого будут осматривать первыми. Он снова выбирает крайнюю койку, а я — соседнюю с ним. Я задумываюсь, почему он так явно не любит находиться в центре. Мне, в отличие от него, нравится быть в середине: я чувствую себя в гуще событий и в то же время не таким заметным. Мне приходит в голову, что скоро мы разобьемся на группы и те, кто останется с краю, окажутся первыми жертвами.

Доктор, худой мужчина средних лет в очках с толстой оправой и выдавшем виды белом халате, жестом велит Уиллу раздеться. Уилл без стеснения раздевается. Он стягивает майку через голову и небрежно бросает ее на кровать, потом как ни в чем не бывало роняет трусы на пол. Я смущенно отвожу взгляд, но это не помогает: все остальные солдаты, во всяком случае, те, что сидят на койках, тоже разделись донага, открыв плохо сформированные, уродливые, чудовищно непривлекательные тела. Просто удивительно, как молодые люди восемнадцати-двадцати лет могут быть такими худосочными и бледными. Куда ни глянь — цыплячьи грудки, впалые животы, тощие зады, за исключением одного-двух человек, страдающих другой крайностью: они тучны, огромны, с торса, словно женские груди, свисают складки жира. Я тоже раздеваюсь, мысленно вознося хвалы стройке, на которой работал последние полтора года, — от тяжелого физического труда у меня развились мышцы. Но потом я начинаю думать, не заберут ли меня преждевременно на фронт, раз я в такой хорошей форме.

Уилл стоит прямой как стрела, вытянув руки перед собой, пока доктор заглядывает ему в рот, а потом измеряет сантиметром окружность груди. Не задумавшись о том, как это могут расценить, я оглядываю его с ног до головы и снова поражаюсь, какой он красивый. Вдруг меня ни с того ни с сего настигает воспоминание о моей бывшей школе и событиях того дня, когда меня исключили, — я все еще храню память о них в самой глубине души.

Я на миг закрываю глаза, а когда открываю, оказывается, что я гляжу прямо в лицо Уиллу. Он повернул голову, чтобы посмотреть на меня; еще один странный момент. «Почему он не отводит взгляд?» — думаю я. А потом: «А я почему не отвожу?» Три, четыре, пять секунд... Наконец углы его рта приподнимаются в едва заметной улыбке, и вот он смотрит прямо перед собой и шумно выдыхает — раз, другой, третий; я наконец соображаю, что это он выполняет приказ доктора, который прижал к его спине стетоскоп и теперь просит его сделать еще один глубокий вдох и полный выдох.

— Спасибо, — скучным голосом говорит доктор, отходит от койки Уилла и разрешает ему снова одеться. И обращается ко мне: — Следующий.

Я прохожу такой же осмотр, то же измерение пульса и кровяного давления, роста, веса,

объема легких. Доктор хватает меня за яйца и велит кашлянуть; я быстро повинуюсь, желая, чтобы он поскорей меня отпустил. Он приказывает мне вытянуть обе руки перед собой и держать как можно неподвижнее. Я выполняю приказ, и результат ему, кажется, нравится.

— Как скала, — говорит он, кивая и ставя галочку в своих бумагах.

Потом, после ужасного завтрака — холодной яичницы-болтуни с жирным беконом, — я снова попадаю в казарму и убиваю несколько минут на рекогносцировку. Противоположный от наших коек конец казармы отгорожен ширмой: здесь спят Уэллс и Моуди, кое-как уединившись от своих бесполезных подопечных. Сортир находится снаружи, он оборудован несколькими ведрами для мочи и кое-чем гораздо худшим, много более зловонным, — нам уже сообщили, что эту штуку мы должны будем выносить каждый вечер, по очереди. Сегодня, конечно, очередь Вульфа.

— Могли бы дать нам завтрак переварить! — жалуется Уилл, пока мы идем на плац — бок о бок, но на сей раз где-то посреди стаи. — Правда ведь? Кажется, я сейчас выблюю все сразу. Но конечно, идет война и мы не отдыхать сюда приехали.

Нас ждет сержант Клейтон. Он стоит в свежевыглаженной форме, очень прямо и совершенно неподвижно, словно даже не дышит, — пока мы выстраиваемся перед ним и два апостола занимают места по правую и левую руку.

— Солдаты! — говорит он наконец. — Мне было бы омерзительно смотреть, как вы упражняетесь в форме своего полка. Поэтому я решил, что вы будете тренироваться в своей штатской одежде.

Гул разочарования пробегает по рядам: ясно, что многие мальчики только и мечтали надеть хаки, словно форма сама по себе уже превратит их в солдат. Мы не могли дожидаться дня, когда нас призовут, и не хотим ни единой лишней секунды носить грязные дешевые тряпки, в которых приехали.

— Голову нам дурит, — шепчет мне Уилл. — Просто у армии, черт бы ее драл, нет денег на новую форму. Нас еще не скоро обмундируют.

Я не отвечаю — мне не хочется, чтобы меня поймали за разговорами в строю. Но я верю Уиллу. Я читал газеты с самого начала войны, и они постоянно писали, что армии не хватает военной формы и винтовок на всех солдат. Это плохо, потому что в обозримом будущем нам придется ходить в штатском; но в то же время хорошо, потому что нас не пошлют во Францию, пока не экипируют как следует. В Парламенте уже был шум из-за того, что людей отправляют на смерть одетыми кое-как.

Мы начинаем с азов строевой подготовки: десять минут упражнений на растяжку, потом бег на месте, пока не вспотеет хорошенько. Тут сержант Клейтон вдруг решает, что наша колонна — четыре на пять человек — стоит недостаточно ровно, и бросается в просвет между рядами, дергая одного солдата, чтобы выдвинулся на шаг вперед, другого толкая чуть назад, оттаскивая одного ошеломленного беднягу вправо, а другого такого же — влево. Когда он все же успокаивается, колонна не становится ни заметно ровнее, ни заметно кривее, чем десять минут назад, но сержанта результат, кажется, устраивает. Возможно, то, что не видно моему нетренированному глазу, чудовищно оскорбляет взор опытного служаки.

Все это время сержант Клейтон беспрестанно и громко поносит нас за неспособность держать строй; голос его взбирается на такие высоты, на лице отражается такая ярость, что я боюсь, как бы его не хватил кондрашка, если не побережется. Однако, к моему удивлению, когда занятие кончается и нас отпускают — посылают в душевую и велят вымыться как следует, — сержант снова собран и невозмутим, как во время нашей первой встречи.

Он лишь отдает еще один приказ. По его словам, Вульф сильно подвел свое отделение, так как, маршируя, недостаточно высоко вскидывал ноги.

— Я думаю, Вульф — еще час строевой подготовки, — говорит он, поворачиваясь к Моуди, который отвечает твердым «Есть, сэр».

Уэллс ведет нас туда, откуда мы начали, а наш товарищ остается на плацу, маршируя в идеальном строю из одного человека; мы бросаем его за этим занятием, ничуть не огорчаясь.

* * *

— У Клейтона точно зуб на Вульфа, а? — замечает Уилл чуть позже, когда мы лежим на койках.

Нам дали полчаса отдохнуть перед очередным упражнением, вечерним марш-броском по какой-то сильно пересеченной местности; при одной мысли о нем мне хочется завывать.

— А как иначе-то, — говорю я.

— Разумеется. Но все же. Не слишком спортивно со стороны Клейтона, а?

Я смотрю на него и удивленно улыбаюсь. Он говорит не как простые люди — видно, в семье священника дают чуть более утонченное воспитание, чем в семье мясника. Он употребляет умные слова и, кажется, привык заботиться о других. Его доброта впечатляет. Она как будто втягивает, обволакивает меня.

— Твой отец расстроился, когда тебя призвали? — спрашиваю я.

— Ужасно. Но он расстроился бы гораздо сильнее, если бы я отказался драться. Король, отечество — это все для него очень важно. А твой?

Я пожимаю плечами:

— Он не слишком убивался.

Уилл кивает и шумно дышит через нос, потом садится, складывает подушку вдвое и засовывает себе под спину, вынимает сигарету и принимается задумчиво курить.

— Слушай, — говорит он через несколько секунд — так тихо, что кроме меня его никто не слышит, — а что ты подумал про этого доктора, ну, сегодня?

— Подумал? — растерянно повторяю я. — Я про него вовсе не думал. А что?

— Ничего. Просто мне показалось, тебе очень интересно то, что он делает. Ты случайно не собираешься сбежать и устроиться куда-нибудь в госпиталь?

Я чувствую, что опять краснею, — значит, он все-таки заметил, что я на него пялился, — и поворачиваюсь на другой бок, чтобы ему было не видно.

— Нет-нет, Бэнкрофт, что ты. Я остаюсь в полку!

— Рад слышать, Тристан, — говорит он, наклоняясь ко мне так близко, что я чувствую слабый запах пота. Мне кажется, что сейчас он может подчинить меня своей воле, целиком и полностью. — Потому что мы тут застряли с кучей никуда не годных неудачников. Капрал Моуди в чем-то прав. И я рад, что обзавелся другом.

Я улыбаюсь, но не отвечаю; при этих словах мою плоть пронзает что-то острое, словно мне приставили к груди нож и теперь давят на него, намекая на боль, которая вскоре последует. Я закрываю глаза и стараюсь об этом не задумываться.

— И ради бога, Тристан, не зови меня Бэнкрофтом, — добавляет он, падая обратно на свою койку; он плюхается на нее с такой силой, что пружины жалобно стонут. — Мое имя Уилл. Да, здешние кретины зовут друг друга по фамилиям, но мы с тобой не такие. Они нас не ломают — мы не позволим, лады?

* * *

В следующие недели нас жесточайшим образом гоняют — я не могу поверить, что именно об этом так долго мечтал. Побудка обычно проходит в пять утра. Когда Уэллс или Моуди нас поднимают, мы должны за три минуты проснуться, выскочить из постели, одеться, натянуть сапоги и выстроиться снаружи у казармы. Обычно в этот час мы едва соображаем, что происходит, а когда выступаем в четырехчасовой марш, наши тела словно кричат от боли. В каждое такое утро я думаю, что хуже начальной подготовки ничего не бывает; скоро я узнаю, что заблуждался и на этот счет.

Однако в результате всех мучений наши молодые тела развиваются, на икрах и на груди вырастает твердый панцирь мышц, живот подтягивается, и мы наконец начинаем походить на солдат. Даже те немногие, кто прибыл в Олдершот с лишним весом — Тернер,

Хоббс, Мильтон, почти ожиревший Денчли — сбрасывают фунты и приобретают более здоровый вид.

Во время марша от нас не требуют молчать, и мы обычно переговариваемся вполголоса. Я в хороших отношениях с большинством солдат во взводе, но все же с утра обычно стараюсь встать рядом с Уиллом, и он, кажется, не против того, чтобы проводить время со мной. Мне в жизни досталось очень мало дружбы. Единственный, кто для меня что-то значил, был Питер, но он предал меня дважды — сначала ради Сильвии, а потом после происшествия в школе; мой позор стал гарантией, что я больше никогда его не увижу.

Однажды, в выпавший нам редкий час отдыха, Уилл заходит в казарму и застаёт меня одного — я стою спиной к нему, и он в шутку насккивает на меня с воплем, точно разыгравшийся ребенок в игре. Я отдираю его от себя, и мы катимся кувырком по полу, цепляясь за что попало, толкаясь и хохоча. Он зажимает меня в клинч, придавливает к полу, садится на меня верхом, смотрит сверху вниз и улыбается — темные волосы падают на глаза, и я уверен, что он смотрит на мои губы, впивается в них взглядом, чуть повернув голову, выгнув спину, и я слегка сгибаю ногу в колене и отваживаюсь улыбнуться. Мы смотрим друг на друга. «Ах, Тристан», — тихо и печально говорит он, и тут кто-то подходит к двери, и он отскакивает от меня, и, когда оглядывается на Робинсона, только что вошедшего в казарму, я понимаю, что он избегает моего взгляда.

Поэтому, может быть, нет ничего удивительного в том, что меня душит ревность, когда на утреннем марш-броске, остановившись завязать шнурок, я теряю Уилла в толпе и потом, протолкнувшись вперед (но стараясь, чтобы мои намерения были не слишком очевидны), обнаруживаю, что он идет впереди колонны и душевно беседует не с кем иным, как с Вульфом, нашим идейным отказником! Я гляжу в изумлении: с Вульфom никогда никто не ходит и не говорит. У него на кровати каждый вечер появляются белые перышки — из наших подушек, причем в таком количестве, что Моуди, любящий Вульфа не больше нашего, приказывает это прекратить, иначе мы скоро останемся без подушек, будем спать головой на матрасе и просыпаться с затекшей шеей. Я озираюсь, гадая, заметил ли кто-нибудь, но мои однополчане слишком заняты переставлением ног — головы у них склонены, глаза полузакрыты, все мысли только о том, как бы скорей вернуться в лагерь, к сомнительным удовольствиям завтрака.

Я, полный решимости вклиниться в беседу, слегка прибавляю скорость, наконец догоняю Уилла с Вульфom и пристраиваюсь рядом с Уиллом. Я с беспокойством гляжу на него, а Вульф вытягивает шею и улыбается мне. У меня создается впечатление, что я прервал его речь, — Вульф никогда не участвует в разговорах, а только произносит речи, — но он уже замолчал, а Уилл смотрит на меня, и на лице у него написано, что он удивлен моему появлению, но рад меня видеть.

Одна из черт, которые мне в нем нравятся, — то, что он (по крайней мере, я так думаю) искренне наслаждается моим обществом. Когда я с ним, я чувствую себя таким же хорошим человеком, как он, таким же умным, таким же легким в общении, а по правде сказать, я на самом деле далек от того, другого и третьего. И еще мне кажется, упорно кажется, что он питает ко мне какие-то чувства.

— Тристан, — бодро говорит он. — А я гадал, что с тобой случилось. Думал — может, ты завалился обратно спать. Мы с Артуром разговорились. Он мне рассказывал о своих планах на будущее.

— Правда? — Я гляжу на Вульфа. — Что же это за планы? Он хочет стать священником и дорасти до Папы Римского?

— Эй, полегче. — В голосе Уилла слышится нотка неодобрения. — Ты же знаешь, что мой отец — священник. Если человек хочет идти служить в церковь, в этом ничего плохого нет. Если, конечно, ему такое подходит. Мне вот не подошло, но все люди разные.

— Ну да. Ну да. — Действительно, я и забыл про достопочтенного отца Бэнкрофта, читающего проповеди своей пастве где-то там, в Норидже. — Я только хотел сказать, что Вульф во всех людях видит хорошее, вот и все.

Жалкая отговорка — я пытаюсь притвориться, что уважаю Вульфа, хотя на самом деле терпеть его не могу — единственно потому, что, по моим подозрениям, его уважает Уилл.

— Нет, священство — это не для меня, — говорит Вульф, явно наслаждаясь моей неловкостью. — Я думал пойти в политику.

— В политику, — со смехом повторяю я. — Но у тебя же нет шансов?

— Это почему? — спрашивает он, поворачиваясь ко мне — как обычно, с непроницаемым лицом.

— Слушай, Вульф, может ты прав в своих убеждениях, может, нет. Я не могу тебя судить.

— Неужели? С каких это пор? Ты же все время меня судишь. Я думал, ты согласен с остальными, кто подсовывает мне перья.

— Но даже если ты прав, — продолжаю я гнуть свою линию, — у тебя вряд ли получится убедить в этом людей после войны. Ну, то есть, если вдруг в моем округе кто-нибудь станет баллотироваться в парламент и скажет избирателям, что он возражает против войны и отказался идти на фронт, ему дай бог унести ноги с трибуны, а не то что набрать достаточно голосов.

— Но Артур же не отказывается идти на фронт. Он здесь, с нами.

— Здесь — учебный лагерь, — встревает Вульф. — Уилл, я же объяснял тебе, что как только нас отправят на фронт, я откажусь драться. Я им это говорил. Они это знают. Но не слушают, вот в чем беда. Военный трибунал уже давно должен был решить мое дело, но пока молчит. Меня это очень расстраивает.

— Слушай, а против чего ты на самом деле возражаешь? — спрашиваю я, вдруг осознав, что мне ничего не известно о его мотивах. — Тебе война не нравится? В этом дело?

— Война никому не должна нравиться, Сэдлер, — говорит Вульф. — И я не могу себе представить, чтобы она кому-то нравилась, кроме разве что сержанта Клейтона. Вот он, кажется, получает от нее удовольствие. Нет, я просто не верю, что хладнокровно лишать жизни других людей — это правильно. Я неверующий... ну, не очень верующий... но я думаю, что кому жить, а кому умирать, должен решать Бог. К тому же что я могу иметь против какого-нибудь немецкого мальчишки, которого притащили из Берлина, или Франкфурта, или Дюссельдорфа сражаться за родину? Что он может иметь против меня? Да, на карту поставлены вопросы, политические вопросы, территориальные, мы воюем из-за них, и я согласен, что интересы некоторых стран оказались ущемлены, но ведь есть же дипломатия, ведь могут же здравомыслящие люди собраться за столом и достигнуть согласия. И я считаю, что возможности решить вопрос мирным путем еще не исчерпаны. Но вместо этого мы просто убиваем друг друга — день за днем. Именно против этого я возражаю, Сэдлер, если тебе уж так интересно. И я отказываюсь в этом участвовать.

— Но послушай, — произносит Уилл с ноткой отчаяния в голосе, — тогда тебя отправят таскать носилки. Не может же быть, что ты этого хочешь.

— Конечно, нет. Но это единственная альтернатива.

— Но если тебя через десять минут снимет выстрелом снайпер, ты не сможешь внести свой ценный вклад в политику.

Уилл, хмурясь, смотрит на меня, и мне становится стыдно за свои слова. Среди нас — всех нас — действует негласная договоренность не упоминать о последствиях войны, о том, что мало кто из нас доживет до ее окончания, а может, и вовсе никто не доживет, и мои слова чрезвычайно вульгарны и идут совершенно вразрез с этикетом. Я отворачиваюсь, не в силах выдержать испытующий взгляд друга, и громко топаю сапогами по камням.

— Сэдлер, что-то не так? — спрашивает Вульф через несколько минут, когда Уилл уходит вперед, о чем-то беседуя и смеясь с Хенли.

— Нет, — буркаю я, даже не глядя на него, — мои глаза устремлены вперед, на еще одну зачаточную дружбу, грозящую оставить меня с носом. — С какой стати?

— Ты, кажется, чем-то... обеспокоен, вот и все. Что-то тебя гложет.

— Ты меня не знаешь, — говорю я.

— Тебе совершенно не о чем беспокоиться, — говорит он небрежным тоном, который меня так бесит. — Мы просто разговаривали. Я не собираюсь его у тебя уводить. Можешь прямо сейчас забрать его обратно.

Я поворачиваюсь и смотрю на него, не находя слов, чтобы выразить свое негодование. Он заливается хохотом и, тряся головой, марширует дальше.

Позже Уилл, чтобы наказать меня за бесчувственность, снова встает в пару с Вульфом, когда нас начинают учить обращению с винтовкой с укороченным магазином. Я же попадаю в пару с Ричем, у которого на все всегда готов ответ. Он явно считает себя остряком и душой компании, но известно, что в учебе он туповат. В группе Рич занимает несколько необычное положение — доводит Уэллса и Моуди до отчаяния своей тупостью и почти ежедневно навлекает на себя гнев сержанта Клейтона, но в нем есть что-то трогательное, что-то симпатичное, и никто не может сердиться на него подолгу.

Каждому из нас выдают винтовку, но наши жалобы, что мы до сих пор ходим в штатском (которое стирают каждые три дня, чтобы избавиться от засохшей грязи и застарелого запаха пота), уходят в никуда.

— Им нужно, чтобы мы поубивали как можно больше врагов, — замечает Рич. — Им все равно, как мы выглядим. Мы можем пойти на фронт в чем мать родила, Китченер даже не почешется.

Я с ним соглашаюсь, но думаю, что все это немного чересчур, и так и говорю. Но все же, когда нам наконец выдают винтовки, это действует очень сильно: мы неловко замолкаем и с ужасом думаем, что, возможно, нам очень скоро велят пустить их в ход.

— Джентльмены, — говорит сержант Клейтон, стоя перед нами и совершенно непристойным движением поглаживая свою винтовку, — вы держите в руках оружие, которое выиграет эту войну. Винтовка Ли Энфилд с укороченным магазином на десять патронов, со скользящим затвором, вызывающим зависть армий всего мира, и — для ближнего боя — семнадцатидюймовым штыком на случай, когда вы врываетесь в окоп и хотите пронзить врага прямо в лицо, чтобы показать ему, кто есть кто и что есть что и почему фунт изюму. Эти винтовки — не игрушки, джентльмены, и если я кого поймаю на том, что он обращается с ними, как с игрушкой, то отправлю его в десятимильный марш-бросок с десятью этими прекрасными инструментами, привязанными к спине. Я понятно излагаю?

Мы сопим в знак согласия, и нас начинают обучать основам обращения с винтовкой. Заряжать и разряжать ее оказывается делом непростым — одним эта наука дается быстрее, другим медленнее. Я по способностям оказываюсь где-то посередине и искоса поглядываю на Уилла, который снова болтает с Вульфом, в то же время наполняя магазин патронами, вновь вынимая патроны, примыкая штык и снимая его. Я на миг перехватываю взгляд Вульфа и мгновенно воображаю, что они обсуждают меня, что Вульф читает меня как раскрытую книгу, видит мою душу насквозь и рассказывает Уиллу все мои тайны. Можно подумать, что я выкрикнул свои мысли вслух, потому что Уилл в этот самый миг поворачивается и смотрит на меня; на лице его расплывается радостная улыбка, и он театрально потрясает винтовкой в воздухе. Я улыбаюсь в ответ и машу своей и тут же в награду получаю по ушам от Моуди. Растираю больные уши и вижу, что Уилл радостно смеется, — и это одно оправдывает все мои страдания.

— Я вижу, у нас тут некоторые осваивают материал быстрее других, — замечает сержант Клейтон, когда проходит достаточно времени. — Давайте-ка устроим небольшую проверку знаний. Уильямс, выйдите сюда, пожалуйста.

Роджер Уильямс, юноша кроткий и покладистый на фоне прочих моих однополчан, выходит вперед.

— И... Йейтс, прошу вас, — продолжает сержант Клейтон, — вы тоже. И Вульф.

Все трое собираются в передней части комнаты. Двое из них должны участвовать в теперь уже ежедневном ритуале унижения Вульфа. Я чувствую всеобщее злорадство, устремленное на Вульфа, и бросаю взгляд на Уилла, лицо у него хмурое.

— Итак, джентльмены, — говорит сержант Клейтон, — тот, кто последним разберет и

соберет винтовку... — Он задумывается и пожимает плечами: — Я еще не знаю, что его ждет. Но он точно не обрадуется.

Сержант слегка улыбается, и взводные подхалимы старательно хихикают над его жалкой шуткой.

— Капрал Уэллс, обратный отсчет, пожалуйста.

Капрал командует: «Три! Два! Один! Пошли!» — и, к моему изумлению, пока Уильямс и Йейтс возятся со своими винтовками, Вульф быстро и уверенно разбирает свою и снова собирает — в общей сложности секунд за сорок пять. Воцаряется тишина, огромное всеобщее разочарование, и два соперника Вульфа на миг останавливаются и в недоумении глядят на него, прежде чем быстро закончить вторыми.

Сержант Клейтон расстроен. Сомнений нет: Вульф выполнил задание, и притом за установленное время; теперь его никак нельзя наказать, выйдет просто неспортивно, и все это поймут. Я вижу, что Уилл не может скрыть улыбку и, кажется, едва удерживается, чтобы не разразиться аплодисментами, но, слава богу, не делает этого.

— Поразительно, — произносит наконец сержант Клейтон. Похоже, он искренен. — Поразительно, что трус может так хорошо обращаться с винтовкой.

Вульф возмущенно и устало выдыхает.

— Я не трус, — говорит он. — Я просто не люблю войну, вот и все.

— Вы трус, сэр, — стоит на своем Клейтон. — Будем хотя бы называть вещи своими именами.

Вульф пожимает плечами — намеренно провокационный жест, — и сержант выхватывает винтовку у Йейтса, убеждается, что она не заряжена, и снова обращается к Моуди:

— Пожалуй, устроим еще один тур. Я с Вульфом. Что, Вульф, не побойтесь принять вызов? Или это тоже против ваших утонченных моральных принципов?

Вульф молча кивает, и Моуди повторяет команду: «Три! Два! Один! Пошли!» На сей раз ясно, кто победит. Сержант Клейтон разбирает и собирает свою винтовку с невероятной скоростью — на это стоит посмотреть. Многие солдаты начинают аплодировать, и я для виду несколько раз сдвигаю ладони в общем подхалимском шуме. Сержант глядит на нас, в восторге от своей победы, и его ухмылка, обращенная к Вульфу, столь горделива, что я понимаю: сержант ведет себя как ребенок, он счастлив, что обошел новобранца в деле, которым занимается уже много лет. Это никакая не победа. Сержант опозорился уже тем, что вызвал Вульфа на состязание.

— Ну, Вульф, что вы теперь скажете? — спрашивает сержант.

— Скажу, что вы обращаетесь с винтовкой так, как мне никогда не научиться, — отвечает Вульф, заканчивает собирать винтовку и становится в строй рядом с Уиллом, который незаметно хлопает его по спине, словно говоря: «Молодец!»

Клейтон, кажется, никак не может решить, похвалил его Вульф или оскорбил. Сержант отпускает нас и остается один — вероятно, размышляя, как бы поскорей снова наказать Вульфа за какой-нибудь мнимый проступок.

* * *

В день, когда наконец привозят обмундирование, нас с Уиллом ставят в караул. Мы стоим у ворот лагеря в холодном ночном воздухе, радуясь новенькой форме. Каждому из солдат выдали по новой паре ботинок, две толстые серые рубашки без воротника и пару брюк защитного цвета, вздернутых выше талии аккуратными подтяжками. И толстые носки — я надеюсь, что для разнообразия у меня за ночь не замерзнут ноги. Завершает комплект тяжелая шинель. В этих-то щегольских обновках мы с Уиллом и стоим бок о бок, зорко всматриваясь в пространство — мало ли, вдруг на холме посреди Хэмпшира вдруг появится батальон немцев.

— У меня шея болит, — жалуется Уилл, оттягивая ворот. — Очень грубая материя,

правда?

— Да. Но, надо полагать, мы привыкнем.

— После того, как на шее образуется мозоль. Нам придется воображать, что мы французские аристократы и подсказываем мадам Гильотине, где рубить.

Я смеюсь и смотрю на облачка пара, выплывающие у меня изо рта.

— Но все-таки эта форма теплее нашей прежней одежды, — говорю я, подумав. — Я боялся, что придется опять стоять ночь в штатском.

— Я тоже. Но как они сегодня обошлись с Вульфом, а? Правда ведь, отвратительно?

Я думаю, прежде чем ответить. Сегодня, когда Уэллс и Моуди выдавали обмундирование, Вульф получил огромную рубаху и слишком тесные брюки. Он выглядел шутком, и, когда предстал перед нами в новом облачении, весь взвод, кроме Уилла, зарыдал от смеха. Я не присоединился к веселью только потому, что не хотел уронить себя в глазах Уилла.

— Он же сам в этом виноват, — говорю я. Манера моего друга постоянно защищать Вульфа доводит меня до отчаяния. — Слушай, ну почему ты вечно за него заступаешься?

— Потому что он наш однополчанин, — отвечает Уилл, как будто это самая очевидная вещь на свете. — Ну помнишь, нам еще сержант Клейтон объяснял недавно? Эсперт... как там? Эсперт чего-то такое.

— *Esprit de corps*⁵, — поправляю я.

— Да-да. Суть в том, что полк — единый организм, одно целое, а не сборище разнородных людей, каждый из которых старается привлечь к себе внимание. Да, Вульфа многие не любят, но это не повод делать из него какое-то чудовище. Он же здесь, с нами, верно? А не убежал куда-нибудь, ну, скажем, на Шотландское нагорье или еще в какую-нибудь дыру. Он ведь мог сбежать и отсидеться до конца войны.

— Он же сам все делает для того, чтобы его не любили, — объясняю я. — Не хочешь ли ты сказать, что согласен с его речами? С его убеждениями?

— В его речах многое разумно, — тихо отвечает Уилл. — Ну, то есть, я не говорю, что мы все должны взяться за руки, объявить себя идейными отказниками и отправиться по домам. Я не дурак и понимаю, что из этого ничего хорошего не вышло бы. Вся страна погрузилась бы в ужасный хаос. Но черт побери, человек имеет право на собственное мнение или нет? Имеет право на то, чтобы его выслушали? Кое-кто на его месте просто смылся бы, а он — нет, и за это я его уважаю. Ему хватает мужества быть тут с нами, тренироваться вместе со всеми и ждать, пока наконец трибунал решит его дело. Если они снизойдут до того, чтобы сообщить ему результат. И за это его травит стадо омерзительных болванов, которым даже не приходит в голову задуматься — а может, все-таки нельзя так просто убивать других людей? Может, это страшное преступление против естественного порядка?

— Я и не думал, что ты такой утопист, — говорю я с заметным ехидством.

— Не смей со мной так разговаривать! — взрывается он. — Мне не нравится, как обращаются с Вульфом, вот и все. И я еще раз повторю, если надо: в его словах много разумного.

Я не отвечаю, лишь смотрю перед собой, шурясь — вглядываюсь вдаль, словно заметил какое-то движение на горизонте, хотя мы оба прекрасно знаем, что там ничего нет. Я просто не желаю больше спорить. Не намерен продолжать этот разговор. Честно сказать, я согласен с Уиллом, просто мне больно думать, что он уважает Вульфа и даже смотрит на него снизу вверх, а я для него только приятель, с которым можно поболтать перед сном или встать в пару на занятиях, потому что мы с ним примерно равны по силе, умению и скорости реакции — трем факторам, которые, по словам сержанта Клейтона, отличают британских солдат от их немецких противников.

Воцаряется долгая пауза.

⁵ Дух полкового товарищества (*фр.*).

— Слушай, не сердись, — говорю я наконец. — Если по-честному, Вульф и мне нравится. Просто лучше бы он поменьше выпендривался со своими взглядами.

— Давай больше не будем об этом, — отвечает Уилл, шумно дыша на ладони, и мне радостно слышать, что он говорит не сердито. — Мне не хочется с тобой спорить.

— Мне тоже. Ты же знаешь, как мне дорога твоя дружба.

Он смотрит на меня и громко, взволнованно дышит. Прикусывает губу, вроде бы хочет что-то сказать, но передумывает и отворачивается.

— Слушай, Тристан, — начинает он после секундной паузы, явно меняя тему разговора. — Ты никогда не угадаешь, какой сегодня день.

И я тут же догадываюсь:

— Твой день рождения.

— Откуда ты знаешь?

— Просто догадался.

— Тогда где мой подарок? — И его лицо разъезжается в нахальной улыбке, которая прогоняет у меня из головы все остальные мысли.

Я подаюсь вперед и бью его кулаком в плечо.

— Вот, держи!

Он притворно вскрикивает от боли и потирает ушибленное место, я ухмыляюсь в ответ на его улыбку и тут же отвожу взгляд.

— Ну так с днем рождения, бля! — Это я изображаю нашего любимого капрала Моуди.

— Большое спасибо, бля, — хохочет в ответ Уилл.

— Так сколько тебе исполнилось?

— А то ты не знаешь. Я всего на несколько месяцев старше тебя. Девятнадцать.

— Девятнадцать лет — и нецелованный, — машинально говорю я, не заостряя внимания на том, что на самом деле нас разделяет не несколько месяцев, а почти полтора года. Это присказка моей матери — она каждый раз так говорит, когда речь заходит о чем-нибудь в возрасте, и я совершенно ничего конкретного не имею в виду.

— Полегче, старик, — мгновенно парирует он, глядя на меня с улыбкой, к которой примешивается легкая обида. — Я еще как целовался. А ты что, нет?

— Чего это нет, — говорю я. Ведь Сильвия Картер меня в самом деле целовала. И еще один поцелуй был в моей жизни. Оба обернулись катастрофой.

— Вот если б я был дома... — мечтательно произносит Уилл. Это игра, которой мы тешимся каждый раз, когда стоим вдвоем в карауле. — Родители закатали бы обед и соседей позвали бы, а те просто завалили бы меня подарками.

— Очень изысканно, — замечаю я. — А меня пригласили бы?

— Конечно, нет. В наш дом допускаются только представители высших слоев общества. Ты же знаешь, мой отец — настоятель собора, занимает определенное положение. Мы не можем принимать у себя кого попало.

— Ну что ж, тогда я встану снаружи у твоего дома, — заявляю я. — На карауле, вот как мы сейчас стоим. По старой памяти, чтобы не забывать об этой чертовой дыре. И никого не пущу внутрь.

Он смеется, но не отвечает, и я думаю, не перехватил ли.

— Ну, одного человека тебе придется пропустить, — говорит он наконец.

— Да? Кого это?

— Элинон, конечно.

— Ты вроде говорил, что твою сестру зовут Мэриан.

— Да, но при чем тут это?

— Нет, я только... — смутившись, начинаю я. — А если эта Элинон не твоя сестра, тогда кто? Ваша любимая собачка? — Я выдавливаю смешок.

— Нет, Тристан, — фыркает он. — Ничего подобного. Элинон — моя невеста. Разве я тебе про нее не рассказывал?

Я пристально смотрю на него. Я прекрасно знаю, что он мне про нее ни слова не

говорил, и вижу по его лицу, что он тоже это знает. Этими словами он как будто пытается мне что-то доказать.

— Твоя невеста? Ты обручен?

— Ну, в каком-то смысле... — отвечает он, и в голосе слышится нотка замешательства и даже сожаления. Но я не уверен, на самом деле так или мне чудится. — Мы с ней очень давно встречаемся. И говорили о браке. Видишь ли, наши семьи дружат, ну и наверное, родители с самого начала собирались нас поженить. Она замечательная девушка. У нее широкие взгляды — ты понимаешь, о чем я. Я терпеть не могу девиц с узкими взглядами. А ты?

— Просто не выношу. — Я ковыряю землю носком ботинка и пинаю ее, словно ком земли — это голова Элинора. — Меня от них блевать тянет.

Я не совсем понимаю, что означает эта «широта взглядов». Выражение непривычное. И тут я вспоминаю наш разговор о храпе — Уиллу кто-то сказал, что он ужасно храпит, — и эта фраза вбивается в меня, как ядовитая змея, потому что до меня наконец доходит, что он имеет в виду.

— Когда все кончится, я тебя с ней познакомлю, — говорит Уилл после секундного молчания. — Я уверен, она тебе понравится.

— Непременно. — Теперь уже я дышу себе в ладони. — Я уверен, что она — само очарование, бля.

Он колеблется несколько секунд, потом поворачивается ко мне. На лице ярость.

— А это еще что такое?!

— Что?

— То, что ты только что сказал. «Я уверен, что она — само очарование, бля».

— Не обращай на меня внимания, — говорю я, закипая злостью. — Я просто замерз, вот и все, бля. А ты, Бэнкрофт, не замерз? Кажется, нам зря хвалили эту форму.

— Я же просил не звать меня так! Мне это не нравится! — взрывается он.

— Прости, Уилл.

Воцаряется натянутое молчание. Оно длится пять, десять минут. Я ломаю голову, что бы такое сказать, но тщетно. Значит, Уилл водится с какой-то девкой и это тянется уже черт знает сколько времени. Больше всего на свете мне хочется упасть к себе в койку, зарыться лицом в подушку и надеяться, что я скоро забудусь сном. Я не могу себе представить, о чем думает Уилл, но он тоже молчит, и я предполагаю, что ему тоже неловко, и одновременно пытаюсь думать о причине этого и стараюсь о ней не думать.

— А у тебя, значит, никого нету? — спрашивает он наконец. Похоже, эти слова задумывались как сочувственные, но звучат они совершенно по-другому.

— Ты же знаешь, что нет, — холодно отвечаю я.

— Откуда мне знать? Ты ничего об этом не говорил.

— Если бы кто-нибудь был, я бы тебе сказал.

— Но я же не говорил тебе про Элинора, — парирует он. — Если верить тебе, во всяком случае.

— Не говорил.

— Ну, мне просто не хотелось думать о том, как она там, в Норидже, тоскует по мне совсем одна.

Он хочет пошутить, смягчить возникшее между нами напряжение, но не получается. Он только выставляет себя самоуверенным наглецом, что вовсе не входит в его намерения.

— Ты знаешь, что кое-кто из нашего взвода женат? — спрашивает он, и я заинтересованно откликаюсь.

— Правда? Я не слыхал. А кто?

— Ну, например, Шилдс. И Этглинг. И Тейлор тоже.

— Тейлор? — поражаюсь я. — Да брось, кто согласится выйти замуж за Тейлора? Он же выглядит как первобытный дикарь.

— Ну, кто-то, очевидно, согласился. Тейлор говорил, что свадьба была прошлым

летом.

Я пожимаю плечами, словно ничего скучнее быть не может.

— Должно быть, ужасно приятно быть женатым, — говорит вдруг Уилл. — Представь себе, каждый вечер, как приходишь домой, тебя ждет горячий ужин и кто-то уже согрел твои тапочки перед камином...

— Действительно, мечта каждого мужчины, — ядовито соглашаюсь я.

— И все прочее, — продолжает он. — В любой момент, по первому требованию. Это стоит любых забот и трудов, ты согласен?

— Прочее? — повторяю я, прикидываясь тупым.

— Ты же понимаешь, о чем я.

Я киваю:

— Да. Да, я понимаю, о чем ты. О сексе.

Он смеется и кивает:

— Именно о сексе. Но ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Как будто в ужасе выплевываешь это слово.

— Да?

— Да.

— Все нет, — высокомерно отвечаю я. — Просто я считаю, что есть вещи, о которых не говорят.

— Может, и не говорят... посреди проповеди моего отца. Или в присутствии моей матери и ее подруг на дамском карточном вечере. Но здесь-то? Ладно тебе, Тристан, не будь ханжой.

— Не смей меня так называть! Я не потерплю обзывательств.

— Да я ничего, — защищается он. — Чего это ты так завелся?

— Ты по правде хочешь знать? Потому что если по правде, я тебе скажу.

— Конечно, по правде, — отвечает он. — А то и не спрашивал бы.

— Ну ладно. Мы тут уже шесть недель, так?

— Да.

— И я считал, что мы с тобой друзья.

— Так мы и есть друзья. — Он неуверенно смеется, хотя ничего смешного в нашем разговоре нет. — Почему ты думаешь, что это не так?

— Может, потому, что за шесть недель ты ни разу ни словом не обмолвился, что тебя дома ждет невеста.

— Ну а ты ни разу не обмолвился о том... о том... — он запинается, — не знаю, ну, о том, как тебе больше нравится путешествовать — на корабле или на поезде. Как-то к слову не пришлось, вот и все.

— Не говори глупостей. Меня это просто удивило, ничего больше. Я думал, ты мне доверяешь.

— Да, я тебе доверяю. И вообще, ты лучше всех в нашем взводе.

— Ты правда так думаешь?

— А то. Плохо быть в таком месте без друга. Не говоря уже о месте, куда нас отправят потом. А ты мой друг. Лучший. Надеюсь, ты не ревнуешь? — Он смеется над абсурдностью этого предположения. — Ты ведешь себя ужасно похоже на Элинора. Она тоже все время пилит меня из-за другой девушки, Ребекки. Клянется, что Ребекка в меня влюблена.

— Да нисколько я не ревную! — Я в отчаянии сплевываю на землю. Господи! Теперь еще и какая-то Ребекка появилась. — С какой стати мне ревновать? Что за ерунда?

Мне хочется продолжать. Отчаянно хочется сказать больше. Но я знаю: нельзя. Мы словно стоим на краю пропасти. Уилл поворачивается, и наши глаза встречаются, он сглатывает слюну, и я понимаю: он чувствует то же, что и я. Я могу броситься вниз в надежде, что он меня поймает, — или отступить на шаг.

— Давай забудем об этом, — говорю я наконец, трясая головой, словно пытаюсь вытрясти из нее все недостойные мысли. — Я просто обиделся, что ты мне про нее не

говорил. Не люблю секретов.

Краткая пауза.

— Но это же никакой не секрет, — тихо отзывается он.

— Да что бы там ни было. Забудем. Я просто устал, и все. Несу не пойми что.

— Мы оба устали, — Он пожимает плечами и отворачивается. — Я вообще не понимаю, о чем мы спорим.

— Мы не спорим, — возражаю я, сверля его взглядом. На глаза наворачиваются слезы, потому что я вовсе не хочу с ним спорить, как бог свят не хочу. — Уилл, мы вовсе не спорим.

Он делает шаг ко мне, протягивает руку и осторожно касается моего предплечья. Глаза его при этом следят за рукой, словно она действует независимо от него и может в любой момент выкинуть неизвестно что.

— Просто я ее всю жизнь знаю, — говорит он. — Я всегда думал, что мы с ней созданы друг для друга.

— И что, действительно так? — Сердце бьется у меня в груди как бешеное, а Уилл все еще касается меня, и я уверен, что он ощущает это биение.

Он смотрит на меня — на лице замешательство и печаль. Он открывает рот, собираясь что-то сказать, но молчит; все это время мы смотрим друг другу в глаза, три, четыре, пять секунд, и я уверен — сейчас один из нас что-нибудь скажет или сделает, но я не могу рисковать и предоставляю это Уиллу, и мне кажется, что вот сейчас он сделает первый ход, но он так же быстро передумывает и отворачивается, отчаянно ругаясь и изо всех сил трясая рукой — словно желая, чтобы она отвалилась.

— Да пошел ты... — шипит он, идет прочь и исчезает в темноте. Я слышу, как его новые ботинки топчут землю. Он обходит вокруг казарм в поисках какого-нибудь незаконно проникшего в лагерь существа, чтобы выместить на нем всю свою злость.

* * *

Наши девять недель в Олдершоте почти истекли. Я просыпаюсь среди ночи — впервые за все время. Через тридцать шесть часов нас отправят дальше, но меня будит вовсе не беспокойство о судьбе нашего взвода после того, как мы все станем полноправными солдатами. С другого конца казармы доносится непонятный приглушенный шум. Я приподнимаю голову от подушки. Шум ненадолго стихает, но тут же слышится с новой силой: кого-то тащат, он брыкается, что-то шуршит, открывается дверь, потом закрывается, и снова воцаряется тишина.

Я гляжу на Уилла, спящего на соседней койке. Голая рука свесилась вниз, губы чуть приоткрыты, густые темные волосы падают на лоб и глаза. Он что-то бормочет во сне, смахивает волосы с лица и поворачивается на другой бок.

И я снова засыпаю.

* * *

На следующее утро сержант Клейтон командует построение и тут же оказывается оскорбленным в лучших чувствах: третье место во втором ряду пустует, кто-то дезертировал, ушел в самоволку. Подобного не случалось за все время, пока мы находимся в лагере, с апреля.

— Я думаю, что спрашивать бесполезно, — начинает сержант. — Я уверен: если бы кто-то из вас знал ответ на этот вопрос, он бы давно пришел ко мне. Но все же: кому-нибудь известно, где Вульф?

Стоит мертвая тишина. Девять недель назад мы начали бы озиаться и переглядываться. Но теперь мы стоим молча, глядя прямо перед собой. Нас обучили.

— Ну что ж, — говорит сержант, — в таком случае могу вам сообщить, что наш так

называемый идейный отказник пропал. Смылся среди ночи, как и положено трусу. Мы его рано или поздно поймаем, это я вам гарантирую. Мне даже приятно думать, что, когда в субботу вас отправят, трусов среди вас не будет.

Я слегка удивлен, однако ни на секунду не верю, что Вульф мог сбежать, и не сомневаюсь, что рано или поздно он объявится с какой-нибудь смехотворной байкой в оправдание своего отсутствия. Для меня гораздо важнее то, что случится в субботу утром. Нас посадят на поезд в Саутгемптон, а оттуда ночным рейсом во Францию? И в понедельник утром мы окажемся в гуще сражений? Может, через неделю меня уже не будет на свете? Эти вопросы занимают меня гораздо больше, чем предполагаемый побег Вульфа.

В тот же день после обеда мы с Уиллом идем из палатки-столовой обратно в казарму, и я замечаю впереди столпотворение: солдаты сбились в кучки и оживленно переговариваются.

— Стой, не говори ничего, я постараюсь угадать, — опережает меня Уилл. — Война кончилась, и нас отправляют домой.

— А кто победил, как ты думаешь?

— Никто. Все проиграли. Вон Хоббс идет.

Хоббс уже завидел нас и бежит к нам; он подпрыгивает на ходу, как упитанный золотистый ретривер, которого он мне всегда напоминает.

— Где вы были, ребята? — запыхавшись, спрашивает он.

— Ездили в Берлин к кайзеру, сказать ему, чтобы не валял дурака и сдавался, — отвечает Уилл. — А что случилось?

— Вы что, не слыхали? Вульфа нашли.

— И все? — разочарованно спрашиваю я.

— Что значит «и все»? Этого мало, что ли?

— Где его нашли? — спрашивает Уилл. — С ним все в порядке?

— Милых в четырех отсюда, — отвечает Хоббс. — В том лесу, куда нас гоняли на марш-броски в первые недели.

— В том лесу? — недоверчиво переспрашиваю я. Тот лес — неприятное, противное место, полное болот и ручейков с ледяной водой; сержант Клейтон уже давно перестал нас туда гонять и выбрал маршрут посуше. — Что он там делал? Нашел где прятаться.

— Ты что, Сэдлер, совсем тупой? — Хоббс расплывается в широкой ухмылке. — Он там не прятался. Его там нашли. Он мертв.

Я удивленно гляжу на Хоббса, не в силах понять, что он такое говорит. Потом сглатываю и тихо повторяю, но как вопрос, а не как утверждение:

— Мертв? Но как? Что с ним случилось?

— Я еще не знаю всех подробностей. Но я над этим работаю. Насколько мне удалось выяснить, он лежал в ручье лицом вниз, с разбитой головой. Может, хотел убежать, споткнулся о камень в темноте и упал лицом в воду. Либо умер от раны, либо захлебнулся. Да это уже неважно — главное, что его больше нет. Избавились от труса — и слава богу.

Я инстинктивно настораживаюсь и успеваю перехватить руку Уилла, кулак которой целится Хоббсу в лицо. Хоббс удивленно отскакивает.

— Ты что, с ума сошел? — таращится он на Уилла. — Только не говори, что купился на его белиберду. Ты-то хоть не собираешься сбежать прямо перед отправкой?

Уилл пытается вырваться, однако наши силы примерно равны. Но вот он обмяк, и я его отпускаю. Но продолжаю за ним следить: Уилл гневно сверлит взглядом Хоббса, потом разворачивается и идет прочь — туда, откуда мы пришли, и все время, пока я его вижу, негодуя вздымает руки к небу.

Я решаю не идти за ним, возвращаюсь в казарму и ложусь на койку, не обращая внимания на разговоры окружающих, — они строят фантастические теории относительно того, как именно Вульф окончил свои дни. Я обдумываю это в одиночку. Вульф мертв. Это не укладывается в голове. Он лишь на год или два старше меня, молодое здоровое существо, у которого впереди вся жизнь. Я только вчера с ним разговаривал — он мне рассказал, что

играл с Уиллом в викторину по географии, стоя на посту, и Уилл совершенно опозорился.

— Он не блещет умом, а? — спросил меня Вульф, и я от злости потерял дар речи. — Я вообще не понимаю, что ты в нем нашел.

Да, я знаю, что идет война и что каждого из нас в любую минуту подстерегает смерть. Но мы ведь даже не успели покинуть Англию! Мы еще в Олдершоте, черт возьми! Из двадцати обитателей нашей казармы осталось девятнадцать — медленное и неизбежное убывание в числе началось еще до отправки. А все остальные смеются над кончиной Вульфа, обзывают его трусом и собирателем перышек. Интересно, они стали бы так же веселиться, если бы погиб я? Или, например, Рич? Уилл? Думать об этом невыносимо.

И еще я думаю о другом — и презираю себя за это. Можно больше не ревновать Уилла к Вульфу. Да простит меня бог, но эта мысль приносит мне облегчение.

* * *

Уилл не возвращается до темноты, и я иду его искать — до отбоя осталось меньше полутора часов. Завтра мы уже не будем новобранцами — нас отправят дальше и сообщат, какие у армии планы в отношении нас. В честь этого события нам всем дали увольнение на вечер. Мы можем идти куда угодно, при условии, что вернемся в казарму к отбою, к полуночи, — а не то Уэллс и Моуди выяснят, куда это мы подевались.

Кое-кто из наших пошел в деревню, в местный паб, где мы собирались в редкие часы свободы. Иные отправились на свидание с возлюбленными, которых завели в окрестных деревнях за прошедшие недели. Другие — в долгие одинокие прогулки, видимо, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Бедняга Йейтс, глупец, заявил, что устроит себе марш-бросок по холмам ради старой памяти, и его немилосердно осмеяли за такой пыл. Но Уилл просто исчез.

Я первым делом иду в паб, но там Уилла нет; владелец паба сообщает мне, что Уилл заходил раньше и сидел один в углу. Старик из местных предложил ему пинту эля, из уважения к военной форме, но Уилл отказался, это сочли оскорблением чести мундира, и чуть не вышла драка. Я спрашиваю, не был ли Уилл пьян, но мне говорят, что нет, он выпил лишь две пинты, потом встал и ушел, не сказав ни слова.

— Чего это он тут на рожон лезет? — спрашивает меня владелец паба. — Если сил много, они ему еще там пригодятся, вот что.

Я не отвечаю и молча ухожу. Меня осеняет, что Уилл, должно быть, убежал в гнев из-за происшествия с Вульфом и теперь хочет дезертировать. Вот же дурак, думаю я. Он попадет под трибунал, если... когда его поймают. От места, где я стою, ведут три тропинки — он мог пойти по любой из них. Делать нечего, надо возвращаться в лагерь в надежде, что Уиллу хватило ума тоже вернуться туда, пока меня не было.

Но судьба распорядится иначе. Мне не приходится идти далеко: по чистой случайности я обнаруживаю Уилла на полпути между пабом и лагерем, на прогалине в лесу — в тихом, уединенном месте у ручья. Уилл сидит на поросшем травой склоне, смотрит в воду и перебрасывает камушек из руки в руку.

— Уилл! — Я бегу к нему, счастливый, что он не успел попасть в беду. — Вот ты где. А я тебя повсюду ищу.

— В самом деле? — спрашивает он, поднимая голову. При свете луны видно, что он плакал: на щеках, там, где он пытался вытереть слезы, — грязные потеки, кожа под глазами опухшая и красная. Он снова отворачивается. — Прости. Я хотел побыть один. Не думал, что ты забеспокоишься.

— Ничего, — говорю я, садясь рядом с ним. — Я просто испугался, что ты натворишь каких-нибудь глупостей.

— Каких это?

— Ну, мало ли — пожимаю я плечами, — убежишь куда-нибудь.

Он качает головой:

— Нет, убегать я не собираюсь. Пока, во всяком случае.

— Что значит «пока, во всяком случае»?

— «Пока» значит «пока».

Он тяжело вздыхает, снова трет глаза, смотрит на меня с печальной улыбкой.

— Вот и конец пути. Как ты думаешь, оно того стоило?

— Я думаю, мы скоро выясним, — отвечаю я, глядя в прозрачную воду. — То есть когда попадем во Францию.

— Да, во Францию, — задумчиво повторяет он. — Нам еще все предстоит. Пожалуй, сержант Клейтон будет разочарован, если мы не погибнем при исполнении.

— Не шути так. — Меня передергивает.

— Почему? Это же правда, разве нет?

— Клейтон, безусловно, не ангел. Но и не чудовище. Я уверен, он никому из нас не желает смерти.

— Не будь таким наивным! Уж Вульф-то он точно желал смерти. И добился своего.

— Вульф сам себя погубил, — возражаю я. — Может, не по собственному желанию, но по собственной глупости. Только идиот стал бы бегать по тому лесу среди ночи.

— Ох, Тристан... — Уилл снова качает головой, улыбаясь мне. Он произносит мое имя очень тихо, и я вспоминаю о нашей дружеской возне на полу казармы. Сейчас он протягивает руку и хлопает меня по колену — раз, другой... заносит руку в третий и медленно убирает ее. — Ты временами просто невероятно наивен. Может, ты мне еще и поэтому так нравишься.

— Не смей со мной так разговаривать, — сержусь я. — Ты думаешь, что все знаешь?

— А что я еще должен думать, по-твоему? Ты же веришь, что Вульф погиб по собственной вине? Только очень наивный человек может так считать. Или последний дурак. Тристан, Вульф вовсе не падал. Его убили. Хладнокровно.

— Что? — Его слова так нелепы, что я едва удерживаюсь от смеха. — Да как тебе такое могло в голову прийти? Уилл, ради бога, он же дезертировал. Сбежал из лагеря...

— Никуда он не сбежал, — гневно говорит Уилл. — Он сам мне сказал всего за несколько часов до того, что ему дали статус идейного отказника. Трибунал наконец-то принял решение. Его даже носилки таскать не послали. Оказывается, у него были способности к математике, и он согласился работать на министерство обороны и жить до конца войны под домашним арестом. Его должны были отправить домой, ты понимаешь? Прямо на следующее утро. И вдруг он исчезает. Совершенно удивительное совпадение, тебе не кажется?

— А кто еще об этом знал?

— Клейтон, конечно. Уэллс и Моуди, его верные сподручники. И, надо полагать, еще один-два человека. Слух разнесся вчера ночью. Я слышал, как кое-кто возмущался.

— Я ничего подобного не слышал.

— Не значит, что этого не было.

— Так что ты хочешь сказать? Что его из-за этого выволокли в лес и убили?

— А что же еще? Ты будешь утверждать, что они на такое не способны? Нас же именно этому и учили — убивать других солдат. Цвет формы — несущественная деталь. Да его в темноте и не различить.

Я открываю рот и хочу что-нибудь сказать, но не нахожу слов. Да, наверняка все именно так и было. И тут я вспоминаю шум, который разбудил меня среди ночи, — шорох, неясный топот, кому-то зажимают рот и волокут по полу.

— Господи Иисусе...

— Ну наконец-то, — устало вздыхает Уилл. — Но что мы можем поделать? Ничего. Мы выполнили то, за чем нас сюда послали. Мы стали крепкими и сильными. Мы научились верить, что стоящий перед нами человек, если он не говорит на нашем языке, — всего лишь кусок мяса, который надо отделить от кости. Мы теперь — идеальные солдаты. Готовые убивать. Сержант Клейтон сделал свое дело. Мы просто чуть раньше начали выполнять свою

задачу, вот и все.

В его голосе звучит такой гнев, такая безнадежная смесь ужаса и враждебности, что мне больше всего на свете хочется его утешить. Я так и делаю. Он закрывает лицо руками, и я понимаю, что он плачет. Я смотрю на него в растерянности, а он глядит на меня снизу вверх, прикрывая лицо ладонью, чтобы я не видел, до чего он расстроен.

— Не надо, — просит он, всхлипывая. — Тристан, иди в казарму. Пожалуйста.

— Уилл, — говорю я, трогая его за руку, — ничего. Не расстраивайся. Мы все чувствуем одно и то же. Как потерявшиеся дети.

— Но черт возьми, Господи Иисусе, Тристан, что с нами там будет? Я боюсь до усрачки, честно.

Он протягивает руки, берет мое лицо в ладони и привлекает меня к себе. Я много раз проигрывал эту сцену в мечтах, но всегда предполагал, что будет наоборот — что это я потянусь к нему, а он отпрянет, называя меня выродком и обманщиком. Но сейчас я не испуган, не удивлен тем, что он берет инициативу на себя. Я даже не чувствую всепоглощающей страсти, а я всегда думал, что она охватит меня, если это когда-нибудь случится. То, что происходит между нами, абсолютно естественно, кажется, что по-другому и быть не может — все, что он делает со мной, и все, что позволяет делать мне. Впервые с того ужасного вечера, когда отец избил меня до полусмерти, я чувствую, что вернулся домой.

Дышать и быть живым

Норидж, 16 сентября 1919 года

— Мисс Бэнкрофт, — сказал я, возвращая упавшие салфетки на стол и поднимаясь.

Я покраснелся и сильно нервничал. Мисс Бэнкрофт осмотрела мою протянутую руку, сняла перчатку и наградила меня коротким, деловитым пожатием. Я ощутил загрубелой рукой мягкость ее ладони.

— Вы не заблудились, легко нашли это кафе? — спросила она, и я коротко кивнул:

— Да. Я вообще-то приехал вчера вечером. Давайте присядем?

Она сняла пальто, повесила его на вешалку у двери, мимоходом оперлась о стол и тихо произнесла:

— Извините, я сейчас вернусь, мне нужно помыть руки.

Я смотрел, как она уходит в боковую дверь, и думал, что она, видимо, часто бывает в этом кафе, раз знает, где расположен дамский туалет. Я решил, что она заранее спланировала маневр: войти, поздороваться, окинуть меня взглядом, на несколько минут исчезнуть, чтобы собраться с мыслями, и вернуться уже готовой к разговору. Пока я ждал, вошла молодая пара, о чем-то радостно болтая, и села через один столик от меня. Я заметил на лице у юноши огромный ожог и отвернулся, пока меня не поймали на откровенном разглядывании. Я смутно ощущал, что из угла меня разглядывает мужчина, который пришел раньше. Он выдвинулся из-за колонны и неотрывно смотрел на меня, но стоило мне поймать его взгляд, как он тотчас отвернулся, и я тут же забыл про него.

Подошла официантка с блокнотом и ручкой:

— Принести вам чаю?

— Да, — ответил я. — Впрочем, нет. Ничего, если я подожду свою спутницу? Она вернется через минуту.

Девушка кивнула — видно, моя просьба была в порядке вещей. Я принялся глядеть в окно, на улицу — там шла группа младших школьников, человек двадцать, в колонну по два, и каждый мальчик крепко держал за руку товарища, чтобы тот не потерялся. Несмотря на весь свой страх и неуверенность, я не удержался от улыбки. Это зрелище напомнило мне мои собственные школьные годы: когда мне было лет восемь-девять и учительница так водила нас по улице, мы с Питером всегда вставали в пару и держались за руки, сжимая их изо всех сил. Каждый был полон решимости выдержать и не запросить пощады первым. Неужели

прошло всего двенадцать лет? Кажется, что не меньше века.

— Простите, что заставила вас ждать.

Мэриан села за стол напротив меня, парочка тут же покосилась на нас и зашепталась. Я подумал, что, может быть, они состоят в незаконной связи и не хотят, чтобы их подслушивали, потому что они вдруг встали и пересели за самый дальний столик, у стены, неприязненно поглядывая на нас, словно мы их прогнали. Мэриан проводила их взглядом, чуть оттопырив языком щеку изнутри, а потом повернулась ко мне с непонятным выражением лица — в нем мешались ярость, боль и что-то вроде покорности судьбе.

— Ничего страшного, — ответил я. — Я пришел всего минут за десять до вас.

— Так вы, значит, приехали вчера вечером?

— Да. Послеобеденным поездом.

— Но почему же вы меня не известили? Мы могли бы встретиться и вчера, если вам так было удобнее. Тогда вам не пришлось бы оставаться на ночь.

Я покачал головой:

— Сегодня вполне удобно, мисс Бэнкрофт. Я не хотел рисковать и ехать утром. Поезда из Лондона еще очень ненадежны, и я не стал подвергать опасности нашу встречу. Что, если бы поезд отменили?

— Да, это ужасно, не правда ли? Я ездила в Лондон пару месяцев назад, на свадьбу. Я решила сесть на поезд в десять десять, чтобы оказаться на Ливерпуль-стрит около полудня. И представьте себе, я приехала только в два с чем-то! Когда я вошла в церковь, мои друзья уже успели обменяться обетами и возвращались от алтаря, мне навстречу. Мне было так стыдно! Я чуть не помчалась обратно на вокзал, чтобы уехать домой первым же поездом. Как вы думаете, жизнь когда-нибудь наладится снова?

— Обязательно, рано или поздно.

— Когда? Понимаете, мистер Сэдлер, я ужасно нетерпелива.

— Ну, не в нашем веке, точно. Может быть, через сто лет.

— Не годится. Мы столько не проживем, ведь правда? Неужели это слишком много — требовать, чтобы при твоей жизни транспорт работал нормально?

Она улыбнулась и на миг отвела взгляд — посмотрела на улицу, где маршировал еще один класс школьников, на сей раз девочек, такой же военной шеренгой по двое.

— Очень было тяжело? — спросила она наконец, и я посмотрел на нее, удивленный тем, что она уже задает такие интимные вопросы. Она тут же уловила мое замешательство. — Ваше путешествие на поезде, я имею в виду. Вам удалось сесть?

Совершенно естественно, что мы начали с беседы на нейтральные темы. Не могли же мы сразу приступить к цели моего визита. Но было как-то странно осознавать, что мы говорим ни о чем, и что моя собеседница тоже это понимает, и что мы оба тянем время и каждый из нас сознает, что и другой вовлечен в этот обман.

— Вполне терпимо, — ответил я, немного развеселившись от собственной ошибки. — Я встретил случайную знакомую. Мы оказались в одном купе.

— Ну, это уже немало. Скажите, мистер Сэдлер, вы читаете?

— Читаю ли я?

— Да. Читаете?

Я заколебался: неужели она спрашивает, умею ли я читать?

— Ну... да, — осторожно признался я наконец. — Разумеется, я читаю.

— Мне в поезде обязательно нужна книга, иначе я не могу, — заявила моя собеседница. — Это в каком-то смысле защита.

— Как это?

— Ну, правду сказать, я не очень люблю и не умею разговаривать с незнакомцами. Нет-нет, не беспокойтесь, с вами я буду стараться. Но по-моему, каждый раз, как я еду в поезде, рядом со мной оказывается какой-нибудь разговорчивый старый холостяк, который непременно должен сказать комплимент моему платью, или прическе, или похвалить мой вкус в выборе шляпки, а меня это смущает: я считаю подобное недопустимой

фамильярностью. Я надеюсь, мистер Сэдлер, вы не собираетесь говорить мне комплиментов.

— Даже не думал, — улыбаясь, ответил я. — Я совсем не разбираюсь в дамских платьях, прическах и шляпках.

Она воззрилась на меня. Моя реплика ей явно понравилась, судя по тому, что ее губы приоткрылись, а на лице появился очень слабый намек на улыбку. Очевидно, она еще не решила, что обо мне думать.

— А если не холостяк, то какая-нибудь ужасная старуха принимает меня допрашивать — замужем ли я, служу ли где-нибудь, чем занимается мой отец и не родня ли мы Бэнкрофтам из Шропшира? И так далее, до бесконечности, и все это ужасная тоска.

— Могу себе представить. К мужчинам обычно никто не пристает с разговорами. Молодые дамы точно не пристаю. Молодые мужчины тоже. Старики... да, иногда. Они задают вопросы.

— Действительно, — отозвалась она, и по ее тону я сразу понял, что она пока не хочет углубляться в эту тему.

Она полезла в сумочку, вынула портсигар, вытащила сигарету и предложила мне другую. Я хотел было согласиться, но передумал и покачал головой.

— Вы не курите?! — в ужасе спросила она.

— Курю. Но сейчас не буду, с вашего разрешения.

— Я не возражаю. — Она убрала портсигар в сумочку и прикурила стремительным, скользящим движением большого пальца и запястья. — С чего мне возражать? О, Джейн, привет.

— Здравствуй, Мэриан, — ответила официантка, которая подходила ко мне раньше.

— Видишь, я опять вернулась, как фальшивый грош.

— Мы рады и фальшивым грошам — надеемся на них разбогатеть в один прекрасный день. Вы готовы заказывать?

— Мистер Сэдлер, мы уже собираемся обедать? Или пока только выпьем чаю? — спросила она, выдувая дым мне в лицо. Я отвернулся от дыма, и она тут же разогнала его, помахав рукой в воздухе, и следующий раз выпустила дым уже в сторону от меня. Она не стала дожидаться моего ответа. — Наверное, только чаю. Джейн, чай на двоих, пожалуйста.

— А кушать не будете?

— Пока нет. Мистер Сэдлер, вы ведь не торопитесь? Или вы уже проголодались? Мне кажется, молодые люди нынче вечно голодны. Во всяком случае, те, кого я знаю.

— Нет, не беспокойтесь, — ответил я, выбитый из колеи ее резкими манерами. Интересно, это форма защиты или ее подлинный характер?

— Тогда пока только чай. Может, мы потом съедим чего-нибудь. Кстати, как там Альберт? Ему лучше?

— Получше, — улыбнулась официантка. — Доктор сказал, что через неделю или около того можно будет снять гипс. Он, бедняжка, ждет не дождется. Да и я, если честно, тоже. У него ужасно чешется под гипсом, и он так жалуется, что просто сил нет. Я дала ему вязальную спицу, чтобы чесать там, внутри, но ужасно боялась, что он будет чесаться слишком сильно и поранится. Та к что я ее отобрала, но теперь он еще больше жалуется.

— Кошмар, — отозвалась Мэриан, качая головой. — Ничего, осталось лишь неделю потерпеть.

— Да. А как там твой отец, держится?

Мэриан кивнула, снова затянулась сигаретой, улыбаясь, а потом отвела взгляд, давая Джейн понять, что мы больше ее не задерживаем и разговор окончен. Официантка уловила намек.

— Принесу ваш чай. — С этими словами она ушла.

— Ужас, какая печальная история, — шепнула Мэриан, наклонившись ко мне, когда официантка отошла. — Понимаете, это ее муж. Они всего несколько месяцев женаты. Месяца полтора назад он менял черепицу на крыше и свалился. Сломал ногу. А он только за месяц до этого оправился после перелома руки. Видно, у него кости хрупкие. И ведь не то

чтобы с большой высоты упал.

— Муж? — удивленно переспросил я. — Я решил, что вы говорите о ребенке.

Она пожала плечами:

— Ну, он и правда как большой ребенок. Он мне не слишком нравится, вечно попадает в какие-нибудь истории, но Джейн очень милая. Мы с ней в детстве дружили, и она...

Мэриан осеклась, и лицо ее вытянулось, словно она сама не верила тому, что собиралась сказать. Потом в последний раз затянулась сигаретой и раздавила ее, лишь наполовину выкуренную, в пепельнице.

— Хватит. Знаете, я подумываю бросить.

— В самом деле? По какой-то определенной причине?

— Ну, по правде сказать, мне как-то разонравилось курить. Кроме того, ведь это, вероятно, плохо для здоровья? Столько дыма в легких, каждый день. Если вдуматься, в этом нет ничего хорошего.

— Ну, это не может быть так уж вредно. Все курят.

— Вы вот — нет.

— Я курю. Мне просто сейчас не хочется.

Она кивнула и прищурилась, словно оценивая меня взглядом. Мы замолчали, и у меня появилась возможность разглядеть ее поподробнее. Она была старше Уилла и меня; я решил, что ей лет двадцать пять, но на пальце не было обручального кольца — значит, она еще не замужем. Мэриан не очень походила на брата: он был темноволосый, такой задорный, скорый на улыбку. У нее волосы были светлее — почти такие же светлые, как у меня, — и очень чистая кожа на лице, ни прыщика, ни пятнышка. Прическа очень практичная — самая простая, аккуратная стрижка длиной чуть ниже подбородка. Я решил, что моя собеседница хорошенькая, даже, можно сказать, красивая, и не носит косметики — разве что чуточку губной помады, но и это мог быть натуральный цвет ее губ. Я был уверен, что она очень многим молодым людям вскружила голову. Или попросту откусила.

— Ну так что, — продолжила она. — Где вы, кстати, остановились на ночь?

— В пансионе миссис Кантуэлл, — сказал я.

— Кантуэлл? — повторила она, задумчиво морща лоб, и я чуть не ахнул. Вот он, как живой! Это его выражение лица. — Кажется, я не слыхала про таких. Где это?

— Совсем рядом с вокзалом. У моста.

— А, да. Там куча гостиниц, правда?

— Кажется, так.

— В своем городе никогда не знаешь гостиниц, верно?

— Да, — согласился я. — Видимо, так и есть.

— Когда я езжу в Лондон, то останавливаюсь в очень милой гостинице на Рассел-сквер. Ее держит ирландка по фамилии Джексон. Она, конечно, пьет. Джин, «мамочкину погибель», галлонами. Но она очень вежливая, комнаты чистые, она не лезет в мои дела, и меня это вполне устраивает. Правда, она совершенно не умеет готовить, ее завтраки и в рот не возьмешь, но это ничтожная плата за такую роскошь, верно? Мистер Сэдлер, вы знаете Рассел-сквер?

— Да, — ответил я. — Кстати говоря, я работаю в Блумсбери. Я раньше жил в Южном Лондоне. Теперь живу к северу от реки.

— В центр не планируете переезжать?

— Сейчас пока нет. Понимаете, там все ужасно дорого, а я работаю в издательстве.

— Что, издательское дело денег не приносит? — Мне, во всяком случае, нет, — сказал я, улыбаясь.

Она тоже улыбнулась и посмотрела на пепельницу. Может быть, пожалела, что загасила сигарету, — мне показалось, что она хочет чем-нибудь занять руки. Потом поглядела в сторону прилавка, где не было видно ни нашего чая, ни даже официантки. Мужчина постарше, который стоял за прилавком раньше, тоже куда-то исчез.

— Я хочу пить, — заявила моя спутница. — Куда она подевалась?

— Наверное, сейчас придет.

Правду сказать, мне стало не по себе. Я уже начал задаваться вопросом, зачем меня вообще сюда принесло. Ясно было, что нам обоим неловко друг с другом. Я в основном молчал и мало способствовал разговору — разве что подавал реплики, которые напрашивались сами собой. А мисс Бэнкрофт... Мэриан... походила на сгусток нервной энергии. Она перескакивала с одной темы на другую безо всякой связи и без колебаний. Я понимал, что она по характеру не такова: все дело в нашей встрече. Мэриан сейчас не могла быть собой.

— Здесь обычно хорошо обслуживают, — она покачала головой. — Думаю, я должна перед вами извиниться.

— Ничего страшного.

— Хорошо, что мы не заказали еды, правда? Боже, мы всего лишь попросили две чашки чаю. Но вы, должно быть, умираете с голоду? Вы поели? Все мои знакомые молодые люди вечно голодны.

Я взглянул на нее, не уверенный, помнит ли она, что уже говорила это, почти слово в слово. Странно, но, кажется, она этого не замечала.

— Я позавтракал, — ответил я, несколько помедлив.

— У вашей миссис Кантуэлл?

— Нет, не там. В другом месте.

— Правда? — спросила она, сильно заинтересованная. — Куда вы заходили? Там хорошо?

— Я не помню. Кажется...

— В Норидже очень много мест, где можно хорошо поесть. Наверное, вы считаете нас ужасными провинциалами, которые даже еду приготовить не могут как следует. Вы, лондонцы, всегда так думаете, верно?

— Вовсе нет, — запротестовал я. — На самом деле...

— Лучше бы вы меня заранее спросили. Если бы вы сказали, что приедете накануне вечером, мы бы, может, пригласили вас на ужин.

— Я не желал вас беспокоить.

— Но это было бы никакое не беспокойство, — возразила она почти обиженно. — На одного человека больше за столом, и все. Разве это беспокойство? Вы просто не хотели идти к нам на ужин, мистер Сэдлер. Признавайтесь.

— Да нет, я об этом даже не думал. — Мне было страшно неловко. — Пока я доехал до Нориджа, я ужасно устал, вот и все. Я пошел прямо к себе в гостиницу и лег спать.

Я решил не рассказывать ей о злключениях с комнатой; о пабе я тоже не упомянул.

— Конечно, еще бы. Путешествия по железной дороге могут быть очень утомительны. Я люблю брать с собой книгу. Вы читаете, мистер Кантуэлл?

Я уставился на нее, чувствуя, как у меня отвисает челюсть, и не находя слов. Все складывалось так, словно меня против моей воли поставили в совершенно невыносимое положение, причем я как будто предвидел, что оно будет невыносимым, но до сих пор не подозревал насколько. Ирония заключалась в том, что я предвидел трудность этой встречи для себя, но даже не подумал о том, какой трудной она будет для моей собеседницы. Мэриан Бэнкрофт, сидящая напротив меня, была комком обнаженных нервов, и, по-моему, с каждой минутой ей становилось все хуже и хуже.

— О боже, кажется, я это уже спрашивала. — Она неестественно рассмеялась. — Вы ответили, что любите читать.

— Да. И еще моя фамилия Сэдлер, а не Кантуэлл.

— Я знаю, — хмурясь, ответила она. — Зачем вы это говорите?

— Вы назвали меня «мистер Кантуэлл».

— Да?

— Да, буквально секунду назад.

Она недоверчиво помотала головой:

— По-моему, мистер Сэдлер, ничего подобного не было. Но это неважно. Что вы читали?

— В поезде?

— Ну да, — заметила она с легким раздражением, оглянувшись и уставилась на официантку — та раскладывала сконы на тарелочки для пары, которая пересела от нас подальше. Судя по всему, нести нам чай никто не собирался.

— «Белого Клыка». Автор Джек Лондон. Вы читали?

— Нет. Это американский писатель?

— Да. Так вы его знаете?

— Никогда не слыхала. Просто звучит по-американски.

— Даже с такой фамилией, как «Лондон»? — улыбнулся я.

— Да, мистер Кантуэлл, даже с такой фамилией.

— Сэдлер, — поправил я.

— Слушайте, хватит уже, — взорвалась она. Лицо стало гневным, замкнутым, и она хлопнула обеими ладонями по столу. — Хватит меня поправлять. Я этого терпеть не могу.

Я заморгал, не в силах придумать, как поступить. Я совершенно не понимал, как мы зашли в такой тупик. Может быть, это случилось уже в тот день, когда я взял перо и написал: «Дорогая мисс Бэнкрофт! Вы меня не знаете... я был другом Вашего брата Уилла». А может, и еще раньше. Во Франции. Или еще раньше. В Олдершоте, в тот день, когда я вытянул шею, стоя в строю, и поймал взгляд Уилла. Или он поймал мой взгляд.

— Простите. — Я нервно сглотнул. — Я не хотел вас обидеть.

— Может, и не хотели. Но обидели. И мне это не нравится. Вы Сэдлер. Тристан Сэдлер. Совершенно незачем мне об этом все время напоминать.

— Простите, — повторил я.

— И перестаньте все время извиняться, это ужасно раздражает.

— Я... — Мне удалось вовремя остановиться.

— Да, да.

Она барабанила пальцами по столу, глядя в пепельницу, и я знал, что где-то в глубине души она гадает, будет ли это ужасным нарушением этикета — вытащить недокуренную сигарету из пепельницы, очистить обгорелый конец и снова зажечь. Я тоже посмотрел на сигарету. От нее оставалось больше половины, и это казалось ужасным расточительством. На фронте недокуренная половина сигареты ценилась почти так же, как возможность поспать несколько часов в одиночном окопе. Сколько раз я растягивал даже крошки табака — любой нормальный человек выкинул бы их на улице, ни секунды не думая, — на долгие часы.

— А что... что вы любите читать, мисс Бэнкрофт? — спросил я наконец в отчаянной попытке спасти положение. — Романы, я угадал?

— Почему это? Потому что я женщина?

— Ну... да. То есть я знаю, что многие женщины любят читать романы. Я сам люблю.

— Но вы мужчина.

— Да, действительно.

— Нет, я не люблю романы. Если честно, я их никогда не понимала.

— В каком смысле?

Даже интересно, что именно может быть непонятным в идее романа как таковой. Конечно, есть писатели, которые закручивают сюжет самым невероятным образом, — и многие из них посылают рукописи «самотеком» в «Уисби-пресс». Но есть и другие, взять хотя бы Джека Лондона, — они дают читателям такой отдых от невыносимого ужаса существования, что их книги — словно дар богов.

— Ну, ведь ничего из этого на самом деле не было, верно? Я не могу понять, какой смысл читать о людях, которых никогда не было на свете, и о том, как они делали то, чего на самом деле никогда не делали, в местах, куда они на самом деле и ногой не ступали. Например, Джейн Эйр в конце концов выходит замуж за мистера Рочестера. Ну так вот,

Джейн Эйр никогда не существовало, и мистера Рочестера тоже, и сумасшедшей, которую он держал в подвале.

— На чердаке, — поправил я, как истинный зануда.

— Неважно. Все это — сплошная чепуха, правда же?

— Я думаю, это скорее способ убежать от действительности.

— А мне не нужно убежать, мистер Сэдлер. — Она произнесла мое имя с напором, чтобы подчеркнуть, что уж на этот-то раз не ошиблась. — А если бы я хотела убежать, то купила билет куда-нибудь в жаркую экзотическую страну, где смогу ввязаться в шпионаж или в какое-нибудь романтическое недоразумение — по примеру героинь ваших драгоценных романов. Нет, я предпочитаю книги о том, что существует в действительности, — о том, что случилось на самом деле. Книги по истории. О политике. Биографии. И все такое.

— О политике? — удивленно переспросил я. — Вы интересуетесь политикой?

— Представьте себе. А вы думаете, что мне это не подходит? Потому что я женщина?

— Не могу судить, мисс Бэнкрофт. — Меня уже начала утомлять ее воинственность. — Я просто... просто поддерживаю разговор, ничего более. Конечно, вы можете интересоваться политикой, почему нет. Мне все равно.

Я почувствовал, что больше не могу. Мне не по силам справляться с этой женщиной. Мы пробыли вместе меньше пятнадцати минут, но я уже хорошо представил, каково приходится женатым людям. Вечные препирательства, словесное фехтование; нужно постоянно быть начеку и следить за каждым своим словом, иначе тебя поправят и воспользуются любым предлогом, чтобы одержать верх, завоевать лишнее очко, выиграть этот тайм и весь матч, черт бы его побрал, не пропустить ни одного гола.

— Да нет же, вам не все равно, мистер Сэдлер, — ответила она, подумав минуту, уже тише, словно поняла, что зашла слишком далеко. — Вам не может быть все равно, потому что мы с вами не сидели бы тут сейчас, если бы не политика. Верно ведь?

Я несколько растерялся.

— Да, пожалуй. Возможно, не сидели бы.

— Ну и вот. — Она раскрыла сумочку и снова полезла за портсигаром, но только вытащила его, как он выскользнул и упал на пол со страшным грохотом, рассыпая сигареты нам под ноги, — точно так же, как у меня чуть раньше рассыпались салфетки.

— Черт возьми! — крикнула она, и я вздрогнул. — Смотрите, что случилось!

В тот же миг официантка Джейн оказалась рядом и принялась собирать сигареты, но это была ошибка с ее стороны: мисс Бэнкрофт была уже сыта по горло. Она взглянула на Джейн с такой яростью, что я испугался — как бы она на нее не бросилась.

— Джейн, оставь! — закричала мисс Бэнкрофт. — Я их сама подберу. А ты принеси нам чай наконец! Сделай одолжение! Неужели это так сложно — принести две чашки чаю?

* * *

Появление чая дало нам возможность прервать натянутый разговор и ненадолго переключиться на что-то тривиальное, а не беседовать через силу. Мэриан явно была очень напряжена и сильно тревожилась. Перед этой встречей я в своем эгоизме думал только о том, каково придется мне, но ведь Уилл, в конце концов, ее брат. И он погиб.

— Простите меня, мистер Сэдлер, — после долгой паузы произнесла она, отставляя чашку и покаянно улыбаясь. Меня снова поразило, до чего она хорошенькая. — Иногда я бываю ужасной мегерой, правда?

— Не за что извиняться, мисс Бэнкрофт, — отозвался я. — Конечно, мы оба... ну... это не самый легкий разговор в моей жизни.

— Верно. Не будет ли нам легче, если мы отбросим кое-какие формальности? Не могли бы вы звать меня Мэриан?

— Конечно, — кивнул я. — А вы меня — Тристаном.

— Рыцарем Круглого стола?

— Не совсем, — улыбнулся я.

— Неважно. Но все-таки я рада, что мы с этим разобрались. Мне казалось, я не вынесу, если вы меня еще хоть раз назовете «мисс Бэнкрофт». Это звучит так, как будто я — незамужняя престарелая тетушка. — Она поколебалась, прикусила губу и заговорила снова, уже серьезнее: — Надо полагать, я должна спросить, зачем вы мне написали.

Я прокашлялся. Наконец-то мы переходим к делу.

— Как я уже упоминал, у меня осталось кое-что, принадлежащее Уиллу...

— Мои письма?

— Да. И мне показалось, что вы, возможно, хотите получить их обратно.

— Вы очень добры.

— Он наверняка хотел бы, чтобы они вернулись к вам. По-моему, это будет правильно.

— Пожалуйста, не воспринимайте это как упрек, но вы очень долго хранили их у себя.

— Я вас уверяю, я даже не заглянул ни в один из конвертов.

— Разумеется. Я в этом ни минуты не сомневалась. Меня просто удивляет, почему вы так долго ждали, прежде чем списаться со мной.

— Я был нездоров.

— Да, конечно.

— И чувствовал, что у меня не хватит сил для этой встречи.

— Я вас прекрасно понимаю.

Она бросила взгляд в окно и снова повернулась ко мне:

— Ваше письмо удивило меня сильнее, чем вы, может быть, подозреваете. Но мне было знакомо ваше имя.

— В самом деле? — осторожно переспросил я.

— Да. Видите ли, Уилл мне часто писал. Особенно из учебного лагеря, из Олдершота. Мы получали от него письма раз в два-три дня.

— Я помню. То есть я помню, как он все время сидел у себя на койке и что-то царапал в блокноте. Солдаты смеялись над ним, говорили, что он кропает стихи или что-то вроде, но мне он сказал, что пишет вам.

— Стихи — это еще хуже романов, — заметила она, и ее передернуло. — Только пожалуйста, не считайте меня ужасной мешанкой. Впрочем, с вашей стороны это будет вполне естественно, раз я говорю такое.

— Вовсе нет. В любом случае Уиллу было плевать на чужие насмешки. Он писал, как вы и говорите, все время. Думаю, его письма были очень длинные.

— Так и есть. Некоторые были очень длинными. Мне кажется, он хотел, чтобы письма читались как литературные произведения. Он иногда употреблял очень высокопарные фразы — наверное, пытался возвысить пережитое. Я так думаю.

— И что, у него хорошо получалось?

— Вовсе нет. — Она вдруг засмеялась. — О, мистер Сэдлер, пожалуйста, поймите меня правильно, я вовсе не хочу говорить о нем плохо.

— Тристан, — поправил я.

— Да, Тристан. Нет, я только имела в виду, что он в этих письмах явно пытался передать свои чувства, ощущение ужаса, ожидания, которое испытывал во время пребывания в Олдершоте. Он, кажется, почти постоянно предвкушал, как попадет на фронт. Это вовсе не значит, что он ждал этого с нетерпением или мечтал туда попасть, а просто...

— Просто ожидал этого?

— Да-да, именно. И это было интересно, потому что он рассказывал так много, но в то же время — очень мало. Вы понимаете, о чем я?

— Кажется, да.

— Он, конечно, подробно описал ваш распорядок. И кое-кого из новобранцев, которые были в лагере вместе с ним. И человека, который был главным, — Клейтон, если не ошибаюсь?

Я слегка напрягся, услышав это имя. Сколько ей известно о роли сержанта Клейтона во всем этом деле, о приказах, отданных им в конце? И о людях, которые повиновались этим приказам?

— Да, он был с нами с самого начала и до конца.

— А другие двое? Уилл называл их Левый и Правый.

— Левый и Правый? — переспросил я, нахмурясь, не понимая, что она имеет в виду.

— Вроде бы подручные сержанта Клейтона или что-то в этом роде. Один всегда стоял справа от него, а другой — слева.

— О! — Я наконец понял. — Он, должно быть, имел в виду Уэллса и Моуди. Странно. Я никогда не слышал, чтобы Уилл называл их Левый и Правый. Это на самом деле очень смешно.

— Он их все время так называл. Я бы показала вам письма, но мне не хочется, — надеюсь, вы не обижаетесь? Они очень личные.

— Ну что вы.

Я даже не подозревал, насколько мне хочется прочитать эти письма, пока не услышал, что мне их не дадут. Правду сказать, я никогда не задумывался, что там Уилл пишет домой. Я сам никому не писал из Олдершота. Но однажды, из окопов Франции, написал матери, прося у нее прощения за всю боль, которую я причинил. В тот же конверт я положил записку для отца, в которой сообщал ему, что я здоров и благополучен, и врал, что здесь не так уж плохо. Я уговаривал себя, что отец будет рад получить от меня весточку, но ответа не дождался. Почему я знаю — может, он как-то утром заметил мое письмо на коврике у двери среди прочей почты и вышвырнул невскрытым, чтобы я не навлек на его дом еще больший позор.

— Судя по письмам Уилла, эти Левый и Правый были совершенно ужасны, — заметила она.

— Да, они умели быть ужасными, — задумчиво произнес я. — По правде сказать, они и сами боялись. Сержант Клейтон был трудным человеком. С ним было тяжело и в учебном лагере. Но когда мы оказались там... — Я покачал головой. — Видите ли, он уже бывал там. Пару раз. Я его совершенно не уважаю — меня тошнит при одной мысли о нем, — но ему тоже было несладко. Он однажды рассказал нам, как рядом с ним убили его родного брата и его... ну... мозги забрызгали всю форму самому сержанту.

— Господи... — Она отставила чашку.

— И только потом стало известно, что он уже потерял на войне трех других братьев. Ему нелегко пришлось, Мэриан, это правда. Хотя это никак не извиняет того, что он сделал.

— Почему? — Она подалась вперед. — Что он сделал?

Я открыл рот, прекрасно понимая, что не готов сейчас ответить на этот вопрос. Да и смогу ли вообще когда-нибудь на него ответить? Ведь рассказать о преступлении Клейтона — это сознаться в моем собственном преступлении. А все связанное с ним я старался держать как можно крепче взаперти, внутри. Я напомнил себе, что я приехал, чтобы вернуть пачку писем. И все.

— А ваш брат... Уилл упоминал про меня в своих письмах? — Жажда знать оказалась сильнее страха перед тем, что он мог ей поведать.

— Да, конечно. — Мне показалось, что она колеблется. — Особенно в ранних. Да, он о вас много писал.

— Неужели? — спросил я, стараясь говорить как можно спокойней. — Приятно слышать.

— Помню, первое письмо пришло всего через пару дней после его приезда в лагерь. Он писал, что на самом деле все вроде бы хорошо, что вас там два взвода по двадцать человек и что его товарищи по взводу, кажется, не блещут интеллектом.

Я засмеялся:

— Что ж, это правда. Боюсь, мы в среднем не страдали избытком образования.

— Потом, во втором письме, всего через несколько дней, он вроде бы слегка пал духом,

словно приподнятое настроение выветрилось и он понял, что ждет впереди. Мне было очень жаль его, и я в ответном письме посоветовала ему завести друзей, показать себя с лучшей стороны — ну, вся обычная чепуха, какую пишут совершенно несведущие люди вроде меня, когда не хотят портить себе настроение беспокойством за других.

— По-моему, вы к себе чересчур требовательны, — мягко сказал я.

— Отнюдь. Понимаете, я просто не знала, как быть. Я очень радовалась, что он идет на войну. Это звучит так, как будто я чудовище. Но, Тристан, вы должны понимать, что я тогда была моложе. Нет, конечно, я была моложе, это очевидно. Я имею в виду, что вообще ничего ни о чем не знала. Была одной из тех девиц, которых так презираю.

— А что это за девицы?

— О, вы их видели, Тристан. Вы живете в Лондоне, они там повсюду. Ради бога, вы вернулись домой щеголем в военной форме, не говорите мне, что они не осыпают вас щедрым градом своих милостей.

Я пожал плечами и подлил себе чаю. На этот раз я добавил побольше сахара и принялся медленно размешивать его, наблюдая за водоворотиками в мутно-бурой жидкости.

— Эти девицы, — продолжала она, сердито выдохнув, — они думают, что война — это ужасно весело. Они видят своих братьев и женихов в элегантной военной форме с иголки. А потом те возвращаются, и форма у них уже не такая новенькая, но, боже мой, какие же наши солдатики красавцы, как они повзрослели! Ну вот, и я была точно такая. Читала письма Уилла и думала: «Но ты, по крайней мере, там!» И готова была отдать что угодно, чтобы самой оказаться там! Я просто не понимала, как там трудно. И до сих пор, наверное, не понимаю в полной мере.

— И обо всем этом он вам писал? — спросил я, надеясь вернуть ее к интересующей меня теме.

— Нет. Я окончательно поняла только после того, как все случилось. Только тогда я осознала всю чудовищность того, что там происходило. Так что в какой-то мере тон писем Уилла меня разочаровывал. Но через некоторое время они стали повеселее, и это меня радовало.

— В самом деле?

— Да. В третьем письме он написал про парня, который занимает соседнюю койку. Лондонец, но все равно неплохой малый.

Я улыбнулся и кивнул, глядя в свою чашку и словно снова слыша: «Ах, Тристан!..»

— Он писал о том, как вы дружите, как нужно человеку, чтобы было с кем поговорить, когда на душе тяжело, и как вы всегда были рядом, готовый подставить плечо. Я радовалась. Я и сейчас этому рада. Он писал, что от этого ему легче — от того, что вы ровесники и оба скучаете по дому.

Я удивился:

— Уилл писал, что я скучаю по дому?

Она подумала несколько секунд и поправилась:

— Не совсем так. Он писал, что вы почти не говорите о доме, но видно, что скучаете. И еще, что в вашем умолчании есть что-то очень грустное.

Я молчал, задумавшись. Интересно, почему Уилл никогда не спрашивал меня об этом в лоб.

— И та история с мистером Вульфом...

— О, он вам и об этом написал?

— Сначала — нет. Потом. О том, что встретил удивительного парня с очень неоднозначными взглядами. И о том, в чем они заключались. Вы, наверное, лучше меня это знаете, так что не буду их пересказывать.

— Не надо.

— Но я видела, что взгляды этого Вульфа заинтересовали Уилла. А потом, после того, как его убили...

— Никто так и не доказал, что Вульфа убили, — раздраженно перебил я.

— Вы считаете, что нет?

— Я знаю только, что доказательств ни у кого не было, — уточнил я, прекрасно понимая, насколько это жалкий ответ.

— Однако мой брат был в этом уверен. Он говорил, что смерть списали на несчастный случай, но сам он не сомневается, что беднягу убили. Он писал, что не знает, кто это сделал — сержант Клейтон, Левый с Правым, кто-то из новобранцев или все вместе. Но в том, что это было убийство, он не сомневался. Они пришли за ним среди ночи, написал он. Тристан, я думаю, именно тогда он и начал меняться. Со смертью Вульфа.

— Да, — согласился я. — В те дни многое происходило. Мы были в ужасном напряжении.

— И тогда беззаботный мальчик, с которым я выросла вместе — мальчик, который, вполне естественно, боялся того, что ждет впереди, — исчез, и появился новый человек, который хотел говорить не о Правом и Левом, а о правом и неправом. — Она улыбнулась своей шутке, но тут же снова сделалась серьезной. — Он просил меня в деталях передавать ему, что пишут газеты о войне, какие дискуссии идут в Парламенте, защищает ли кто-нибудь права человека, считая их, как он выражался, важнее грохота винтовок. Тристан, в этих письмах я его не узнавала. Но меня интересовал этот новый человек, и я старалась помочь. Я рассказывала ему все, что могла, а потом вы оказались во Франции, и он еще сильнее изменился. А потом... но что было дальше, вы и сами знаете.

Я вздохнул, соглашаясь. Мы сидели в молчании — как мне показалось, очень долго — и перебирали наши, такие разные, воспоминания о ее брате и моем друге.

— А он... обо мне он еще что-нибудь писал? — спросил я наконец. Я чувствовал, что подходящий момент для обсуждения писем уже прошел, но, может быть, такой шанс никогда больше не представился бы, а мне необходимо знать.

— Тристан, простите меня... — Она немного смутилась. — Я должна открыть вам одну совершенно жуткую вещь. Не уверена, что следует это делать.

— Пожалуйста, скажите, — взмолился я.

— Видите ли, он отводил вам много места в письмах из Олдершота. Он мне рассказывал про все, что вы делали вместе. Порой вы своими шуточками и выходками напоминали мне пару озорных мальчишек. Я была рада, что вы есть друг у друга, и вы мне были симпатичны по описаниям Уилла. Признаться, я думала, что он вами одержим, как это ни смешно звучит. Помню, однажды я, читая очередное письмо, подумала: «Господи, неужели я должна все время читать, что Тристан Сэдлер сказал то или сделал это?» Он искренне считал, что вы — парень что надо и высший сорт.

Я смотрел на нее и пытался улыбнуться, но чувствовал, как мое лицо превращается в гримасу боли, безмолвный вопль, — оставалось только надеяться, что она не заметит.

— А потом он написал, что вас всех отправили, — продолжала она. — И странно было, что после первого письма, написанного не в Олдершоте, он вообще ни разу вас не упомянул. А мне не хотелось спрашивать.

— Ну а с чего бы вам спрашивать? Вы ведь меня даже не знали.

— Да, но...

Она помолчала и вздохнула, прежде чем снова поглядеть на меня, — словно у нее была ужасная тайна, давящая почти невыносимой тяжестью.

— Тристан, то, что я сейчас скажу, прозвучит довольно неожиданно. Но я чувствую, что должна вам это открыть. А вы уже сами думайте, что хотите. Дело в том, что... Я уже говорила, что, когда получила ваше письмо несколько недель назад, для меня это было большим потрясением. Я решила, что неправильно поняла, и перечитала все последующие письма Уилла, но они, кажется, были совершенно ясны и недвусмысленны, так что я теряюсь в догадках — то ли он был совершенно растерян и запутался в происходящем, то ли просто написал ваше имя вместо чьего-то другого. Все это очень странно.

— Там было непросто, — согласился я. — Когда мы в окопах писали письма, у нас часто не было времени или не хватало карандашей и бумаги. И нам даже не хотелось гадать,

попадут ли письма по назначению. Может, трата времени и сил — вообще впустую.

— Да. Все же большинство писем Уилла наверняка дошло до нас. И уж точно дошли все его письма первых месяцев из Франции, потому что я получала по письму почти каждую неделю, а я не думаю, что у него было время писать чаще. Ну вот, он писал мне, рассказывал, что происходит, пытался скрыть от меня самые тяжелые моменты, чтобы я не слишком переживала... а поскольку ваш образ уже сложился у меня в голове, ведь вы играли такую важную роль в его ранних письмах, я наконец собралась с духом и спросила в одном из своих писем, что случилось с вами — отправили ли вас туда же, что и его, и служите ли вы по-прежнему в одном полку.

— Но ведь так и было. — Я ничего не понимал. — Вы же знаете, что мы были в одном полку. Мы вместе были в учебном лагере, вместе грузились на корабль для отправки во Францию, сражались рядом в окопах. По-моему, мы вообще ни разу не расставались.

— Да, но когда он ответил... — она говорила растерянно и как-то смущенно, — он написал, что у него для меня плохие новости.

— Плохие новости, — повторил я скорее утвердительно, чем вопросительным тоном, и у меня вдруг родилось ужасное подозрение — что это могли быть за новости.

— Он написал... простите меня, мистер Сэдлер, то есть Тристан, но это не может быть моя ошибка, потому что, как я уже сказала, я перепроверила, но, видимо, у него что-то перепуталось в голове со всеми этими бомбежками, обстрелами и этими ужасными, ужасными окопами...

— Вы лучше просто скажите, — тихо попросил я.

— Он написал, что вас убили. — Она выпрямилась и посмотрела мне прямо в глаза. — Вот. Что через два дня после отъезда из Олдершота, всего через несколько часов после прибытия на фронт вас снял снайпер. Что это произошло мгновенно, и вы вовсе не страдали.

Я уставился на нее. У меня закружилась голова. Если бы я не сидел, то, скорее всего, упал бы.

— Он написал, что меня убили? — Эти слова ощущались на языке как непристойность.

— Я уверена, он перепутал с кем-нибудь, — быстро ответила она. — Он об очень многих людях писал. Должно быть, ошибся. Но какая ужасная ошибка. Но в том, что касается меня — вас было двое, закадычные друзья в учебном лагере, и во Францию вас отправили вместе, и вдруг я узнаю, что вас больше нет. Тристан, я скажу откровенно: хотя мы с вами никогда не встречались, эта весть на меня очень сильно повлияла.

— Весть о моей смерти?

— Да. Конечно, это смешно звучит. Наверное, меня это так потрясло еще и потому, что я примерила вашу смерть на настоящую, пугающую возможность того, что Уилл тоже может погибнуть, — а я была настолько глупа, что до тех пор мне это ни разу не пришло в голову. Тристан, я плакала несколько дней. По человеку, которого никогда не видела. Я ставила по вам свечи в церкви. Мой отец отслужил погребальную мессу в вашу память. Вы можете в это поверить? Понимаете, он священник, и...

— Да, — сказал я. — Да, я знаю.

— И он тоже ужасно переживал. Наверное, он не думал о вас столько, сколько я, потому что гораздо сильнее беспокоился за Уилла. Он так его любил. И моя мать тоже. В общем, теперь вам все известно. Я думала, что вас убили. И вдруг через три года как гром среди ясного неба — ваше письмо.

Я отвернулся к окну. Улица уже опустела, и я обнаружил, что вглядываюсь в булыжники мостовой, сравнивая их форму и размер. Весь истекший год я мучился такой болью, таким раскаянием из-за того, что случилось с Уиллом, и из-за роли, которую я в этом сыграл. И еще я так горевал по нему, так сильно тосковал, что боялся — эти чувства всегда будут застилать мне взор. И вдруг я слышу, что он, по сути, убил меня после нашей последней ночи вместе в Олдершоте. Я верил, что он разбил мое сердце и что более жестокого поступка с его стороны придумать невозможно. Но теперь я знал. Теперь я знал.

— Мистер Сэдлер? Тристан?

Я снова повернулся к Мэриан и увидел, что она с беспокойством глядит на мою правую руку. Я посмотрел вниз — рука бесконтрольно дергалась, пальцы нервно плясали, словно неподвластные мозгу. Мне казалось, что это вовсе не часть моего тела, а вещь, которую оставил случайный прохожий, собираясь за ней вернуться, некая диковина. Я устыдился и накрыл правую руку левой, на время останавливая дрожь.

— Простите, я сейчас. — Я быстро встал, громко проскрежетав стулом по полу — от этого звука мне пришлось стиснуть зубы.

— Тристан... — начала она, но я жестом остановил ее.

— Я сейчас, — повторил я и помчался к двери, ведущей в мужской туалет, — на противоположном конце зала от той двери, в которую раньше уходила Мэриан. Я подбежал к двери, опасаясь не успеть до того, как мною полностью овладеет весь ужас от признания Мэриан, и вдруг мужчина, который вошел в кафе раньше, — тот самый, что вроде бы наблюдал за мной, — вскочил на ноги и шагнул вперед, загораживая дверь.

— Извините, дайте пройти, пожалуйста.

— У меня к вам разговор, — назойливо, агрессивно произнес он.

— Позже, — отрезал я, не понимая, почему он ко мне пристает. Я никогда в жизни не видел этого человека. — Дайте пройти.

— Не дам, — настаивал он. — Слушайте, я не хочу поднимать шум, но нам с вами надо поговорить.

— С дороги! — рявкнул я уже в полный голос.

Парочка и официантка удивленно оглянулись. Не знаю, слышала ли меня Мэриан, потому что наш столик был за углом и не виден отсюда. Я грубо отпихнул мужчину и через несколько секунд уже заперся в туалете и в отчаянии обхватил голову руками. Я не плакал, но в мыслях билось одно и то же слово — я думал, что в мыслях, но на самом деле повторял его вслух, «Уилл, Уилл, Уилл...», и надо было сделать над собой усилие и замолчать, но я качался взад-вперед и повторял его снова и снова — единственные слоги, которые для меня что-то значили.

* * *

Я вернулся к столику, смущенный своим поведением, — впрочем, я не знал, заметила ли Мэриан, насколько я расстроен. Я не смотрел на мужчину, который желал со мной поговорить, но ощущал его присутствие — он как будто дымился, подобно спящему вулкану, в углу зала. Судя по выговору, он из Норфолка, но я никогда не бывал в той части страны, то есть мы никак не могли раньше встречаться. У стола Мэриан и Джейн, официантка, вели какой-то серьезный разговор, и я, садясь на место, с опаской перевел взгляд с одной на другую.

— Я как раз извинялась перед Джейн, — объяснила Мэриан, улыбаясь мне. — Я ведь ей нагрубила только что. А она этого совсем не заслуживает. Джейн была очень добра к моим родителям. После, я имею в виду.

Она очень тщательно подбирала слова.

— Понятно, — сказал я, мечтая, чтобы Джейн убралась к себе за прилавок и оставила нас одних. — Выходит, вы знали Уилла?

— Да, с детства. Он был на несколько классов младше меня в школе, но я была прямо-таки влюблена в него. Однажды на приходском вечере он пригласил меня на танец, и я решила, что умерла и попала в рай. — Она отвернулась — видимо, смущенная неудачным выбором слов. — Я, пожалуй, побегу. Мэриан, вам еще что-нибудь принести?

— Еще чаю, наверное. Тристан, что скажете?

— Хорошо, — ответил я.

— А потом мы можем прогуляться и что-нибудь поесть. Вы наверняка уже проголодались.

— Да, проголодался. Но можно пока и чаю выпить.

Джейн пошла за чаем, и Мэриан проводила ее взглядом до прилавка.

— Она, конечно, не одна такая.

Потом заговорщически понизила голос и подалась вперед:

— Какая? — не понял я.

— Не единственная из тех, кто был безумно влюблен в моего брата, — улыбаясь, объяснила Мэриан. — И не только она. Вы не представляете, как девушки на него вешались. Даже мои подруги к нему неровно дышали, несмотря на такую разницу в возрасте.

— Да ладно, — улыбнулся я. — Вы всего на несколько лет старше меня, вам еще рано на пенсию.

— Возможно. Но меня это доводило до бешенства. Ну то есть, понимаете, Тристан, я, конечно, любила своего брата, но для меня он по-прежнему оставался неряшливым, озорным мальчишкой, который терпеть не мог мыться. Когда он был ребенком, вы не представляете, каких трудов моей матери стоило искупать его, — это было что-то невероятное. Он каждый раз орал как резаный, лишь заведя ванночку... Хотя маленькие мальчики все такие. И мальчики постарше — тоже, судя по некоторым моим знакомым... Поэтому не скрою, когда он подрос и я увидела, как он действует на женщин, то была немало удивлена.

Я кивнул. Развивать эту тему не очень хотелось, но во мне явно была мазохистская жилка, и я не мог удержаться.

— И он отвечал им взаимностью?

— Иногда. По временам они просто чередой проходили. Невозможно было выйти в лавку без того, чтобы не наткнуться на Уилла под ручку с очередной фифой в лучшем воскресном платье, да еще и с цветами в волосах. Красотка была уверена, что уж она-то его захомутает. Я со счета сбилась, так много их было.

— Он был хорош собой, — заметил я.

— Пожалуй. Я его сестра, мне трудно судить. Почти так же трудно, как и вам, наверное.

— Мне?

— Ну да, вы же мужчина.

— Да.

— Я его дразнила, не без этого, — продолжала она. — Но он как будто вовсе не обращал внимания. Большинство мальчиков наверняка взбесилось бы и запретило бы мне совать нос не в свое дело, но Уилл только смеялся и пожимал плечами. Он говорил, что любит ходить на долгие прогулки, а если какая-нибудь девица хочет составить ему компанию, с какой стати он будет ей мешать? Если честно, мне казалось, что его ни одна из них не интересуется по-настоящему. Поэтому его было бесполезно дразнить. Ему было искренне наплевать.

— Но у него же была невеста? — спросил я, хмурясь и ничего не понимая.

— Невеста? — переспросила она, улыбаясь Джейн, которая только что поставила перед нами чайник свежего чая.

— Да, он однажды упомянул, что у него есть девушка и они помолвлены.

Мэриан застыла — чайник, из которого она разливала чай, завис в воздухе, — и она уставилась на меня:

— Вы уверены?

— Может быть, я что-нибудь перепутал, — нервно предположил я.

Мэриан задумчиво помолчала, глядя в окно.

— А он не сказал, кто именно? — спросила она, опять глядя на меня.

— Боюсь, теперь и не вспомню, — ответил я, хотя имя прочно запечатлелось у меня в памяти. — Кажется, ее звали Энн.

— Энн? — Мэриан задумчиво покачала головой. — Я что-то не припомню никакой Энн. Вы не ошиблись?

— Кажется, нет. Пойдите, я перепутал. Элинора. Он сказал, что ее зовут Элинора.

Мэриан посмотрела на меня широко распахнутыми глазами и расхохоталась.

— Элино́р? — повторила она. — Неужели Элино́р Ма́ртин?

— Фамилию не скажу.

— Но это точно она, больше никому. Ну да, я полагаю, между ним и Элино́р что-то было. В какой-то момент. Она была среди тех девиц, что все время на него вешались. Надо думать, она только и мечтала его на себе женить. По правде сказать, — тут Мэриан несколько раз стукнула пальцем по столу, будто вспомнив что-то важное, — именно Элино́р Ма́ртин писала ему все эти слюнявые письма.

— Когда мы были там? — удивленно спросил я.

— Ну, может быть, и так, но об этом мне неизвестно. Нет, я имею в виду те невероятные письма, которые она посылала ему домой. Чудовищные надушенные писульки с расплюснутыми цветами внутри — каждый раз, как Уилл открывал письмо, этот мусор сыпался ему на колени, разлетался по ковру. Я помню, однажды он меня спросил, что они должны означать, а я ответила — ничего, кроме полнейшей глупости Элино́р. Потому что — уж поверьте мне, я знаю ее с детства — у этой девицы мозгов не больше, чем у почтовой марки. Я помню, она писала длинные сочинения о природе — весна, возрождение жизни, пушистые крольчата и тому подобная чушь — и посылала моему брату, надеясь таким образом его покорить. Даже любопытно, кем она себя воображала, — понятия не имею. Может, лордом Байроном. Удивительная дура!

Мэриан поднесла чашку к губам и остановилась.

— Так вы говорите, он утверждал, что они помолвлены? — хмурясь, спросила она. — Но этого не может быть! Скажи такое она, я бы объяснила это тем, что она полная идиотка. Но если это сказал он... бессмыслица какая-то.

— Может быть, я перепутал, — повторил я. — Мы с ним так много разговаривали. Я и половины не помню.

— Да, Тристан, я уверена, что вы перепутали. У моего брата были свои недостатки, но он никогда не потратил бы зря свою жизнь, разделив ее с подобной идиоткой. Он был слишком умен для этого. Он был такой красавец и мог покорить любую женщину, но, по-моему, никогда этим не злоупотреблял. Эта черта меня восхищала. Когда его друзья гонялись за девушками как ненормальные, он, кажется, вовсе потерял к ним интерес. Я помню, что задавалась вопросом, отчего он так себя ведет, — не из уважения ли к отцу, который, конечно, не обрадовался бы, если бы его сын оказался вульгарным шалопаем? Ну, потому что священник и все такое. Тристан, я думаю, что очень многие молодые люди — шалопаи. Вы согласны?

Я пожал плечами:

— Честное слово, не знаю.

— О, я уверена, что знаете. — Она мягко улыбнулась, и я решил, что она меня поддразнивает. — Я же вижу, вы почти не уступаете Уиллу. Такие прекрасные светлые волосы и печальные глаза потерявшегося щеночка! Я это говорю чисто с эстетической точки зрения, имейте в виду, и вообще я вам в бабушки гожусь, так что не воображайте себе — но все-таки вы покоритель сердец, а? Боже, как он покраснел!

Она говорила так добродушно, с такой неожиданной радостью в голосе, что я не мог не улыбнуться в ответ. Я понимал, что это не флирт — ничего подобного; но это могло быть началом дружбы. Было очевидно, что я нравлюсь Мэриан и что она нравилась мне. Это было неожиданно. И я не для этого приехал в Норидж.

— Вы вовсе не старая, — пробормотал я, обращаясь к своей чашке. — Сколько вам лет вообще? Двадцать пять? Двадцать шесть?

— Разве ваша матушка вас не учила, что интересоваться возрастом дамы — невежливо? И вообще вы еще мальчишка. Сколько вам — девятнадцать? Двадцать?

— Двадцать один, — ответил я, и она сморщила лоб.

— Но постойте, ведь тогда...

— Я прибавил себе лет. — Я опередил ее вопрос. — Мне было только семнадцать, когда я туда попал. Я соврал, чтобы меня взяли.

— А я-то считала Элино́р ду́рой, — заметила Мэриан, но беззлобно.

— Да, — пробормотал я, глядя в свой чай.

— Совсем мальчик, — повторила она, качая головой. — Но скажите, Тристан... — Она подалась вперед: — Скажите мне правду. Вы шалопай?

— Я сам не знаю, что я такое, — тихо ответил я. — Если хотите знать, я последние несколько лет только и делал, что пытался это выяснить.

Она откинулась на спинку стула и прищурилась.

— Вы были в Национальной галерее? — спросила она.

— Был несколько раз, — признался я, удивленный такой резкой переменой темы.

— Я туда хожу каждый раз, как бываю в Лондоне. Понимаете, я интересуюсь искусством. Это доказывает, что я вовсе не мещанка. Нет, я не художница, поймите меня правильно. Но я люблю картины. Вот что я делаю, придя в галерею: нахожу интересный холст, сажусь перед ним и неотрывно гляжу на него, иногда час, иногда целый день. Картина будто собирается в одно целое у меня перед глазами. Я начинаю различать отдельные мазки, вижу замысел художника. Большинство посетителей лишь мимоходом оглядывают картину, словно галочку ставят по дороге — видели эту, эту и эту. Они думают, что видели, но на самом деле разве можно так воспринять хоть что-нибудь? Я все это говорю, мистер Сэдлер, потому что вы напоминаете мне картину. Вот эта ваша последняя фраза — я не очень понимаю, что она значит, но думаю, что вы понимаете.

— Она ничего не значит. Я просто поддерживал разговор.

— Нет, вы врете, — сказала она так же благодушно. — Я чувствую, что если буду на вас долго смотреть, то начну вас понимать. Я пытаюсь разглядеть составляющие вас мазки. В этом есть какой-то смысл?

— Нет, — твердо сказал я.

— Опять врете. Но неважно... — Она пожала плечами и отвела взгляд. — Здесь как-то холодно стало, а?

— По-моему, нет.

— Я, кажется, немного отвлеклась. Я все думаю об этой истории с Элино́р Мартин. Как странно, что Уилл мог такое сказать. Кстати говоря, она ведь до сих пор тут живет.

— В самом деле? — удивился я.

— О да. Она ведь здешняя, нориджская. Правда, она вышла замуж в прошлом году, за парня, который, похоже, не соображал, что делал, — он из Ипсвича, а там им, видно, приходится хватать что дают. Она по-прежнему в городе, и, если нам сильно не повезет, может, мы сегодня на нее наткнемся.

— Надеюсь, что нет.

— Почему?

— Нипочему. Просто... она меня не интересует.

— Но почему же? — спросила заинтригованная Мэриан. — Мой брат, ваш лучший друг, говорит вам, что он помолвлен. Я вам говорю, что такой помолвки не было и быть не могло. Неужели вам не интересно посмотреть на Елену Прекрасную, которая так покорила его сердце?

Я вздохнул, откидываясь на спинку стула и потирая глаза. Она сказала, что Уилл был моим лучшим другом, и я не знал, какой из этого следует вывод. Я также спросил себя, почему к ее прежнему дружелюбию примешалась явная резкость.

— Мисс Бэнкрофт, что именно вы хотите от меня услышать?

— Что, я опять мисс Бэнкрофт?

— Ну вы же только что назвали меня мистером Сэдлером. Я думал, мы опять возвращаемся к официальному тону.

— Нет, не возвращаемся, — резко ответила она. — И давайте не будем спорить, хорошо? Я этого не выношу. Тристан, вы кажется очень приятным молодым человеком. Не обижайтесь, если я порой выхожу из себя. Я то ополчаюсь на вас, то называю покорителем сердец. Просто сегодня странный день. Но я рада, что вы приехали.

— Спасибо, — отозвался я и заметил, что она исподтишка взглянула на мою руку, — правда, левую, а не правую. Я перехватил ее взгляд.

— Я просто подумала... Очень многие мужчины вашего возраста женились, придя с войны. У вас не было такого искушения?

— Нимало, — ответил я.

— И вас не ждала дома никакая возлюбленная?

Я покачал головой.

— Тем лучше для вас, — тут же заявила она. — Поверьте моему опыту, от возлюбленных больше бед, чем пользы. Любовь — это игра для дураков, вот что я вам скажу.

— Но это же самое важное, что есть на свете. — Я и сам удивился собственным словам. — Где бы мы все были без любви?

— Выходит, вы романтик?

— Я не очень хорошо понимаю, о чем вы. Романтик? Ну да, я испытываю чувства. Сильные — пожалуй, даже слишком сильные. Если это так, то я — романтик? Может быть.

— Но сейчас все мужчины очень глубоко чувствуют, — не отставала она. — Мои друзья, мальчики, которые сражались там. Их отягощает бремя эмоций, печаль, даже страх. Раньше ничего похожего не было. Как вы думаете, чем вызвана эта перемена? Разве это не очевидно?

— Да. В какой-то мере. Но мне интересно услышать ваше объяснение.

Я подумал, глядя в стол. Я хотел быть с ней честным — насколько отважусь. И еще я хотел, чтобы мои слова были осмысленными.

— Прежде чем я пошел туда, — начал я, глядя не на собеседницу, а на грязную ложку, лежащую передо мной, — я думал, что кое-что о себе знаю. Конечно, я тогда чувствовал. У меня были друзья и... простите меня, Мэриан... я влюбился, надо полагать. По-детски. И эта любовь меня очень ранила. Конечно, виноват был только я сам. Я поступил необдуманно. Впрочем, тогда я не так считал. Я был уверен, что все хорошо продумал и что на мое чувство отвечают взаимностью. Безусловно, я заблуждался, глубоко заблуждался. И произошли события, над ходом которых я был не властен. Потом, когда я отправился туда и попал в полк, — и там встретил вашего брата, — тогда я понял, какого дурака свалил раньше. Потому что внезапно все, сама жизнь, стало удивительно ярким переживанием. Словно я теперь жил на иной плоскости по сравнению с тем, что было раньше. В Олдершоте нас учили не драться — нас учили как можно дольше оставаться в живых. Как будто мы уже умерли, но, научившись метко стрелять и ловко орудовать штыком, могли хотя бы выиграть еще несколько дней или недель жизни. В этих казармах жили не люди, а призраки, вы понимаете, Мэриан? Мы все как будто умерли еще до отъезда из Англии. А когда меня не убили, когда я оказался одним из везунчиков... Понимаете, в казарме нас было двадцать. Двадцать ребят. А вернулись только двое. Один — который сошел с ума, и я. Но это не значит, что мы выжили. Я не считаю, что выжил. Пусть меня и не зарыли во Франции, но я остался там. Духом, во всяком случае. Теперь я только дышу. Но дышать и быть живым — не обязательно одно и то же. Теперь вернемся к вашему вопросу — романтик ли я? Думаю ли я категориями любовей и свадеб? Нет. Эта возня кажется мне абсолютно бессмысленной, целиком и полностью тривиальной. Я не знаю, как это меня характеризует. Возможно, это признак того, что у меня с головой не в порядке. Но, понимаете, дело в том, что у меня в голове всегда было что-то не в порядке. С тех самых пор, как я себя помню. И я никогда не знал, что с этим делать. Никогда не понимал. А теперь, после всего, что случилось, после всего, что сделал я сам...

— Тристан, хватит. — Она вдруг потянулась ко мне и взяла мою руку — та заметно тряслась, и я снова застеснялся. Я понял, что еще и плачу — не навзрыд, просто слезы ползут по щекам; я устыдился и этого тоже и вытер глаза тыльной стороной левой руки. — Я совершенно зря спросила. Я просто шутила, и все. Не обязательно рассказывать то, о чем вам не хочется говорить. Боже мой, вы проделали весь этот путь, чтобы встретиться со мной, чтобы принести мне этот великий дар — рассказы о моем брате, — и я вам так отплатила. Вы

меня когда-нибудь простите?

Я улыбнулся и пожал плечами:

— Тут нечего прощать. Просто... ну, ни с кем из нас не стоит говорить на эти темы. Вы упомянули, что у вас есть друзья — которые были там, а потом вернулись?

— Да.

— Ну и как, они любят вспоминать то, что было там?

Она подумала минуту и заколебалась.

— Это сложный вопрос. Иногда мне кажется, что да, поскольку они постоянно говорят об этом. Но всегда потом расстраиваются. Совсем как вы только что. Но в то же время мне кажется, что они не могут удержаться, чтобы не переживать прошлое снова и снова. Как вы думаете, когда это пройдет?

— Понятия не имею. Очень не скоро.

— Но ведь все кончилось, — настаивала она. — Все кончилось! А вы молоды, Тристан. Вам всего двадцать один год. Боже, да вы ведь тогда были совсем ребенком! Семнадцать лет! Не позволяйте всему этому утопить вас. Посмотрите на Уилла.

— О чем вы?

— Ну, его больше нет, верно? — сказала она с искренним сочувствием. — Он не может даже расстроиться. Он не живет даже с кошмарными воспоминаниями.

— Да, — согласился я, и привычная острая боль снова пронизала мое тело. Я громко выдохнул и потер ладонями глаза. Отняв руки, я поморгал и тщательно сфокусировал взгляд на лице собеседницы. — Можно, мы отсюда уйдем? Мне нужно глотнуть свежего воздуха.

— Конечно, — сказала она и нетерпеливо постучала по столу, как бы соглашаясь с тем, что мы слишком задержались в этом кафе. — Вам ведь еще не пора ехать обратно в Лондон? Мне очень интересен наш разговор.

— Нет, пока нет. Я могу остаться еще на несколько часов.

— Отлично. Сегодня прекрасная погода. Мы можем погулять. Я бы вам показала разные места, где мы с Уиллом росли. Вам непременно надо посмотреть Норидж, это очень красивый город. Потом зайдем куда-нибудь на поздний обед. И я хотела попросить вас еще об одном одолжении, но о нем я вам скажу попозже, если не возражаете. Я боюсь, что если попрошу вас сейчас, вы откажете. А я не хочу, чтобы вы отказали.

Я помолчал секунду-другую и кивнул:

— Хорошо. — Затем встал и снял плащ с вешалки. Моя спутница надела пальто. — Я только заплачу за наш чай, подождите меня на улице.

Я смотрел, как она идет к дверям, выходит на улицу и стоит, застегивая пальто и озираясь в поисках знакомых. Физически она вовсе не была похожа на Уилла. Они принадлежали совсем к разным типам. Но было что-то в ее манере держаться, некая уверенность, что ее красоту заметят, — и досада на это. Я понял, что улыбаюсь, глядя на нее, и пошел к прилавку платить за чай.

— Простите за шум, — сказал я нашей официантке, когда она взяла у меня деньги и отсчитала сдачу из кассы. — Надеюсь, мы вам не очень докучали.

— Не нужно извиняться. Вы были другом Уилла, верно?

— Да. Да, мы служили вместе.

— Это просто позорище, — зашипела она, склонившись ко мне. — То, что с ним случилось, я имею в виду. Совершеннейшее позорище. После такого мне стыдно быть англичанкой. В городе мало кто со мной согласен, но я его знала — и знала, что он за человек.

Я сглотнул и кивнул, забирая у нее сдачу и молча кладя ее в карман.

— Я мало кого уважаю так, как Мэриан Бэнкрофт, — продолжала она. — Таких людей — один на миллион, честно. Несмотря на все, что случилось, она так помогает демобилизованным солдатам! Ведь по справедливости она бы должна их ненавидеть. Но ничего подобного. Вообще я даже теряюсь. Она для меня загадка.

Я нахмурился, понимая, что даже не спросил Мэриан, чем она занимается в Норидже,

как проводит свои дни, на что тратит время. Как это типично для мальчишек вроде меня: мы полностью погружены в себя и даже не думаем, что в мире есть кто-то еще. Звякнул колокольчик на двери — кто-то из посетителей ушел; я поблагодарил Джейн и попрощался.

Прежде чем выйти из кафе, я похлопал себя по карманам, проверяя, на месте ли бумажник и пачка писем. Удостоверившись, что все в порядке, я открыл дверь и вышел на улицу. Мэриан оказалась права: погода была действительно прекрасная. Ясный, теплый день — ветра нет, но нет и чересчур назойливых солнечных лучей. Идеальный день для прогулки... и я вдруг представил себе Уилла, шагающего по этой булыжной мостовой рядом с какой-нибудь влюбленной девицей, которая изо всех сил старается поспеть за ним, украдкой бросает взгляды на его прекрасное лицо и мечтает, что, может быть, за следующим поворотом, где их никто не увидит, он вдруг совершит самый неожиданный, но и самый естественный поступок — повернется к ней, обнимет и притянет к себе.

Я помотал головой, чтобы избавиться от этих мыслей, и оглянулся в поисках Мэриан. Она была в каких-нибудь десяти или двенадцати футах от меня, и притом не одна. Мужчина из кафе последовал за ней и теперь стоял рядом, неистово размахивая руками. Я не сразу понял, что происходит, и глядел на них, не трогаясь с места, пока до меня не дошло, что в жестах мужчины сквозит агрессия. Я быстро подошел к нему и к Мэриан:

— Здравствуйте. Что-нибудь случилось?

— А ты, — мужчина повысил голос и ткнул пальцем мне в лицо, глаза его яростно блестели, — ты, приятель, можешь пока отойти, потому что это не твое дело, и если ты подойдешь хоть чуть ближе, я за себя не отвечаю, понял?

— Леонард. — Мэриан шагнула вперед и встала между нами. — Он тут совершенно ни при чем. Оставь, иначе тебе же будет хуже.

— Не смей мне указывать! — ответил он. Я понял, по крайней мере, что они знакомы — это не просто какой-то прохожий пристал к ней на улице. — Ты не отвечаешь на мои письма, не желаешь со мной разговаривать, когда я прихожу к вам в дом, а теперь заводишь шашни с кем-то еще и тыкаешь этим мне в нос! А ты вообще кем себя вообразил?

Последний вопрос был адресован мне, и я изумленно взглянул на незнакомца, не понимая, что тут вообще можно ответить. Он был вне себя от ярости, щеки красны от гнева, и я видел: он едва удерживается, чтобы не отпихнуть Мэриан и не сбить меня с ног. Я инстинктивно сделал шаг назад.

— Вот правильно, и отойди подальше, — прокомментировал он; мое отступление его так обрадовало, что он начал наступать, думая, видимо, запугать меня. По правде сказать, я его совершенно не боялся; у меня просто не было желания ввязываться в уличную потасовку.

— Леонард, слышишь, прекрати! — закричала Мэриан, хватая его за пальто и оттаскивая назад. Редкие прохожие смотрели на нас со смесью интереса и презрения, но не замедляли шага, лишь качали головой — словно ничего лучшего от нас и не ожидали. — Это вовсе не то, что ты думаешь! Ты, как обычно, все перепутал.

— Ах, я все перепутал? — спросил он, повернувшись к ней. Я пока что разглядывал его с близкого расстояния. Он выше меня, шатен с румяным лицом. Судя по всему, в хорошей форме. Единственной деталью, разрушающей облик сильного мужчины, были очки, придающие ему сходство с совой или с ученым. И все же он устроил скандал на улице. — Перепутал? Когда вы сидели там целый час, я сам видел, и ворковали как два голубка? И я видел, Мэриан, ты взяла его за руку! Та к что, пожалуйста, не говори мне, что между вами ничего нет! Я все видел своими глазами!

— А если что-то и есть, что тебе с того? — закричала она в ответ, тоже раскрасневшись. — Твое-то какое дело?

— Не смей со мной так разговаривать... — начал он, но она шагнула вплотную к нему и выпалила:

— Я буду говорить так, как считаю нужным, Леонард Легг! У тебя нет на меня никаких прав! Больше нет! Ты для меня никто!

— Ты принадлежишь мне, — не уступал он.

— Я никому не принадлежу! И меньше всего — тебе. Ты думаешь, я на тебя взгляну хоть раз? После всего, что было? После всего, что ты сделал?

— После того, что я сделал? — повторил он, рассмеявшись ей в лицо. — Вот это номер. Да одно то, что я готов забыть прошлое и все-таки жениться на тебе, показывает, что я за человек. Готов связаться с семейкой вроде твоей, хотя мне это ничего, кроме неприятностей, не принесет. Но все равно я готов на это пойти. Ради тебя.

— Ну так можешь не беспокоиться. — Мэриан чуть сбавила тон и уже обрела прежнее достоинство. — Если ты думаешь, что я соглашусь за тебя выйти, что я унижусь до этого...

— Ты — унизишься?! Да если бы мои родители только знали, что я с тобой разговариваю, мало того, что я тебя простил...

— Тебе не за что меня прощать! — закричала она, негодуя вскинув руки. — Это я должна тебя простить. А я тебя не прощаю.

Она снова подошла к нему вплотную.

— Не прощаю! И никогда, никогда не прощу!

Он уставился на нее, тяжело дыша, раздувая ноздри, как бык, что собирается атаковать. На секунду мне показалось, что он сейчас бросится на нее, и я шагнул вперед; он тут же повернулся ко мне, и ярость, направленная на Мэриан, обратилась на меня. Я вдруг, безо всякой прелюдии, очутился на мостовой. Вокруг все было в каком-то тумане, и я ощупывал нос. Как ни странно, кровь из него не лилась, но к щеке было больно притрагиваться, и я понял, что он не попал мне в нос и ударил правее, сбив с ног, отчего я растянулся на земле.

— Тристан! — воскликнула Мэриан, бросаясь ко мне. — Вам плохо?

— Кажется, все в порядке, — сказал я, садясь и глядя на своего обидчика. Всеми фибрами души я жаждал встать и ударить его в ответ — гнать пинками отсюда до Лоуэстофта, если надо будет. Но я этого не сделал. Я, как когда-то Вульф, отказался драться.

— Ну давай же! — Подначивая меня, он издевательски принял боксерскую стойку — выглядело это жалко. — Встань и покажи, из какого теста ты сделан.

— Убирайся отсюда! — крикнула Мэриан. — Пока я полицию не вызвала!

Он засмеялся, но, кажется, упоминание о полиции его слегка встревожило. Должно быть, то, что я отказался драться, его тоже выбило из колеи. Он покачал головой и сплюнул на землю — плевок упал всего в футе или двух от моего левого ботинка.

— Трус! — Он презрительно глядел на меня сверху вниз. — Неудивительно, что ты ей нравишься. Бэнкрофты сами трусы и любят трусов.

— Уйди, прошу тебя, — тихо проговорила Мэриан. — Ради бога, Леонард, оставь меня наконец в покое. Пойми, ты мне не нужен.

— Дело еще не кончено, — заявил он напоследок. — Не думай, что все кончено, потому что еще ничего не кончено.

Он еще раз оглядел нас обоих, вцепившихся друг в друга на мостовой, презрительно покачал головой, направился по одной из боковых улочек и пропал из виду. Я, ничего не понимая, взглянул на Мэриан и увидел, что она чуть не плачет. Она закрыла лицо руками и покачала головой.

— Простите меня, — сказала она. — Тристан, ради бога, простите меня.

* * *

Чуть погодя я поднялся и мы пошли бок о бок по центральным улицам Нориджа. На щеке у меня образовался небольшой синяк, но больше никакого ущерба я не потерпел. Несомненно, мистер Пинтон завтра посмотрит на меня неодобрительно, снимет пенсне и выразительно вздохнет, списывая мое украшение на безумства молодости.

— Вы, должно быть, обо мне теперь совсем плохо думаете, — сказала она после долгого молчания.

— Почему? Это же не вы меня ударили.

— Нет, но я была в этом виновата. По крайней мере, частично.

— Вы явно знакомы с этим человеком.

— О да, — откликнулась она с глубоким сожалением. — Еще как знакома.

— Он, кажется, считает, что имеет на вас какие-то права.

— Имел. Когда-то. Видите ли, он мой бывший жених.

— Вы серьезно? — спросил я в крайнем удивлении. По обрывкам слов, прозвучавших во время стычки, я догадался о чем-то таком, но мне было очень сложно представить себе сценарий, в котором Мэриан связывается с подобным типом, или же сценарий, в котором любой мужчина, заполучив ее руку, вдруг от нее откажется.

— Ну-ну, не надо так удивляться. — Она явно развеселилась. — И у меня в свое время были поклонники, представьте себе.

— Нет, я вовсе не имел в виду...

— Мы были помолвлены и собирались пожениться. Во всяком случае, таков был первоначальный план.

— И что-то пошло не так?

— Ну конечно же, — раздраженно отозвалась она. И через секунду добавила: — Простите, я совершенно напрасно пытаюсь выместить это на вас. Просто... ну, мне ужасно неловко, что он на вас напал, и от этого стыдно за самое себя.

— Не понимаю почему. Мне кажется, вы как раз вовремя с ним порвали. Ведь вы могли оказаться замужем за этой скотиной! И кто знает, какова была бы ваша жизнь.

— Да, только это не я разорвала нашу помолвку, — объяснила она. — Это Леонард. Что вы на меня так удивленно смотрите? Разумеется, в конце концов я бы сама с ним порвала, но он успел раньше — к моему вечному сожалению. Вы, конечно, догадываетесь, из-за чего все вышло?

— Из-за Уилла, да? — Теперь мне все стало ясно.

— Да.

— Он бросил вас, испугавшись, что скажут люди?

Она пожала плечами, словно ей было стыдно, хотя прошло уже столько времени.

— А вы еще меня называли шалопаем, — улыбнулся я, и она засмеялась.

Она поглядела в другой конец улицы, в сторону рынка, где плотно сбились в кучу прилавки, штук сорок, под яркими навесами — там торговали овощами и фруктами, рыбой и мясом. Вокруг прилавков толпились люди, в основном женщины, с продуктовыми сумками наготове; они вручали скудные деньги продавцам, не переставая жаловаться друг другу на жизнь.

— Он на самом деле был не такой плохой. Я его когда-то любила. Ну, до всего этого...

— В смысле, до войны?

— Да, до войны. Тогда он был другим человеком. Мне трудно объяснить. Мы знаем друг друга лет с пятнадцати или шестнадцати. И всегда друг другу нравились. Ну, во всяком случае, он мне нравился. Он-то был влюблен в мою подругу — насколько вообще можно быть влюбленным в этом возрасте.

— В этом возрасте у человека страшная каша в голове.

— Да, я согласна. В общем, он бросил эту девушку ради меня, из-за чего наши семьи ужасно поссорились. Она раньше была моей хорошей подругой, а после этого больше никогда со мной не разговаривала. Вышел ужасный скандал. Мне очень стыдно теперь это вспоминать, но мы были молоды, так что горевать не о чем. Короче говоря, я сходила по нему с ума.

— Но вы, кажется, друг другу совсем не подходите.

— Да, но вы его не знаете. Сейчас мы очень разные. Ну, все люди разные. Но какое-то время мы были счастливы. Так что он попросил моей руки, и я согласилась. Теперь мне страшно даже думать об этом.

Я был мало осведомлен об отношениях мужчин и женщин, о близости, которая их связывает, и тайнах, которые их разделяют. Весь мой опыт с девушками ограничивался

Сильвией Картер. Трудно было представить, что этот единственный поцелуй пятилетней давности будет для меня и последним, но так оно и вышло.

— А он был там? — спросил я, сообразив, что он ровесник Мэриан, то есть всего на несколько лет старше меня. — Я про Леонарда.

— Нет, его не взяли. Понимаете, он очень близорук. Когда ему было шестнадцать лет, с ним произошел несчастный случай. Он свалился с велосипеда, болван этакий, и ударился головой о камень. Его нашли у дороги без сознания, и, пока доставили к доктору, он уже не понимал, кто он и где он. Словом, он повредил какие-то связки в глазу. Он почти слеп на правый глаз, и его мучают боли в левом. Он, конечно, ужасно злится из-за этого, хотя с виду ни за что не скажешь, что с ним что-то не так.

— Неудивительно тогда, что он не попал мне кулаком в нос. — Я пытался подавить улыбку, и Мэриан взглянула на меня, на миг разделив мое веселье. — Я видел его раньше. То есть чуть раньше, в кафе. Он за нами следил. Пытался перехватить меня, когда я шел в туалет.

— Знай я, что он там, я бы ушла. Он теперь таскается за мной, хочет помириться. Это очень утомляет.

— И его не взяли в армию из-за зрения?

— Именно. Справедливости ради надо сказать, что он страшно переживал. Думаю, он решил, что это как-то умаляет его мужественность. Из его братьев — у него их четверо — двое пошли еще до 1916 года, а еще двое, помоложе, по схеме Дерби⁶. Вернулся только один, притом очень больной. Насколько мне известно, у него было что-то вроде нервного срыва. Он по большей части сидит дома. Я слышала, что его родители очень страдают, — мне это не доставляет никакой радости. Говоря коротко, Леонард жутко расстраивался из-за того, что не мог пойти. Понимаете, он очень храбрый и настоящий патриот. Для него было невыносимо, когда все это шло полным ходом, а он остался в городе единственным молодым человеком.

— Невыносимо? — раздраженно переспросил я. — По-моему, он просто прекрасно устроился!

— Да, я вас вполне понимаю, — согласилась она. — Но поставьте себя на его место. Он рвался быть там со всеми вами, а не торчать в тылу с женщинами. Он теперь совсем не ладит с теми, кто вернулся. Я видела, как он сидит в углу паба, сторонясь своих же бывших школьных товарищей. Да и как ему с ними говорить? Он не прошел через то же, что они, не пережил того, что они пережили. Некоторые пытаются вовлечь его в беседу, но он начинает злиться, и, по-моему, они уже перестали пробовать. Думаю, они не видят, с какой стати должны терпеть его сварливость. Им-то не в чем себя упрекнуть.

— Ну может, он и не мог драться на фронте, зато теперь с лихвой это возмещает. Что он вообще пытался доказать, заехав мне в нос?

— Наверное, вообразил, что между нами что-то есть, — объяснила она. — А он ужасно ревнивый.

— Но он же сам вас бросил! — вскипел я и немедленно раскаялся в своей бестактности. Мэриан скривилась:

— Да, да, большое спасибо за напоминание. Но видимо, теперь он об этом пожалел.

— А вы нет?

Помедлив лишь долю секунды, она покачала головой:

— Мне жаль, что обстоятельства сложились так, что Леонард счел необходимым со

⁶ Схема Дерби — схема призыва в армию на добровольной основе, разработанная Эдвардом Стэнли, графом Дерби. Замысел Дерби заключался в том, что призывники регистрировались добровольно, а затем призывались только в случае необходимости. Женатым давалось преимущество — их призывали, только когда запас холостых призывников иссякал. Эта схема называлась также «Групповой системой», так как людей призывали группами по году рождения и семейному положению. Схема оказалась неудачной и была отменена в декабре 1915 года. В 1916 году ее заменил Закон о военной службе.

мной порвать. Но о том, что он порвал со мной, я не жалею. Вы меня понимаете?

— В какой-то степени.

— А теперь он хочет заполучить меня обратно, и это очень досаждаёт. Он пишет мне письма, он таскается за мной по городу, а стоит ему перебраться — что случается не реже двух раз в неделю, — он приходит к нашему дому. Я ему объяснила, что у него нет ни единого шанса и что он может с тем же успехом бросить это дело, но он упрям как осел. Честно, ума не приложу, что с ним делать. Я не могу поговорить с его родителями — они не желают иметь со мной ничего общего. Я не могу попросить своего отца с ним поговорить — он вообще отказывается признавать, что Леонард существует на свете. — Она сделала глубокий вдох и высказала то, о чем мы оба думали: — Мне так не хватает Уилла!

— Может, мне следовало как-то вмешаться.

— Как именно? Вы не знаете ни его, ни обстоятельств.

— Нет, но если все это вас расстраивает...

— Тристан, я не хочу показаться грубой, — она смотрела на меня, и лицо ее ясно говорило, что она не потерпит покровительственного отношения, — но вы меня сегодня увидели в первый раз. И мне не нужна ваша защита, хотя я, безусловно, весьма благодарна за то, что вы ее предложили.

— Конечно, конечно. Я просто думал, что, как друг вашего брата...

— Неужели вам еще не ясно? Именно поэтому все так плохо. Все дело в родителях Леонарда, понимаете? Они на него ужасно давили. Они держат зеленую лавку тут, в городе, и их торговля полностью зависит от доброй воли покупателей. И все знали, что мы с Леонардом собираемся пожениться, так что после смерти Уилла почти весь город перестал покупать у Леггов. Людям всегда нужен козел отпущения. Но они не могли отыграться на моем отце. Он все-таки их священник. Существуют определенные рамки. Так что следующей подходящей жертвой оказались Легги.

— Мэриан, — начал я, глядя в сторону. Я жалел, что поблизости не оказалось скамьи, где можно было бы сесть и посидеть молча. Мне очень хотелось помолчать подольше.

— Нет, Тристан. Позвольте мне закончить. Раз уж я начала, то расскажу до конца. Мы пытались не обращать внимания, но скоро стало ясно, что ничего не выйдет. Легги бойкотировали меня, город бойкотировал Леггов, все это было совершенно ужасно, и Леонард решил, что с него хватит, и разорвал нашу помолвку ради своей семьи. Его отец сделал так, чтобы об этом через несколько часов стало известно всему городу, и на завтра все опять покупали овощи у них в лавке. Торговля пошла как прежде, ура. Кого интересует, что я переживала самые тяжелые дни в своей жизни, скорбя по погибшему брату, или что человек, чья поддержка была мне нужнее всего в эти дни, указал мне на дверь. А вот теперь, когда шум вроде бы улегся и никто больше не хочет разговоров на эту тему, Леонард решил, что должен меня вернуть. Все ведут себя как ни в чем не бывало, словно на свете никогда не жил мальчик по имени Уилл Бэнкрофт, никогда не рос в их городе, не играл на их улицах и не отправился на фронт воевать за них на их поганой войне...

Она перешла на крик, и я видел, что прохожие смотрят на нее с такими лицами, словно говорят: «А, это девица Бэнкрофт. Неудивительно, что она кричит на улице, чего еще от нее ожидать».

— И вот теперь, когда все позади, бедняжка Леонард решил, что сделал ужасную ошибку, и к черту отца и мать и чертов кассовый ящик, но Леонард хочет заполучить меня обратно. Ну так он меня не получит, Тристан. Он меня не получит! Ни сегодня, ни завтра, никогда!

— Очень хорошо, — я попытался ее успокоить. — Простите меня. Теперь я все понимаю.

— Люди ведут себя так, как будто мы опозорились, вы можете это понять? — сказала она уже тише. По щекам у нее катились слезы. — Вот как та парочка в кафе. Какая наглость. Какая бесчувственность. Что вы на меня смотрите? Не притворяйтесь, что не заметили.

Я нахмурился, припоминая только, что какая-то пара сидела за один или два столика от

нас, а потом пересела в более укромное место, прежде чем продолжить беседу.

— Они из-за меня пересели, — выкрикнула Мэриан. — Когда я вернулась из дамской комнаты и они увидели, кто сидит рядом с ними, они вскочили и пересели от меня как можно дальше. И с этим я сталкиваюсь каждый день. Сейчас стало немного лучше, правда. Раньше был просто кошмар, но теперь в каком-то смысле еще хуже, потому что люди опять начали со мной разговаривать. Это значит, что они напрочь забыли Уилла. А я его никогда не забуду. Они обращаются с моими родителями, и со мной тоже, словно хотят сказать, что они нас простили, — как будто думают, что нас есть за что прощать. Это мы должны их прощать за то, как они с нами обходились, и за то, как они обошлись с Уиллом. И все же я молчу. У меня полно прекрасных идей — вы бы это скоро узнали, если бы у вас хватило глупости застрять в нашем городе. И это все. Прекраснодушные идеи. В душе я столь же труслива, сколь труслив был мой брат, по мнению этих людей. Я хотела бы защищать его, но не могу.

— Ваш брат не был трусом, — настойчиво произнес я. — Вы должны в это верить, Мэриан.

— Разумеется, я в это верю, — отрезала она. — Я ни на минуту не думаю, что он был трус. Это немыслимо. Я знала его как никто. Он был храбрее всех на свете. Но попробуйте сказать об этом вслух — и увидите, что будет. Они его стыдятся, понимаете? Единственный мальчик из всего графства, которого поставили перед расстрельной командой и казнили за трусость. Они его стыдятся. Они не понимают, кто он. Кто он был. И никогда не понимали. Но вы ведь понимаете, Тристан, правда? Вы ведь знаете, каким он был?

Щурясь на солнце

Франция, июль — сентябрь 1916 года

Вопль отчаяния и усталости вырывается у меня откуда-то из живота, когда стенка окопа за моей спиной начинает крошиться и превращается в медленно текущую реку густой, черной, перемешанной с крысами грязи, которая скользит по спине и попадает в сапоги. Я чувствую, как эта жижа просачивается в мои уже и без того промокшие носки, и бросаюсь навстречу приливу, отчаянно пытаюсь подтолкнуть баррикаду на место, пока она меня не погребла. По ладоням скользит тонкий хвост, обжигая ударом; еще удар; острые зубы впиваются в ладонь.

— Сэдлер! — хрипло кричит Хенли, тяжело дыша. Он всего лишь в нескольких футах от меня — с ним, кажется, Ансуорт, а дальше капрал Уэллс. Дождь падает такой тяжелой пеленой, что я сплевываю его вместе с вонючей грязью и не могу разобрать лиц. — Мешки! Видишь, вон там! Наваливай их как можно выше.

Я пробираюсь вперед, с трудом вытягивая сапоги из трех футов жидкой грязи. С каждым шагом я слышу ужасный хлюпающий звук, похожий на предсмертные хрипы умирающего — словно кто-то отчаянно хватается ртом воздух и не может захватить.

Я машинально развожу руки, когда на меня летит мешок, полный накопанной земли; он ударяет меня в грудь и чуть не сбивает с ног, но я, не позволяя себе перевести дух, так же быстро поворачиваюсь к стене и шмякаю мешок туда, где, по моим прикидкам, должно быть ее основание, поворачиваюсь опять, ловлю другой мешок, так же подпираю им стену, и снова, и снова, и снова. Нас уже пять или шесть человек — все мы делаем одно и то же, громоздим мешки и кричим, чтобы нам подавали еще, пока вся эта чертова стена не обрушилась, и кажется, что это сизифов труд, но все-таки мешки помогают, и мы забываем, что нас чуть не убили сегодня, в предчувствии, что нас убьют завтра.

Немцы используют бетон; мы — дерево и песок.

Дождь идет уже много дней, бесконечным потоком, превращая окопы в подобие свиных корыт вместо защитных сооружений, в которых наш полк мог бы укрываться между нерегулярными вылазками. Когда мы прибыли сюда, мне кто-то сказал, что известковая почва Пикардии, по которой мы наступаем уже много дней, устойчивей, чем в других местах

линии фронта, особенно в кошмарных бельгийских полях, где земля заболочена, вода стоит высоко и сооружать окопы практически невозможно. Мне трудно представить, что где-то может быть еще хуже. Мои сравнения основаны только на слухах и шепотках.

Вокруг меня, где утром был чистый проход, теперь течет река грязи. Притаскивают насосы, и три человека становятся к ним. Уэллс что-то кричит, обращаясь ко всем, но голос его, царапучий, как гравий, теряется в общем шуме, и я гляжу на него, понимая, что вот-вот захохочу — впаду в истерику от общей неправдоподобности ситуации.

— Сэдлер, мать вашу! — орет капрал, и я мотаю головой, пытаюсь объяснить, что не слышал приказа. — Сейчас же! Или я вас в грязь закопаю, м-мать!

У меня над головой, над бруствером, слышится канонада; это лишь начало — взрывы еще редки, им далеко до той стены огня, которой нас накрывало последние несколько дней. Окопы немцев расположены ярдах в трехстах на север от наших. В тихие вечера мы слышим отзвуки их разговоров, обрывки песен, смех или крики боли. Солдаты противника мало чем отличаются от нас. Если обе армии утонут в грязи, кто останется воевать?

— Сюда, сюда! — надсаживается Уэллс, хватая меня за руку и тащит туда, где Паркс, Хоббс и Денчли сражаются с насосами. — Вон там ведра! Весь этот участок надо очистить!

Я быстро киваю и смотрю по сторонам. Справа от себя я с удивлением вижу два серых жестяных ведра, которые обычно стоят за тыльной границей окопов, у сортира. Йейтс поддерживает их в максимально санитарном виде. Он одержим гигиеной — в такой обстановке это больше походит на сумасшествие. «Какого черта эти ведра тут делают? — думаю я, глядя на них. — Йейтс с ума сойдет, если увидит, что они вот так валяются». Они не могли просто укатиться по склону от дождя и ветра, потому что между тыльным и передовым окопами есть еще наблюдательный окоп, и каждый из них футов восемь глубиной. Видимо, кто-то нес ведра на место и его срезал снайпер. Если они валяются в окопе, значит, солдат, который их нес, — где-то над нами, лежит на спине, глядя в темное небо Северной Франции остекленелыми глазами, коченея и освобождаясь. До меня наконец доходит, что это Йейтс. Ну конечно. Йейтс мертв, и теперь нам в обозримом будущем придется ходить в вонючий сортир.

— Что с вами такое, Сэдлер? — орет Уэллс, и я поворачиваюсь к нему, быстро извиняюсь и наклоняюсь за ведрами.

Стоит мне взяться за ручки, как я тут же вымазываюсь в дерьме, но какая разница? Ставлю одно ведро у ног, другое беру под дно и за край, зачерпываю четверть галлона воды и — предварительно взглянув наверх, нет ли там кого, — выплескиваю грязную кашу на северо-восток, по направлению к Берлину и по ветру, и смотрю, как она летит по воздуху и падает на бруствер. Может, и на него падает, на Йейтса, думаю я. На Йейтса, одержимого чистотой? Неужели я поливаю дерьмом его труп?

— Шевелись! — кричат мне слева.

Кричавший — кажется, Хоббс? — продолжает работать насосом, а я раз за разом зачерпываю ведром как можно глубже, набирая воду, отправляя ее вон из окопа и снова наклоняюсь. И вдруг на меня надвигается тяжелое тело — оно движется слишком быстро, поскользывается в грязи, ругается, выпрямляется, протискивается мимо меня, и я падаю, лечу вверх тормашками, лицом в жижу из воды и дерьма, выплевываю эту дрянь и упираюсь в дно окопа, чтобы встать, но рука только проваливается глубже и глубже, и я думаю: «Как же это возможно, как могла моя жизнь увязнуть в такой грязи и мерзости?» Когда-то, теплыми летними вечерами, я ходил с друзьями плавать в бассейн в общественных банях. Я играл в конкере каштанами, набранными в садах Кью-Гарденс, — специально вываренными в уксусе, чтобы верней победить.

Сверху протягивается рука и помогает мне подняться.

Крики становятся громче, но не осмысленней, в лицо вдруг хлещет пелена воды, это еще откуда? Может, ветер поднялся и гонит дождь? Мне в руки с силой пихают ведро, и я поворачиваюсь, чтобы посмотреть, кто это мне помог. Лицо черное, грязное, почти неузнаваемое, но я на миг ловлю его взгляд — того, кто меня поднял, — и мы смотрим друг

на друга, Уилл Бэнкрофт и я, и не говорим ни слова, и он отворачивается и тащится прочь по окопу, не знаю куда — его послали не нам на подмогу, а дальше, к неизвестным ужасам, подстерегающим в десяти или двадцати футах отсюда.

— Дождь усиливается! — кричит Денчли, на миг задирая голову к небесам, и я делаю то же, прикрываю глаза и подставляю лицо дождю, смывающему дерьмо, — я могу позволить себе лишь несколько секунд этой роскоши, прежде чем Уэллс опять заорет на меня, чтобы я хватал ведро и осушал этот сраный окоп, пока нас не похоронило заживо в этих гребаных французских полях.

И я снова берусь за дело, как всегда. Сосредотачиваюсь на нем. Наполняю ведро. Выплескиваю наверх. Снова наполняю. Я верю, что если так делать достаточно долго, то время пройдет, и я в конце концов проснусь дома, и отец обнимет меня и скажет, что я прощен. Я разворачиваюсь и перехожу туда, где лужа глубже, а сам поглядываю вдоль окопа, который с этого места просматривается футов на двадцать или тридцать, — пытаюсь разглядеть, куда делся Уилл, и убедиться, что он жив-здоров, и гадаю, как всегда в такие минуты, увижу ли я его живым еще хоть раз.

* * *

Очередной день.

Я просыпаюсь и вылезаю из одиночного окопа, где пытался поспать три или четыре часа. Собираю все свое походное снаряжение: винтовку со штыком, боеприпасы (в передние и задние карманы), саперную лопатку, неполную фляжку жидкости, которая здесь называется водой; она сильно отдает хлорной известью и периодически вызывает понос, но раз уж приходится выбирать между поносом и обезвоживанием, по мне, понос всяко лучше. Надеваю скатку. Изогнутые пластины бронезащиты под рубашкой впиваются в тело — они мне малы, рассчитаны на меньший рост, но мне сказали: «Черт возьми, Сэдлер, у нас тут не галантерейный магазин, берите что дают». Я говорю себе, что сегодня вторник, — безо всяких на то оснований. Зная, какой сегодня день, можно по крайней мере притвориться, что вокруг идет нормальная жизнь.

К счастью, дождь стих, стенки окопа держатся крепко и застывают в монолит, мешки с землей лежат один на другом, черные и грязные после вчерашней укладки. Через двадцать минут я заступаю на пост, и если обернусь быстро, то успею до этого забежать в столовую, выпить чаю и заглотать мясных консервов. По пути сталкиваюсь с Шилдсом, у которого совсем измочаленный вид. Правый глаз подбит и почти заплыл; на виске ручеек засохшей крови. Он имеет форму Темзы: у брови отклоняется к югу, к Гринвичскому пирсу, потом, на лбу, — к северу, к Лондонскому мосту, и наконец исчезает в глубинах Блэкфрайерс и всклокоченных зарослях завшивленных волос. Я молчу: мы все далеко не в парадном виде.

— Сэдлер, ты на пост? — спрашивает он.

— Через двадцать минут.

— Я как раз сменился. Теперь бы только поесть и поспать, больше ничего не надо.

— Может, чуть попозже заглянем в паб? Ударим по пиву, поиграем в дротики. Составишь компанию?

Он молчит, не откликаясь на шутку. Мы все время от времени говорим что-нибудь такое и находим в этом утешение, но Шилдсу сейчас, кажется, не до болтовни. Он покидает меня, когда мы доходим до «Скорняжной аллеи», ведущей в «Приятную аллею», которая, в свою очередь, раздваивается в левой верхней части и сворачивает направо, в «Приют паломника». Мы живем в этих «аллеях» — под землей, как трупы, выгрызаем улицы, даем им названия и воздвигаем указатели, создавая иллюзию, будто мы по-прежнему — часть человечества. Здесь, внизу, — лабиринт, сплетение траншей, каждая соединяется с другой, огибает третью, уступает место четвертой. Легко затеряться, если не знаешь дороги, и да поможет Господь солдату, который не явится вовремя туда, где ему следует быть.

Я пробираюсь из передового окопа в наблюдательный, где расположен лазарет — с

теми крохами медицинской помощи, которые у нас еще остались, — и стоят койки для офицеров. Здесь уже пахнет готовящейся едой, и я тороплюсь к источнику запаха. Оглядываю плохо убранный «столовый ряд», расположенный вдоль аллеи, смотрящей на юго-восток, в составе третьей линии. Вижу по большей части знакомые лица, но есть и новенькие. Одни молчат, другие никак не могут заткнуться. Одни храбры, другие глупо рискуют, третьи уже начали сходить с ума. Есть тут и люди из Олдершота — и до нашего выпуска, и после. Одни говорят как шотландцы, другие — как англичане, третьи — как ирландцы. Я пробираюсь по столовой, сквозь тихий гул разговоров. Кажется, кто-то меня приветствует. Снимаю каску и скребу голову, не интересуясь тем, что остается под ногтями, — все волосы у меня завшивлены, и на голове, и в подмышках, и в паху. Везде, где только могут плодиться вши. Раньше меня это ужасало, но теперь мне все равно. Я гостеприимный хозяин, и мы мирно сосуществуем, они — питаюсь на моей грязной коже, я — время от времени соскребывая их и давя меж ногтями большого и указательного пальцев.

Я беру что дают и быстро ем. Чай поразительно хорош; должно быть, его заварили только что. Он пробуждает воспоминания — что-то из детства, и если хорошенько постараться, то, наверное, можно эту память воскресить, но у меня нет на то ни сил, ни желания. Мясные консервы, напротив, омерзительны. Одному богу известно, что напихали в эти жестянки — мясо крыс, барсуков или еще каких-нибудь тварей, имеющих наглость выживать в прифронтовой полосе, — но мы зовем консервы тушенкой и не вдаемся в подробности.

Я запрещаю себе осматриваться, искать его взглядом, потому что это принесет только боль. Если я его увижу, то не рискну подойти из страха, что он меня отвергнет, а потом гнев так затуманит мне голову, что я попросту выскочу из окопа на ничью землю, и будь что будет. А если я его не увижу, то непременно подумаю, что его снял снайпер за последние несколько часов, и все равно выскочу под пули — зачем мне жить, если его уже нет?

Наконец я встаю — с полным желудком и со вкусом чая во рту — и начинаю пробираться назад, поздравляя себя с большим достижением: я ни разу не попытался найти его взглядом. Ни единого разу. Из таких минут можно составить часы относительного счастья.

Я возвращаюсь в передовой окоп и слышу впереди какой-то шум. Меня не очень интересуют скандалы, но мне все равно приходится пройти то место, где спорят, так что я останавливаюсь и некоторое время наблюдаю, как сержант Клейтон — он невероятно исхудал за несколько недель, минувших с нашего прибытия, — орет на Поттера, очень высокого солдата, который в Олдершоте прославился как способный пародист. Когда-то он прекрасно изображал не только нашего командира, но и двух его апостолов, Уэлса и Моуди, и однажды Клейтон, пребывая в необычно хорошем расположении духа, попросил Поттера выступить перед всем полком, что тот и проделал с большим успехом. В его пародиях не было злости — хоть и присутствовала, как мне кажется, доля насмешки. Но Клейтон смотрел с жадной радостью.

Конфликт, по-видимому, вызван ростом Поттера. В нем шесть футов шесть дюймов без обуви, но в сапогах и каске, пожалуй, все шесть футов восемь дюймов⁷. Мы уже привыкли к его росту, но это никак не облегчает ему жизнь в окопах, которые в северной части не глубже восьми футов и не шире четырех⁸. Бедняга Поттер вынужден ходить скрюченным, не выставляя голову над бруствером, а то ему тут же вышибет мозги немецкой пулей. Это очень тяжело, пусть у нас и нет времени ему сочувствовать, но сейчас Клейтон орет ему в лицо:

— Вы изображаете из себя ходячую мишень! И при этом подвергаете опасности всех однополчан. Сколько раз я вам говорил, Поттер, не стойте во весь рост!

⁷ Приблизительно 196 см и 203 см соответственно.

⁸ Приблизительно 244 см и 122 см.

— Но я не могу, сэр, — жалобно отвечает Поттер. — Я пытаюсь сгибаться, но не могу долго так ходить, не выдерживаю. У меня страшно болит спина.

— И вы не можете потерпеть боли в спине, чтобы спасти свою голову?

— Я не могу ходить скрюченным весь день, сэр, — говорит отчаявшийся Поттер. — Честное слово, я стараюсь.

Клейтон с руганью бросается на него и прижимает спиной к стенке. Я думаю: «Вот молодцы, сбейте мешки и развалите стену, зачем нам укрытие? Давайте еще и артиллерию отошлем домой заодно».

Я отрываюсь от утреннего спектакля и пробираюсь к себе на пост; крики спорщиков продолжают звенеть у меня в ушах. На посту ждет беспокойно озирающийся Телль, надеясь все-таки дожидаться, ведь если я не появлюсь, это будет означать, что меня ночью убили по моей собственной глупости и Теллю придется торчать на месте, ожидая, пока придут Клейтон, Уэллс или Моуди и согласятся подыскать кого-нибудь ему на смену. А они могут появиться и через несколько часов, и все это время Теллю нельзя будет уйти с поста, потому что это приравнивается к дезертирству, а дезертира ставят перед строем людей с винтовками, которые целятся в клочок ткани, пришпиленный над сердцем.

— Господи, Сэдлер, я думал, ты никогда не придешь, — кричит он, хлопая меня по плечу на счастье. — Внизу все в порядке?

— Все хорошо, Билл, — отвечаю я.

Телль тоже предпочитает, чтобы его называли по имени. Может быть, так ему легче ощущать себя прежним, отдельным, независимым человеком. Я встаю на его место, окапываюсь ногами в земле и опускаю коробку перископа до уровня глаз. Хочу спросить Телля, есть ли у него что доложить за время дежурства, но он уже исчез. Я вздыхаю, качаю головой и шурю в грязное стекло, пытаюсь различить, где тут горизонт, где поле битвы, а где темные тучи, закрывающие небо. И силюсь припомнить, какого, собственно, черта я должен здесь наблюдать.

* * *

Я пытаюсь подсчитать, сколько дней назад покинул Англию, и решаю, что двадцать четыре.

В утро отправки из лагеря нас посадили на поезд из Олдершота в Саутгемптон, а потом провели строем по дорогам, к портсмутским докам. Целые семьи выходили на дорогу, чтобы приветственными криками вселить в нас боевой дух. Мои товарищи в основном наслаждались этим вниманием, особенно если очередная девица выбегала из толпы и принималась целовать кого-нибудь в обе щеки. Мне, однако, было трудно сосредоточиться на происходящем — я был всецело поглощен событиями предыдущей ночи.

Когда все случилось, Уилл быстро оделся и воззрился на меня с невиданным мною ранее выражением лица. На нем отражалось удивление от содеянного нами, омраченное знанием, что он сам был не только добровольным участником, но и главным зачинщиком, — и бесполезно притворяться, что это не так. Уилл явно хотел бы свалить вину на меня, но из этого ничего не вышло бы. Мы оба знали, кто первый начал.

— Уилл, — произнес я, но он замотал головой и полез вверх по окружавшему нас склону; он так торопился, стараясь как можно скорее убраться от меня, что не глядел, куда ставит ноги, поскользнулся и съехал обратно вниз. — Уилл, — повторил я и потянулся к нему, но он резким движением оттолкнул мою руку и вихрем обернулся ко мне, оскалив зубы — словно волк, готовый к атаке.

— Нет, — прошипел он, взлетел по склону и исчез в ночи.

Когда я вернулся в казарму, он уже лежал на койке, спиной ко мне, но я чувствовал, что он не спит. Его грудь размеренно поднималась и опускалась, но дыхание было громче обычного; так шевелится и дышит человек, который притворяется спящим, но не слишком искусно.

Я заснул, уверенный, что мы поговорим утром, — но, когда проснулся, Уилла уже не было, он встал и ушел до того, как Уэллс или Моуди прозвонили побудку. Снаружи, после проверки, он занял место в строю для последнего марша далеко впереди меня, посреди стаи, чего обычно терпеть не мог. Он был в гуще новоиспеченных солдат, они окружали его слева, справа, спереди и сзади, и каждый был защитным сооружением, которое можно обратить против меня, если понадобится.

В поезде я тоже не смог поговорить с Уиллом — он окопался у окна, посреди шумной толпы, а я оказался поодаль, расстроенный и смущенный тем, что меня так явно отвергают. Только позднее, уже когда мы погрузились на корабль и отплыли в направлении Кале, я нашел Уилла одного на палубе, у ограждения. Он стоял, изо всех сил сжимая руками металлический поручень и склонив голову, словно погружившись в мысли, а я смотрел издали, чувствуя его страдание. Я бы не стал к нему подходить, если бы не уверенность, что нам, скорее всего, больше не представится случай поговорить — кто знает, какие ужасы ждут нас, едва мы сойдем по трапу.

Он услышал мои шаги — чуть приподнял голову, открыл глаза, но не повернулся ко мне. Я видел — он знает, что это я. Я остановился чуть поодаль, встал лицом к французскому берегу, вытащил из кармана сигарету и закурил, а потом предложил полупустой портсигар Уиллу.

Он помотал головой, но потом передумал и взял сигарету. Поднес ее к губам. Я протянул ему свою, чтобы он от нее прикурил, но он снова помотал головой и стал рыться в карманах в поисках спички.

— Ты боишься? — спросил я после долгого молчания.

— Еще бы. А ты нет?

— Я — да.

Мы докурили сигареты, радуясь, что они избавляют от необходимости говорить. Наконец Уилл повернулся ко мне — он смотрел скорбно, словно прося прощения, потом посмотрел на свои сапоги и нервно сглотнул, в отчаянии сводя брови и морща лоб.

— Слушай, Сэдлер. Ничего не выйдет. Ты это понимаешь, я надеюсь?

— Конечно.

— И не могло бы... — Он помолчал, потом попробовал еще раз: — Мы сейчас просто не соображаем, что делаем, в этом вся беда. Проклятая война. Ах, если бы она уже кончилась. Мы еще не попали на место, а я уже хочу, чтобы она кончилась.

— Ты жалеешь? — тихо спросил я, и он повернулся ко мне уже со злостью на лице.

— О чем это?

— Сам знаешь.

— Я же сказал, разве нет? Ничего не выйдет. Мы должны вести себя так, как будто ничего не было. Да ничего и не было, если вдуматься. Это не считается, если... ну... если не с девушкой.

Я засмеялся — коротко фыркнул, против собственной воли.

— Считается, Уилл, еще как считается. — Я шагнул к нему. — А что это ты вдруг зовешь меня Сэдлером?

— Тебя так зовут, нет, что ли?

— Меня зовут Тристан. Ты же сам не любишь эту манеру звать друг друга по фамилиям. Ты говорил, что это нас дегуманизирует.

— Правильно, — буркнул он. — Потому что мы уже больше не люди.

— Как это мы не люди?

— Я не о том, — он быстро замотал головой, — я хочу сказать, мы не можем больше думать как обычные люди, потому что мы солдаты. Вот и все. У нас впереди война. Ты рядовой Сэдлер, я рядовой Бэнкрофт, и конец делу.

— Когда мы были там... — я понизил голос и указал в сторону английского берега, откуда мы плыли, — наша дружба значила для меня очень много. Ну, в Олдершоте. У меня в жизни было очень мало друзей, и...

— Ради бога, Тристан! — прошипел он, отправил щелчком сигарету за борт и с яростным лицом повернулся ко мне. — Не смей разговаривать со мной так, как будто я твоя девчонка, понял? Меня от этого тошнит, вот что. И я этого не потерплю.

— Уилл. — Я снова потянулся к нему. Я ничего особенного не имел в виду — просто хотел задержать его, чтобы он не уходил. Но он грубо отбил мою руку — возможно, сильнее, чем намеревался, потому что, когда я пошатнулся, он взглянул на меня с сожалением и раскаянием, но тут же овладел собой и пошел к тому месту на палубе, где собрались наши товарищи.

— Увидимся там, — сказал он. — Все остальное не имеет значения.

Но все же поколебался, обернулся и, видя мою боль и растерянность, немного смягчился.

— Не сердись на меня, хорошо? Тристан, пойми, я просто не могу.

С тех пор мы почти не разговаривали. Ни во время марша на Амьен, когда Уилл подчеркнуто держался вдали от меня, ни во время перехода к Монтобан-де-Пикарди (именно так, по словам капрала Моуди, называется оскверненный клочок земли, где я сейчас стою, прильнув глазами к грязным стеклам коробчатого перископа). И я пытался не думать об Уилле, убедить себя, что происшедшее не стоит внимания, но это очень трудно, когда твое тело — на глубине восьми футов в земле Северной Франции, а сердце уже несколько недель как осталось на прогалине у ручья в Англии.

* * *

Рич убит. И Паркс, и Денчли. Я смотрю, как их тела выносят из окопов, и хотел бы отвернуться, но не могу. Их прошлой ночью послали укладывать колючую проволоку перед нашими окопами, пока не начался следующий артобстрел, и вражеские снайперы сняли их по одному.

Капрал Моуди заполняет документы, которые нужны, чтобы вывезти отсюда тела. Он удивленно поворачивается на звук моих шагов:

— Сэдлер? Чего вам надо?

— Ничего, сэр, — отвечаю я, не в силах отвести глаз от трупов.

— Тогда не стойте тут целый день как сраный дебил. Вы сменились с поста?

— Да, сэр.

— Хорошо. Грузовики скоро придут.

— Грузовики, сэр? Какие грузовики?

— Мы заказали брус, чтобы крепить новые окопы и частично отремонтировать старые. Когда его установим, можно будет убрать часть мешков с песком. Укрепить улицы. Подите наверх, Сэдлер, и помогите с разгрузкой.

— Я собирался поспать, сэр.

— Поспать всегда успеете, — отвечает он без капли насмешки; мне кажется, он говорит совершенно серьезно. — Чем быстрее мы это сделаем, тем в большей безопасности будем. Ну-ка, Сэдлер, шевелитесь, грузовики скоро будут здесь.

Я вылезаю наверх и иду к задней границе окопов. Я не боюсь, что меня подстрелят, — немецкие ружья сюда не достают. Впереди я вижу сержанта Клейтона, который, дико размахивая руками, разговаривает с тремя другими людьми. Подходя ближе, я понимаю, что один из них — Уилл, другой — Тернер, а третий — постарше, лет, должно быть, двадцати пяти, я его вижу в первый раз. У него густые рыжие волосы — сейчас они очень коротко острижены, отчего кожа кажется ободранной и словно постаревшей. Услышав мои шаги, все четверо оборачиваются, и я стараюсь не смотреть на Уилла — не желаю знать, радуется его мое появление или, наоборот, раздражает.

— Сэдлер! — рявкает сержант Клейтон, презрительно глядя на меня. — Какого черта вам надо?

— Меня послал капрал Моуди, сэр. Он сказал, что вам, может быть, понадобится

помощь с разгрузкой.

— Конечно, понадобится, — говорит Клейтон, как будто это самоочевидно. — Где они запропастились, черт бы их побрал? Я буду на наблюдательном пункте, — бормочет он, взглянув на часы и направляясь прочь от нас. — Бэнкрофт, непременно сбегайте за мной, когда они приедут, поняли?

— Есть, сэр, — кратко отвечает Уилл и начинает смотреть на грубые очертания кое-как проложенной дороги. Мне хочется с ним заговорить, но здесь, в присутствии Тернера и неизвестного рыжего, это неудобно.

— Моя фамилия Ригби. — Незнакомец кивает мне, но не протягивает руки.

— Сэдлер, — представляюсь я. — Откуда ты взялся?

— Ригби — отказник, — объявляет Тернер, но без всякой злости. По правде сказать, его слова звучат так, словно быть отказником — вполне нормально.

— В самом деле? — говорю я. — И все же он здесь.

— Командование меня все время перебрасывает туда-сюда, — объясняет Ригби. — Наверное, надеются, что в один прекрасный день меня подстрелят. Немецкая пуля, а не британская — и таким образом Британия сэкономит боеприпасы. Я шесть ночей подряд выносил раненых с поля боя, хотите верьте, хотите нет, — и я все еще жив. Надо думать, это рекорд. Впрочем, может быть, меня все-таки убили, и вас тоже, и тогда это — ад.

Он держится удивительно бодро, и я тут же начинаю подозревать, что он сошел с ума.

Я смотрю себе под ноги, а трое остальных продолжают болтать. Я с силой ковыряю землю носком сапога, отделяя почву от камней, и наблюдаю, как от сапога слоями отваливается засохшая глина. Солдаты больше не злятся на отказников — во всяком случае, на тех, кто согласился служить, но не драться. Вероятно, к тем, кто работает на ферме или сидит в тюрьме, отношение было бы другое, но их тут нет, разумеется. Дело в том, что все, кто здесь находится, рискуют жизнью. В Олдершоте было по-другому. Там мы могли играть в политику и накручивать себя до припадков патриотического гнева. Мы могли травить Вульфа, чувствуя себя в своем праве. Мы могли вытащить его из постели среди ночи и проломить ему голову камнем. Здесь никто из нас не выживет — в этом мы все согласны.

Уилл расхаживает кругами, держась от меня подальше, и я сдерживаюсь изо всех сил, чтобы не броситься к нему, не начать трясти его за плечи, крича, чтобы он перестал дурить.

— Ригби тоже из Лондона, — говорит Тернер; я поднимаю голову и понимаю, что он обращается ко мне. Судя по всему, Ригби уже это сказал, а Тернеру пришлось повторить, чтобы привлечь мое внимание, и теперь все трое смотрят на меня.

— Да? — переспрашиваю я. — Откуда?

— Брентфорд, — отвечает Ригби. — Знаешь, где это?

— Да, конечно, моя семья живет недалеко оттуда.

— Правда? Может, я их знаю?

— Мясная лавка Сэдлера. Чизик, Хай-стрит.

Он удивленно смотрит на меня:

— Ты серьезно?

Я хмурюсь, не понимая, с чего бы мне шутить. Я слежу за Уиллом — он, услышав этот неожиданный вопрос, меняет направление и начинает постепенно приближаться к нам.

— Да, конечно, — говорю я. — С чего мне шутить?

— Да неужели ты сын Кэтрин Сэдлер? — спрашивает Ригби, и у меня слегка кружится голова, когда я слышу это имя. В такой дали, среди французских полей. Всего в нескольких сотнях футов от разлагающихся тел Рича, Паркса и Денчли.

— Верно, — осторожно говорю я, стараясь владеть собой. — А ты откуда знаком с моей матерью?

— Ну, не то чтобы знаком. Но моя мать с ней дружит. Элисон Ригби. Наверняка твоя мать про нее говорила?

Вроде бы я раньше слышал это имя, но у моей матери полно подруг по всему городу, и они меня никогда в жизни не интересовали.

— Кажется, — отвечаю я. — Во всяком случае, имя знакомое.
— Вот это повезло! А Маргарет Хэдли — наверняка ты ее знаешь!
— Нет, — качаю я головой. — А должен?
— Она работает в кафе Крофта, бывал там?
— Знаю, но не бывал уже несколько лет. А что, кто она такая?
— Моя девушка. — Он расплывается в улыбке. — Просто я думал, может, ты с ней знаком. Понимаешь, ее мать, миссис Хэдли — моя будущая теща, я надеюсь, — собирает средства на оборону вместе с моей матерью и твоей. Они теперь прямо неразлучные подруги. Не может быть, что ты не знаком с Маргарет. Такая хорошенькая, волосы темные. Твоя мать о ней очень высокого мнения, я точно знаю.

— Я довольно давно не был дома, — бормочу я. — Я не... в общем, у меня с родителями натянутые отношения.

— Ох, мои соболезнования, — говорит он, понимая, что затронул чувствительное место. — Слушай, Сэдлер, мне было ужасно жалко услышать про то, как...

— Забудь, — обрываю я, не очень понимая, как дальше продолжать этот разговор. Но меня выручает Уилл, который уже подошел к нам, — меня от него отделяет только Тернер, и мне удивительно, что Уилл тут и проявляет такой интерес.

— А как она поживает, миссис Сэдлер? — спрашивает Уилл.

Ригби пожимает плечами:

— Да вроде бы здорова. А что, ты тоже из наших мест?

— Нет. Просто я подумал, Тристану будет приятно услышать, что его мать здорова и благополучна.

— Она в добром здравии, насколько мне известно. — Ригби переводит взгляд с Уилла на меня. — Маргарет, моя девушка, она мне часто пишет. Сообщает все новости из дому.

— Это хорошо, — говорю я, бросая благодарный взгляд на Уилла.

— Им, конечно, чертовски нелегко пришлось, — продолжает Ригби. — Обоих братьев Маргарет убили в самом начале, в первые недели. Мать была в ужасном состоянии, да и сейчас не оправилась, а она совершенно замечательная женщина. Понятно, никто из них не обрадовался, когда я подал заявление в трибунал, но я считаю, что должен держаться своих принципов.

— Наверное, трудно было? — спрашивает Уилл, подавшись вперед — тема его живо интересует. — После всего этого все-таки поступить по-своему?

— Чертовски трудно, — отвечает Ригби сквозь стиснутые зубы. — Если честно, я до сих пор не уверен, что поступил правильно. Но я знаю одно: для меня в этом есть очень большой смысл: если бы я сидел дома или коротал время в тюрьме, то чувствовал бы, что подвел наших. Здесь я хоть какую-то пользу приношу, таская носилки и делая что просят. Пусть и не берусь за оружие.

Мы все трое молча киваем. При большом стечении народа он, может быть, постеснялся бы откровенничать, но в узком кругу это легче. Мы не намерены с ним спорить.

— Но все равно им там, дома, нелегко пришлось. — Ригби снова обращается ко мне: — Мать наверняка тебе об этом писала.

— Не то чтобы... — мнусь я.

— Да, сотни ребят уже погибли. Ты знал Эдварда Маллинса?

Парень из нашей школы, на класс старше меня.

— Да, — говорю я, вспоминая полноватого мальчика с плохой кожей. — Да, я его помню.

— Фестюбер, — отзывается Ригби. — Отравился газом до смерти. А Себастьяна Картера ты знал?

— А как же.

— Под Верденом. А Алекса Мортимера?

Я задумываюсь и качаю головой:

— Нет. Кажется, не знал. Он точно был из наших краев?

— Он приезжий. Вроде бы из Ньюкасла. Переехал в Лондон года три назад с семьей. Все время околачивался с Питером Уоллисом.

— С Питером? — в изумлении повторяю я. — Питера я знаю.

— Ютландское сражение, — говорит он, встряхивая плечами, словно это — лишь очередная жертва, одна из многих, ничего особенного. — Пошел ко дну на «Несторе». Мортимер, правда, выжил, но последние новости о нем были, что он валяется в армейском госпитале где-то на границе Сассекса. Обе ноги потерял, бедняга. И еще ему оторвало яйца, так что будет теперь петь сопрано в церковном хоре.

Я гляжу на него.

— Питер Уоллис, — говорю я, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. — Что в точности с ним случилось?

— Ну, я не припомню всех деталей. — Он скребет подбородок. — Кажется, «Нестор» подбили немецкие крейсера? Да, точно. Сначала «Номад», а потом «Нестор». Бабах — и потопили, сперва один, потом другой. Хорошо хоть не все погибли. Мортимер вот выжил. Но Уоллису не повезло. Извини, Сэдлер. Вы, значит, дружили?

Я отвожу взгляд — мне кажется, что я сейчас рухну от горя. Выходит, мы никогда не помиримся. Меня никогда не простят.

— Да, — тихо говорю я. — Дружили.

— Ну черт побери, наконец-то, — вдруг говорит Тернер, указывая вперед. — Вон эти чертовы грузовики. Бэнкрофт, хочешь, я за тебя сбегать позову Клейтона?

— Да, пожалуйста, — отвечает Уилл. Я чувствую, что он смотрит на меня, и поворачиваюсь к нему. — Близкий друг? — спрашивает он.

— Да, когда-то... — Я не знаю, как объяснить, кем был для меня Питер, и не хочу порочить его память. — Мы вместе росли. Знали друг друга с пеленок. Мы были соседями, понимаешь. Он был моим единственным... ну, наверное, лучшим другом.

— Ригби, — окликает Уилл, — сбегай-ка спроси шофера, сколько там досок. Мы хотя бы это сможем сказать сержанту Клейтону, когда он придет. Тогда будет понятней, сколько времени займет разгрузка.

Ригби смотрит на нас обоих, чувствует неловкость положения, кивает и уходит. Лишь когда он скрывается из виду, Уилл подходит ближе, и я дрожу — мне хочется убежать, оказаться где угодно, только не здесь.

— Тристан, держи себя в руках, — тихо говорит Уилл, обнимает меня за плечи, смотрит мне в глаза долгим взглядом. Пальцы впиваются мне в тело, и меня, несмотря на горе, пронизывает электрический разряд. Уилл впервые заговаривает со мной после корабля и лишь второй раз дотрагивается до меня после отъезда из Англии — первый раз был, когда он помог мне подняться со дна затопленного окопа. — Не раскисай, ладно? Ради всех нас.

Я делаю шаг к нему, и он сочувственно похлопывает меня по руке, задерживая ладонь явно дольше, чем нужно.

— А что это имел в виду Ригби, когда сказал, что ему было жалко услышать про... и не закончил фразу.

— Неважно, — говорю я и, охваченный скорбью, кладу голову ему на плечо.

Он на миг притягивает меня к себе, его ладонь — у меня на затылке, и я почти уверен, что губами он касается моей макушки, но тут появляются Тернер и сержант Клейтон, последний — громко вещая о какой-то очередной катастрофе, и мы с Уиллом разделяемся. Я вытираю слезы и гляжу на него, но он уже отвернулся, и я мыслями возвращаюсь к своему старому другу, который теперь мертв, как и многие другие люди. Я не понимаю, хоть убей, за каким чертом я пошел смотреть на Рича, Паркса и Денчли, когда все это время мог лежать в одиночном окопе, урывая редкие минуты сна и ничего не зная обо всем этом — о доме, о Хай-стрит в Чизике, о матери, об отце, о Питере и всей этой чертовой компашке.

* * *

Мы наступаем, продвигаемся на север, захватываем длинный узкий ряд немецких окопов почти без потерь — во всяком случае, с нашей стороны — и потому удостаиваемся визита генерала Филдинга.

Сержант Клейтон все утро места себе не находит. Он желает лично осмотреть всех солдат, чтобы убедиться: они находятся в нужной точке шкалы, на одном конце которой — чистота согласно уставным требованиям гигиены, а на другом — грязь, подобающая тем, кто воюет не щадя живота своего. Он идет вдоль строя в сопровождении Уэллса и Моуди — у одного в руках ведро с водой, у другого с грязью — и лично умывает или, наоборот, пачкает лица, не отвечающие его высоким требованиям. Со стороны это выглядит полным безумием. При этом Клейтон, как обычно, кричит, визжит, изрыгает черные проклятья или преувеличенные похвалы, и мне кажется, что он потерял рассудок. Уильямс рассказал мне, что Клейтон — один из близнецов-тройняшек и его братья погибли в первые же дни войны из-за гранат, которые разрывались слишком быстро после выдергивания чеки. Не знаю, правда ли это, но в любом случае — еще один миф из тех, которыми Клейтон уже оброс.

Когда генерал наконец прибывает (с опозданием на два часа), Клейтона никак не могут найти, и оказывается, что он в сортире. Как будто специально время выбрал, смеха ради. За ним посылают Робинсона, и еще через десять минут сержант появляется, багровый от ярости; он пронзает злобным взглядом каждого подвернувшегося на пути солдата, словно тот персонально виноват, что Клейтон именно сейчас пошел поспать. Очень трудно удержаться от смеха, но мы стараемся изо всех сил, а то отправят прокладывать колючую проволоку в темноте.

В отличие от Клейтона, генерал Филдинг, кажется, вполне нормальный человек, даже разумный. Он заботится о благосостоянии вверенных ему войск, так как заинтересован в нашем выживании. Он осматривает окопы и по дороге разговаривает с солдатами. Мы стоим в строю, словно торжественно встречаем члена королевской семьи, — в каком-то смысле это так и есть, — а генерал останавливается перед каждым третьим-четвертым солдатом и спрашивает: «Ну как с вами тут обращаются?» или замечает: «Молодцы, хорошо воюете». Проходя мимо меня, он только улыбается и кивает. Он болтает с Хенли, который оказывается его земляком, и через минуту они уже обсуждают победы крикетной сборной какого-то паба в Слоне и Замке⁹. Сержант Клейтон маячит где-то за правым плечом Филдинга, внимательно слушает и заметно дергается, словно хотел бы контролировать все, что говорят генералу.

Тем же вечером, после отъезда Филдинга в тихую заводь генерального штаба, слышится ломкий звук — это бомбят с самолетов, милях в тридцати-сорока к юго-востоку. Я на несколько секунд нарушаю приказ, поворачиваю перископ в небо и любуюсь на снопы электрических искр — это бомбы падают на головы немцев. Или англичан, или французов. Какая разница. Чем скорей всех убьют, тем скорее все кончится.

Когда с самолетов бросают бомбы, это чем-то похоже на фейерверк. Я вспоминаю первый и единственный виденный мной настоящий фейерверк. Был июнь 1911 года, вечер того дня, когда короновался Георг V. Лора, моя сестра, заболела, у нее был жар, так что матери пришлось остаться с ней дома, а мы с отцом пошли через весь Лондон к Букингемскому дворцу и вместе с огромной толпой стали ждать короля и королеву Марию, которые должны были проехать мимо, возвращаясь из Вестминстерского аббатства. Мне было не по себе. Мне еще не исполнилось двенадцати лет, я был маленький для своего возраста и, зажатый в толпе, не видел ничего, кроме плащей и пальто людей, теснивших меня со всех сторон. Мне было трудно дышать, и я попытался объяснить это отцу, но он отпустил мою руку и заговорил с соседями. Тут мимо нас поехали кареты, я помчался за ними, охваченный восторгом при виде королевской четы, и тут же потерялся и понял, что не могу найти дорогу назад.

⁹ Слон и Замок (Elephant and Castle) — район Лондона, крупный транспортный узел.

Я не пал духом, а принялся звать отца и искать его. Часом позже он наконец меня нашел и отвесил мне пощечину — такую сильную и так неожиданно, что я даже не заплакал. Я только стоял и хлопал глазами, но тут на отца с криком набросилась какая-то женщина и ударила его по руке, заступаясь за меня, — он не обратил внимания и потащил меня через толпу, ругаясь и говоря, чтобы я не смел больше убегать, а то получу еще чего похуже. Скоро мы оказались у памятника Виктории; темнело, начался фейерверк, и моя ушибленная щека стала распухать, заливаясь багровым кровоподтеком. Тут, к моему удивлению, отец вдруг посадил меня к себе на плечи. Я парил над толпой, разглядывая макушки других гуляющих. В небе взрывались ракеты и разлетались цветные искры, а я смотрел на людское море, которое простиралось сколько хватало глаз, и на других детей, тоже сидящих на плечах у отцов, и мы с ними переглядывались, ухмыляясь от опьяняющей радости этих минут.

— Сэдлер! — орет Поттер, все шесть футов восемь дюймов в сапогах и каске. Он дергает меня за плечо и стаскивает поглубже в окоп. — Ты что, сдурел? Ну-ка, перестань витать в облаках!

— Извини, — говорю я, возвращаю перископ в законное положение и осматриваю местность перед окопами. Я в панике: я ведь замечтался на целых несколько минут, а вдруг за это время два десятка немцев подползли к нам, как змеи, и уже поздно бить тревогу? Но нет, вокруг все вполне мирно, хотя в небесах сейчас разверзается что-то вроде ада. Полоса земли, что разделяет две группы перепуганных молодых людей, прибывших с разных сторон Ла-Манша, пуста.

— Смотри, замечтаешься так, и Клейтон тебя поймает, — говорит Поттер, закуривая и глубоко затягиваясь. Он потирает ладонью о ладонь, чтобы согреть руки. — А если ты еще раз вот так высунешь голову, я тебя уверяю — фрицы ее отстрелят, не задумаются.

— С такого расстояния — нет.

— Хочешь проверить на опыте?

Я преувеличенно громко вздыхаю. Мы с Поттером не то чтобы друзья. Его популярность выросла пропорционально его способностям пародиста, и теперь он уже не слушает никого, кроме себя. Мы с ним равны по положению, но он, кажется, считает себя выше — все потому, что у него где-то в родословной затесался герцог, а у меня в предках, как он не устает напоминать, одни торговцы.

— Ладно, ладно. Не буду высовываться, но, между прочим, твои адские вопли тоже делу не помогают.

Я снова осматриваюсь кругом — кажется, я слышу звук... нет, почудилось. Все равно мне как-то не по себе, я нутром чую неладное, даром что с виду все чисто.

— Я буду говорить, когда сочту нужным, Сэдлер, — отбрасывает меня Поттер. — Ты и такие, как ты, мне не указ.

— Такие, как я? — переспрашиваю я, снова поворачиваясь к нему. Сегодня я не намерен терпеть подобное.

— Ну да, вы же все одинаковые. Какая соображалка у вас была от рождения, и ту растеряли.

— Знаешь, Поттер, даже если твой отец плотник, ты все равно не Иисус Христос, — говорю я. (Я слышал краем уха, что у его отца лесопилка в Хэммерсмите.)

— Не смей кощунствовать! — кричит он, выпрямляясь во весь рост; его голова показывается над краем окопа — именно за такое я только что получил от него нагоняй. При этом он держит сигарету на весу, красный огонек приподнимается над бруствером, и я в ужасе ахаю.

— Поттер, сига...

Он поворачивается, осознает, что сделал, и вдруг я слепну — словно мне в лицо плеснули ведро горячей слизи. Я бросаюсь ничком на землю, плююсь и моргая, и меня тошнит на стенку окопа. Я вытираю эту непонятную грязь с лица, продираю глаза и вижу, что у моих ног валяется тело Поттера. В голове огромная дыра там, где вошла пуля, одного

глаза вообще нет — я подозреваю, что он размазан по мне, — а другой бесполезно свисает из глазницы.

Грохот бомбежки за тридцать миль от нас становится громче, и я на миг зажимаю глаза, представляя себе, что я далеко отсюда. И вдруг слышу голос женщины, которая за меня вступилась перед отцом пять лет назад, в вечер коронации. «Мальчик ничего плохого не сделал, — сказала она тогда. — Будьте к нему хоть чуток добрей».

* * *

Проходят недели, мы наступаем, окапываемся, стреляем из «ли-энфилдов», бросаем гранаты, и ничего не меняется. Нам говорят, что линия, делящая Европу надвое, движется вперед и осталось уже недолго; потом говорят, что дело плохо и нужно готовиться к худшему. Мое тело мне больше не принадлежит: вши поделились территорией с крысами и прочими тварями, которые сочли меня игрушкой для оттачивания зубов. Я утешаюсь мыслью, что это их законные владения, а я — оккупант. Когда я просыпаюсь ночью и обнаруживаю, что мной питается очередная тварь, задумчиво подергивая носом и усиками, я уже больше не подскакиваю с воплем, но лишь смахиваю ее ладонью, как отгонял бы муху в летнем парке. Это — новая обыденность. Я даже не думаю о ней, но следую заведенному распорядку: стою на посту, удерживаю линию, выбираюсь наверх, когда наступает моя очередь рисковать жизнью, ем, когда есть что, закрываю глаза и пытаюсь уснуть — и так провожу дни, надеясь, что рано или поздно все это кончится или же кончусь я.

Прошли недели с тех пор, как мозги Поттера вылетели на мою гимнастерку, и с тех пор ее, конечно, стирали, но на ней остались противные пятна — темно-красные и серые. Я жалуюсь на это другим, но они качают головой и говорят, что никаких пятен нет. Они ошибаются. Пятна есть. Я даже чувствую, как они пахнут.

Я сменяюсь с поста, простояв больше десяти часов, и, едва передвигая ноги, тащусь в задние окопы. Уже вечер, и мы ожидаем, что сегодня ночью нас будут бомбить, поэтому почти все свечи погашены, но я вижу, что в углу столовой сидит человек, и иду туда — мне хочется с кем-нибудь поболтать перед сном. Подойдя поближе, я узнаю Уилла и замедляю шаг. Уилл сгорбился над пачкой бумаг, в кулаке как-то странно торчит ручка, и я впервые замечаю, что он левша. Я смотрю на него — мне отчаянно хочется заговорить, но я поворачиваюсь и иду прочь, чавкая сапогами по грязи, и тут он тихо окликает меня:

— Тристан.

— Извини, — я разворачиваюсь, но не подхожу к нему, — я не хотел тебе мешать.

— Ты не мешаешь. — Он улыбается. — Сменился с поста?

— Да, только что. Наверное, мне лучше поспать.

— Спать — это туда, — говорит он, показывая в направлении, откуда я только что пришел. — Что ты тут делаешь?

Я открываю рот, но в голову ничего не приходит. Как-то не тянет признаваться ему, что мне нужно с кем-нибудь поболтать. Он снова улыбается и показывает на скамью рядом с собой:

— Может, посидишь пару минут? Мы с тобой сто лет не разговаривали.

Я подхожу к нему, стараясь не злиться: он опять обернул дело так, словно мы приняли решение вместе. Впрочем, сердиться на него не стоит — он предложил мне дар своего общества, а мне, считай, больше ничего и не нужно от этой жизни. Может, мы наконец помиримся.

— Пишешь домой? — спрашиваю я, кивая на лежащие перед ним бумаги.

— Пытаюсь, — отвечает он, собирает пачку листов, тасует на столе и сует в карман. — Сестре, Мэриан. Очень трудно решить, что писать, правда? Если рассказывать все как есть, она будет зря беспокоиться. А если врать, тогда зачем вообще писать? Вот незадача, правда?

— И как же ты выкручиваешься?

— Пишу про другое. Спрашиваю, как там дела дома. Болтовня ни о чем, так, страницу

заполнить. А Мэриан всегда отвечает. Я только потому и не спятил до сих пор, что все время жду ее следующего письма.

Я отворачиваюсь. Палатка, в которой устроена столовая, совершенно пуста, и меня это удивляет. Здесь почти всегда кто-нибудь есть — люди едят, пьют чай, склоняясь над мисками и кружками.

— А ты не пишешь домой? — спрашивает он.

— Откуда ты знаешь, что не пишу?

— Ну, я просто никогда не видел, чтобы ты писал. Ведь твоим родителям хочется получить от тебя весточку?

— Не думаю. Видишь ли, меня выставили из дому.

— Я знаю. Но ты так и не сказал почему.

— Разве? — спрашиваю я и больше ничего не говорю.

Он тоже молчит, отхлебывая чай, потом снова поднимает на меня взгляд, словно вспомнив что-то:

— А твоя сестра? Лора, правильно?

Я качаю головой, опускаю глаза, на миг закрываю их, хочу рассказать про Лору, но не могу: это займет слишком много времени, а у нас его просто нет.

— Ты ведь слыхал про Ригби? — спрашивает Уилл чуть погодя, и я киваю:

— Да. Жаль его.

— Он был хороший парень, — серьезно говорит Уилл. — Но ты же понимаешь: каждый раз, как они посылают отказника на ничью землю, они прямо-таки молятся, чтобы его убили. Им плевать даже на того беднягу, за которым его отправили.

— Кстати, а кто это был? Я так и не выведал.

— Я тоже не знаю точно. Кажется, Телль? Шилдс? Кто-то из них.

— Еще один из наших, — говорю я, вспоминая парней на койках в олдершотской казарме.

— Да. Нас осталось всего одиннадцать. Девятерых уже нет.

— Девятерых? — Я хмурюсь. — Я насчитал только восемь.

— Про Хенли ты слышал?

— Да, но я его посчитал, — отвечаю я, и у меня обрывается сердце при мысли, что кого-то еще из наших больше нет; я веду точный счет ребятам, с которыми мы были в лагере — кто еще с нами, а кого убили. — Йейтс и Поттер. Телль, Шилдс и Паркс.

— Денчли, — добавляет Уилл.

— Да, Денчли, выходит шесть. Рич и Хенли. Восемь.

— Ты забыл про Вульфа, — тихо произносит он.

— Ах да. — Я слегка краснею. — Верно. Вульф.

— С ним — девять.

— Да-да, — соглашаюсь я. — Извини.

— Словом, по-моему, Ригби все еще там. Может, сегодня, чуть попозже, за ним пошлют команду. Впрочем, скорее всего нет. Напрасная потеря времени, а? Посылать санитара забрать другого санитара. Его почти наверняка убьют, и придется посылать еще одного. Какой-то гнусный заколдованный круг.

— Капрал Моуди сказал, что нам выслали подкрепление, восемьдесят человек, они будут тут через день-два.

— А толку-то, — мрачно цедит Уилл. — Чертов Клейтон. Это я в буквальном смысле, Трис. Чертов сержант Джеймс Чертов Клейтон.

Трис. Один слог нежности — и мир снова встал на место.

— Ну, вряд ли его можно винить. Он ведь только выполняет приказы.

— Ха! — отвечает Уилл. — Ты что, не видишь, как он раз за разом посылает наверх тех, кого не любит? Бедняга Ригби — я даже не знаю, как это он столько продержался. Столько раз был наверху. Клейтон его с самого начала невзлюбил.

— Никто не любит отказников, — через силу произношу я.

— Мы все в глубине души отказники, — отвечает Уилл.

Он протягивает руки к горящей перед ним свече. От нее остался лишь огарок. Уилл проводит через пламя указательным пальцем — сначала быстро, потом медленней.

— Перестань.

— Почему? — спрашивает он, улыбаясь, и все дольше задерживает палец в пламени.

— Ты обожжешься, — говорю я, но он пожимает плечами:

— Какая разница.

— Довольно! — Я хватаю его руку и тяну прочь от свечи; пламя мерцает, отбрасывая тени на наши лица, а я держу его за руку, ощущая загрубелую, мозолистую кожу — у нас у всех такая.

Уилл смотрит вниз, на мою руку, потом поднимает глаза и наши взгляды встречаются. Я замечаю, что у него на лице — чумазом, как у всех — под глазами засохла грязь. Он медленно расплывается в улыбке, на щеках появляются ямочки — их не смогли изгладить ни война, ни окопы — и медленно, очень медленно отнимает руку, а я смотрю, растерянный, смущенный, а главное — возбужденный.

— Ну как твои? — Он кивает на мои руки.

Я вытягиваю ладони перед собой — пальцы неподвижны, словно парализованы. Меня иногда просят показать это, как фокус; мой рекорд — восемь минут без единого движения. Уилл смеется:

— Неподвижные, что твоя скала. Как тебе это удастся?

— Стальные нервы, — улыбаюсь я в ответ.

— Тристан, ты веришь в рай? — тихо спрашивает он, и я качаю головой:

— Нет.

— Правда? — удивленно спрашивает он. — Почему?

— Потому что его придумали люди. Меня поражают эти разговоры про рай, ад и жизнь после смерти. Никто ведь не пытается объяснить, откуда мы появляемся на свет, это была бы ересь. Но все почему-то твердо знают, что с ними будет после смерти. Нелепость какая-то.

— Смотри, чтобы мой отец тебя не услышал, — улыбается Уилл.

— Священник, — вспоминаю я.

— Он на самом деле хороший человек. Ты знаешь, я верю в рай. Даже не могу объяснить, почему. Может, мне просто хочется верить. Я не то чтобы религиозен, но нельзя вырасти с таким отцом, как мой, и не заразиться этим, пусть самую малость. Особенно если отец — такой хороший человек.

— Тебе видней, — говорю я.

— Ах да, брентфордский мясник.

— Чизикский.

— Брентфорд — это рядом. И звучит лучше.

Я киваю и тру глаза. Меня одолевает усталость — наверное, пора мне прощаться и идти к себе в одиночный окоп спать.

— В ту ночь, — вдруг вспоминает Уилл, и я не смотрю на него, не поднимаю глаз, а замираю — так же неподвижно, как неподвижны были мои ладони минуту назад. — Ну, тогда.

— В Олдершоте?

— Да. — Он колеблется. — Странно получилось, правда?

Я тяжело дышу через нос и думаю.

— Наверное, мы просто были напуганы. Тем, что нас ждет. Мы ничего такого не планировали.

— Нет. Конечно, нет. Я, ну, я всегда думал, что когда-нибудь женюсь. Детишек заведу и все такое. А тебе этого не хотелось?

— Не то чтобы, — говорю я.

— А мне — да. И я знаю, что мои родители тоже этого хотели бы.

— И это прямо так важно, — ядовито говорю я.

— Для меня — да. Но в ту ночь...

— Ну и что в ту ночь? — Я начинаю выходить из себя.

— Ты когда-нибудь думал об этом раньше? — спрашивает он, глядя мне прямо в глаза. При свете свечи глаза его как озера; мне хочется притянуть его к себе, обнять и сказать, что я только хочу снова быть его другом, больше мне ничего не надо; без всего остального я могу жить, если нужно.

— Думал, — я киваю. — Да, мне кажется... оно просто есть, и все. У меня в голове. Я пытался это задавить...

Я замолкаю, и он смотрит на меня, ожидая продолжения.

— Но все без толку. Оно было во мне еще до того, как я вообще понял, что это такое.

— О таких людях время от времени слышишь, — продолжает он. — Судебные дела и прочее. О них пишут в газетах. Но все это кажется так... так мерзко, правда же? Все эти потайные делишки. Возня в темноте. И вся ее мерзостная суть.

— Но ведь люди не сами для себя такое выбирают. — Я очень тщательно выстраиваю фразы в третьем лице. — У них нет выбора, они вынуждены жить потайной жизнью. Чтобы не попасть в тюрьму.

— Да, — соглашается он. — Я об этом думал. Но все же я всегда думал, что быть женатым — очень приятно, правда же? Найти хорошую девушку из приличной семьи. Таковую, которая хочет сама построить хорошую семью.

— Все как у людей, — говорю я.

— Ах, Тристан, — вздыхает он и пододвигается ближе. В третий раз он ко мне так обращается за все время нашего знакомства, и, прежде чем я успеваю ответить, он закрывает мне рот своим ртом, его губы настойчивы, и я чуть не валюсь назад от удивления, но сохраняю равновесие и подчиняюсь его напору, спрашивая себя, когда же мне будет позволено просто расслабиться и насладиться объятием.

— погоди. — Он качает головой и отстраняется, и я пугаюсь, что он передумал, но у него на лице — желание и настойчивость. — Не здесь. Кто-нибудь может войти. Идем.

Он выходит из палатки, я встаю и иду следом — почти бегу, боясь потерять его в ночной темноте, вдали от окопов; мы идем так быстро и уже ушли так далеко, что я беспокоюсь, не сочтут ли это дезертирством; в то же время мне любопытно, как это он так легко нашел укромное местечко. Может, он бывал здесь раньше? С кем-нибудь другим? С Милтоном, или со Спарксом, или с кем-нибудь из новеньких ребят? Наконец он, кажется, решает, что здесь безопасно, и смотрит на меня, и мы ложимся, но как бы я ни жаждал того, что сейчас случится, как бы я ни хотел его, я не могу забыть ту ночь в Олдершоте и его взгляд потом. И то, как он почти не разговаривал со мной с тех пор.

— За этот-то раз ты не будешь на меня злиться? — спрашиваю я, на миг отодвигаясь, и он ошарашенно смотрит на меня и быстро мотает головой.

— Нет, нет, — бормочет он и трогает мое тело, трогает меня всюду, и я велю заткнуться противному голосочку, который шепчет, что за несколько приятных минут мне придется расплачиваться долгим отчуждением Уилла; потому что это совершенно неважно. Главное — эти несколько минут я могу верить, что мы больше не воюем.

* * *

Я ползу вперед, кое-как приподнимаюсь, пригибаясь к земле и скрючившись, запинаясь о чье-то тело — смутно знакомое, кто-то из новеньких — и шумно падаю в грязь. Упираюсь ногами в землю, встаю, сплевываю грязь и песок, тащусь дальше. Вытирать лицо нет смысла — я уже много месяцев не был чистым.

Выталкивать себя на ничью землю с каждым разом все страшней и страшней. Это как русская рулетка: с каждым нажатием на спусковой крючок все меньше шансов пережить следующую попытку.

Дальше по линии кто-то, Уэллс или Моуди, выкрикивает команды, но слов не

разобрать за воем ветра и порывами дождя; приходится полагаться на инстинкт. Наступать в таких условиях — безумие, но приказ генерального штаба пересмотру не подлежит. Ансуорт, вечный нытик, начал говорить, что это неразумно, и я думал, что Клейтон сейчас его ударит, но Ансуорт быстро извинился и полез наверх — видно, боится сержанта больше, чем вражеских пуль. Клейтон, кажется, окончательно съехал с катушек, потерял даже те остатки здравого смысла, которые были у него на момент визита генерала. Он почти не спит и выглядит как ходячая смерть. Орет он так, что его слышно в любой точке окопов. Я не могу понять, почему Уэллс или Моуди до сих пор ничего не предприняли. Сержанта надо отстранить от командования, пока он не выкинул что-нибудь и не погубил нас всех.

Я ползу на брюхе, держа винтовку перед собой; левый глаз плотно зажмурен, прицел рыщет в поисках любого врага, наступающего мне навстречу. Я представляю себе, как встречаюсь глазами с таким же перепуганным мальчиком, моим ровесником, мы стреляем друг в друга — и через долю секунды оба мертвы. Небо над головой кишит самолетами, словно вшами. Синие лоскуты меж серых туч, пожалуй, даже красивы, но долго пялиться наверх опасно, так что я двигаюсь дальше с колотящимся сердцем, прерывисто дыша.

Уилла и Хоббса прошлой ночью послали на рекогносцировку, и их не было так долго, что я решил — живыми они не вернутся. Но они вернулись и доложили капралу Уэллсу, что немецкие окопы расположены в трех четвертях мили к северу от нас, но построены они как отдельные, не соединенные меж собой отрезки — не так, как в других местах. Можно взять их по одному, только осторожно, сказал Хоббс. Уилл промолчал, а когда Клейтон завизжал на него: «А вы, Бэнкрофт, сукин сын, чего молчите? Ну-ка, откройте рот!» — Уилл только кивнул и сказал, что согласен с рядовым Хоббсом.

При звуках его голоса я отвернулся. Кажется, я был бы счастлив никогда больше его не слышать.

Прошло три недели после нашей второй встречи, и все это время Уилл со мной не разговаривает, даже не отвечает, когда я заговариваю с ним сам. Если я подхожу — то есть если случайно приближаюсь к нему, потому что я ни разу не искал его специально, — он разворачивается и идет прочь. Если он входит в столовую, когда я там, он передумывает и уходит, возвращается в свой персональный ад. Впрочем, нет, один раз он ко мне обратился, когда мы завернули за угол навстречу друг другу и столкнулись, а больше никого рядом не было. Я открыл было рот, но Уилл лишь выставил руки ладонями вперед, словно отгораживаясь, и прошипел: «Отвали, понял?» И на том все кончилось.

Впереди грохочут орудия. По цепочке передают приказ: «Удерживаем линию!» Нас девятнадцать или двадцать человек — мы растянулись в неровную линию и все приближаемся к вражескому окопу. Канонада прекращается; мы видим тусклый свет — одна-две свечи горят — и слышим приглушенные голоса. Что с ними такое, думаю я. Они что, не видят, как мы наступаем, и не могут нас снять по одному? Стереть нас с лица земли — и дело с концом.

Но, наверное, именно так и выигрываются войны. Одни на миг утрачивают бдительность, а другие успевают этим воспользоваться. В эту ночь везет нам. Еще минута, не больше, — и мы все уже на ногах, оружие наизготовку, гранаты в руках, и вот залпы винтовок сливаются в сплошной грохот, трассирующие пули пронзают темноту и улетают вниз, во вражеский окоп. Снизу доносятся крики и тяжелый деревянный стук — я представляю себе группу молодых немцев, решивших на минутку забыть свой долг и поиграть в карты, чтобы снять напряжение. Немцы мечутся у нас под ногами, как муравьи, поднимают винтовки — но слишком поздно, у нас преимущество, мы стоим выше и захватили их врасплох, и мы стреляем и заряжаем, стреляем и заряжаем, стреляем и заряжаем. Наша линия слегка растягивается вдоль окопа, чтобы покрыть его равномерно по всей длине; Уилл и Хоббс клялись, что в нем яров пятьсот, не больше.

Что-то жужжит мимо уха, я ощущаю укол и думаю, что в меня попали; прижимаю руку к виску, но крови нет, и я в растерянности и гневe поднимаю «ли-энфилд» и стреляю без разбору во всех, кто подо мной, снова и снова нажимая на спусковой крючок.

Слышится звук, словно лопнул воздушный шарик, и соседний солдат валится с криком боли; я не могу остановиться и помочь ему, но в голове проносится мысль, что это Тернер упал — тот самый Тернер, что однажды обыграл меня в шахматы три раза подряд; тогда оказалось, что он не умеет быть великодушным победителем.

Десять — десять.

Я бросаюсь вперед, потом вбок, спотыкаюсь об очередное тело, падаю и думаю: «Господи, пусть это будет не Уилл» — и смотрю вниз, не в силах удержаться, но это Ансуорт, он лежит с мучительно искривленным лицом, открыв рот, — тот самый Ансуорт, который оспаривал приказ генштаба. Он уже мертв. Две недели назад мы были с ним в дозоре, несколько часов наедине, и хотя мы никогда особо не притеснялись, он рассказал мне, что его девушка, которая осталась дома, ждет ребенка. Я поздравил его и выразил удивление, что он женат.

— Я не женат. — Он сплюнул на землю.

— А! Ну что ж, бывает.

— Сэдлер, ты что, дурак? Я не был дома полгода. Это не мой ребенок, понятно? Чертова шлюха.

— Ну тогда не бери в голову, это не твоя забота.

— Но я хотел на ней жениться! — закричал он, багровый от унижения и боли. — Я ее до смерти люблю. И вот не успел я уехать, а тут такое.

Одиннадцать — девять.

Мы еще продвигаемся вперед и наконец спрыгиваем вниз — я первый раз оказываюсь в немецком окопе; мы вопим так, словно от этого зависит наша жизнь, несемся по незнакомым проходам, и я понимаю, что на ходу стреляю куда попало; я заворачиваю за угол, бью прикладом по голове мужчине постарше, ломая ему не то нос, не то челюсть, и он падает.

Не знаю, сколько времени мы проводим в этом окопе, но наконец мы им окончательно завладеем. Мы захватили немецкий окоп. Вокруг валяются немцы, все до единого мертвые, и сержант Клейтон восстает, как Люцифер из адовой утробы, собирает нас и сообщает, что мы хорошие солдаты, выполнили свой долг, как он, сержант, нас учил, и это важная победа Добра над Злом, но нам нельзя расслабляться, нужно этой же ночью продолжить наступление, в миле на северо-запад есть еще один окоп, и нам надо немедленно добраться туда, иначе мы утратим стратегическое преимущество.

— Четыре человека останутся здесь охранять захваченную территорию, — говорит он, и каждый из нас молится про себя, чтобы выбрали его. — Милтон, Бэнкрофт, Этлинг, Сэдлер, вы четверо, ясно? Думаю, атаки можно не опасаться, но все равно не расслабляйтесь. Милтон, возьмете мой пистолет, ясно? Вы — командир. Остальные, в случае чего, стреляйте из винтовок. Если другое подразделение начнет наступать с востока.

— А если они начнут наступать, сэр, как нам обороняться? — неосторожно спрашивает Милтон.

— Включите соображалку, — отвечает Клейтон. — Вас этому учили. Но я чуть позже вернусь сюда, и если окажется, что фрицы снова заняли этот окоп, я лично расстреляю каждого из вас!

В этот совершенно безумный миг я начинаю хохотать, настолько бессмысленны его угрозы: если немцы снова захватят окоп, мы все четверо мгновенно окажемся на небесах.

* * *

— Пойду осмотрюсь, — говорит Уилл и скрывается за углом, лениво забросив винтовку за плечо.

— Прямо не верится, что нас оставили тут, — ухмыляется мне Милтон. — Вот свезло, а?

— Да нет, — возражает Этлинг, тощий парень с огромными глазами, похожий на какое-то земноводное. — Я бы с радостью наступал дальше.

— Это легко говорить, когда делать не надо, — презрительно отвечает Милтон. — Сэдлер, что скажешь?

— Говорить легко, — киваю я и оглядываюсь по сторонам. Стрелковые ступени у немцев из лучшего дерева, чем у нас. Стены сделаны из неровного бетона — интересно, были у немцев инженер-строитель, когда сооружали этот окоп. Кругом валяются мертвые тела, но я уже давно привык к покойникам.

— Поглядите, какие у них одиночные окопы, — говорит Милтон. — Неплохо устроились, а? По сравнению с нашими — просто роскошно. Вот же идиоты, позволили себя захватить.

— Смотрите, карты. — Эттлинг наклоняется и подбирает восьмерку пик и четверку бубей. Странное дело, то, что я нафантазировал чуть раньше, оказывается реальностью.

— Как ты думаешь, за сколько времени они захватят тот окоп? — спрашивает Милтон, глядя на меня.

Я пожимаю плечами и достаю сигарету.

— Понятия не имею, — говорю я, закуривая. — Часа за два? Если вообще захватят.

— Не смей так говорить, — зло отвечает он. — Как пить дать захватят.

Я отвожу взгляд, думая о том, куда запропастился Уилл, и тут же слышу шаги — кто-то в сапогах идет по грязи. Из-за угла появляется Уилл. Но уже не один.

— Черт возьми, — произносит Милтон, оборачиваясь. На лице у него восторг, смешанный с недоверием. — Кого это ты привел, а, Бэнкрофт?

— Он прятался в одном из укрытий ближе к тыльной части, — объясняет Уилл и выталкивает вперед мальчика, который с ужасом оглядывает нас всех по очереди. Мальчик очень тощий, белобрысый, с челкой, которую, похоже, откромсали как попало, лишь бы волосы не лезли в глаза. Он заметно дрожит, но храбрится. Под слоями грязи — милое, детское лицо.

— Эй, фриц, ты кто такой? — спрашивает Милтон, как говорят с идиотами — громко и угрожающе; он подходит вплотную к мальчику, нависает над ним, а тот пьтится в страхе.

— Bitte tut mir nichts¹⁰, — говорит мальчик. Слова выскакивают быстро-быстро, словно спотыкаясь друг о друга.

— Что он говорит? — спрашивает Милтон, глядя на Эттлинга, словно тот должен был понять.

— А черт его разберет, — раздраженно отвечает Эттлинг.

— И хрен ли мне тогда от него толку? — злится Милтон.

— Ich will nach hause¹¹. Bitte, ich will nach hause, — твердит мальчик.

— Заткнись! — рявкает Милтон. — Все равно мы ни слова не понимаем. Так он там один был?

Последняя фраза обращена уже к Уиллу.

— Вроде бы, — отвечает Уилл. — Там окоп кончается. Куча тел, но живой вроде бы он один.

— Наверное, лучше его связать, — предлагаю я. — Мы сможем взять его с собой, когда двинемся дальше.

— Взять его с собой? — переспрашивает Милтон. — Это еще зачем?

— Затем, что он военнопленный, — говорит Уилл. — А что мы, по-твоему, должны с ним сделать? Отпустить?

— Бля, еще чего, отпускать его. Но обуза нам тоже не нужна. Давайте отделаемся от него прямо тут, и все.

— Ты прекрасно знаешь, что так нельзя, — резко обрывает Уилл. — Мы не убийцы.

¹⁰ Пожалуйста, не обижайте меня (нем.).

¹¹ Я хочу домой (нем.).

Милтон смеется и оглядывается кругом, указывая на лежащих мертвых немцев: их тут десятки. Мальчик-немец тоже на них смотрит, и я вижу по его глазам, что он узнает их — это были его друзья, а теперь он остался один-одинешенек. Как бы ему хотелось, чтобы они ожили и защитили его.

— Was habt ihr getan?¹² — спрашивает мальчик, глядя на Уилла, в котором, похоже, видит главного защитника, раз это Уилл его нашел.

— Тихо, — говорит Уилл, качая головой. — Сэдлер, посмотри кругом, нет ли веревки.

— Бэнкрофт, да не будем мы его связывать! — сердится Милтон. — Не строй из себя исусика. Это даже не смешно.

— Не тебе решать. — Уилл повышает голос: — Я взял его в плен, ясно? Я его нашел. Я и буду решать, что с ним делать.

— Mein vater ist in London zur schule gegangen¹³, — говорит мальчик, и я гляжу на него, всем сердцем желая, чтобы он молчал, потому что его мольбы лишь ухудшают дело. — Пиккадилли-Серкус! Трафальгарская площадь! Букингемски тфорец!

Он выкрикивает эти названия с фальшивой бодростью.

— Пиккадилли-Серкус? — удивленно переспрашивает Милтон. — Трафальгарская площадь, бля? О чем это он?

Безо всякого предупреждения Милтон отвечает мальчику оплеуху — такую сильную, что у того изо рта вылетает гнилой зуб, у нас у всех зубы гнилые, и падает на лежащее рядом мертвое тело.

— Господи, Милтон, ты что, спятил? — Уилл делает шаг к нему.

— Он немец, скажешь — нет? Противник, черт бы его побрал. Ты что, не помнишь, какой нам дали приказ? Противников мы убиваем.

— Только не тех, которых взяли в плен, — не сдается Уилл. — Именно этим мы отличаемся от них. Или должны отличаться. Мы уважаем человеческое достоинство. И человеческую жизнь.

— А, ну да! — кричит Эттлинг. — Я и забыл, твой папаша ведь священник? Ты, Бэнкрофт, как есть алтарного вина перепил.

— Захлопни пасть, — парирует Уилл, и трус Эттлинг повинуется.

— Слушай, Бэнкрофт, — говорит Милтон. — Я не собираюсь с тобой спорить. Но выход только один.

— Уилл прав, — соглашаюсь я. — Мы сейчас свяжем этого парня и отдадим сержанту Клейтону, а тот пускай уже сам решает, что с ним делать.

— Сэдлер, тебя вообще кто-нибудь спрашивал? — насмешливо кривится Милтон. — Чего еще от тебя ждать, бля. Ты вечно Бэнкрофту в рот смотришь.

— Заткнись, Милтон. — Уилл надвигается на него.

— Не заткнусь! — рявкает Милтон, глядя на нас так, словно готов смахнуть обоих одним движением, не задумываясь, как только что ударил мальчика-немца.

— Bitte, ich will nach hause, — снова говорит мальчик. Голос его испуганно срывается.

Мы все трое смотрим на него, а он очень медленно, осторожно подносит руку к нагрудному карману гимнастерки. Мы, заинтригованные, смотрим. Карман такой маленький и плоский, что в нем как будто ничего и нету, но немец вытаскивает небольшую карточку и протягивает нам; рука у него дрожит. Я первым беру фотографию и гляжу на нее. Мужчина и женщина средних лет улыбаются в камеру; между ними стоит маленький светловолосый мальчик, щурясь на солнце. Лица различить трудно — фотография очень зернистая. Она явно очень давно живет у него в кармане.

¹² Что вы наделали? (нем.)

¹³ Мой отец ходил в школу в Лондоне (нем.).

— Mutter!¹⁴ — произносит он, указывая на женщину на фотографии. И на мужчину:
— Und vater!¹⁵

Я смотрю на фотографию, потом на него, а он с умоляющим видом оглядывает нас всех.

— В бога душу мать! — кричит Милтон, хватая мальчика за плечо и дергает к себе, одновременно отступая на несколько шагов, так что они оказываются на противоположной стороне окопа от нас с Уиллом и Эттлином. Милтон выхватывает из кобуры пистолет Клейтона и взводит курок, проверяя, заряжен ли пистолет.

— Nein! — кричит мальчик, и голос его срывается от ужаса. — Nein, bitte!

Я в отчаянии гляжу на него. Ему вряд ли больше семнадцати-восемнадцати лет. Мой ровесник.

— Милтон, а ну-ка убери это, — говорит Уилл и тоже тянется к пистолету. — Слышишь, что говорю. Убери.

— А то что будет? Что ты сделаешь, преподобный Бэнкрофт? Застрелишь меня?

— Я сказал, убери пистолет и отпусти мальчика, — спокойно отвечает Уилл. — Бога ради, подумай, что ты делаешь. Он же еще ребенок.

Милтон колеблется, смотрит на мальчика, и я вижу у него на лице искру сострадания — он словно вспоминает того человека, которым был раньше, до всего, до того, как он превратился вот в это существо, стоящее сейчас перед нами. Но тут немец теряет контроль, и его штанина — как раз с того боку, который прижат к Милтону, — стремительно темнеет от струи мочи. Милтон смотрит вниз и с отвращением трясет головой.

— В бога душу мать! — снова кричит он, и не успеваем мы что-нибудь сказать или сделать, как он подносит пистолет к виску мальчика, взводит курок — мальчик снова вскрикивает: «Mutter!» — и его мозги вылетают на стену окопа. Красные брызги попадают на указатель, который обращен на восток и гласит: «ФРАНКФУРТ, 611 КМ».

* * *

На следующий вечер Уилл подходит ко мне. Я дико устал. Я не спал двое суток. И еще, похоже, съел что-то испорченное, потому что желудок крутит все сильнее и сильнее. В кои-то веки при виде Уилла я не чувствую ни радости, ни надежды — лишь неловкость.

— Тристан, — зовет он, не обращая внимания на еще троих человек, сидящих рядом. — Разговор есть.

— Я плохо себя чувствую, — отвечаю я. — Мне надо отдохнуть.

— Только на минуту.

— Я же сказал, мне надо отдохнуть.

Он смотрит на меня, и в его лице появляется что-то похожее на мольбу.

— Тристан, я тебя очень прошу. Это важно.

Я вздыхаю и кое-как поднимаюсь на ноги. Бог свидетель, я не могу ни в чем отказать Уиллу.

— Ну что такое? — спрашиваю я.

— Не здесь. Давай отойдем, пожалуйста.

Он не ждет моего согласия, поворачивается и идет прочь; меня это бесит до чрезвычайности, но я тем не менее следую за ним. Он идет не к новому тыльному окопу, а дальше по линии — туда, где лежат в ряд несколько носилок и тела на них накрыты шинелями с головой.

Под одной из шинелей — Тейлор: двенадцать — восемь.

¹⁴ Мама (нем.).

¹⁵ И отец (нем.).

— Ну что? — спрашиваю я, когда Уилл останавливается и поворачивается ко мне. — Что у тебя такое?

— Я говорил со стариком.

— С Клейтоном?

— Да.

— О чем?

— А то ты не знаешь о чем.

Я смотрю на него, не понимая. Не мог же он признаться в том, что мы с ним делали наедине? Нас обоих отправят под трибунал. Разве что он хочет свалить все на меня, чтобы меня убрали из полка? Он видит недоверие у меня на лице и чуть краснеет, качая головой, чтобы развеять мое заблуждение.

— Про того немецкого мальчика. Про то, что сделал с ним Милтон.

Я киваю:

— Ах, это.

— Да, это. Это было хладнокровное убийство, ты же сам видел.

Я снова вздыхаю. Меня удивляет, что он поднял эту тему. Я думал, что дело кончено и забыто.

— Возможно, — говорю я наконец. — Да, наверное, так.

— Послушай, какое там «наверное»! Этот юноша, совсем мальчик, был военнопленным. И Милтон его застрелил. Хотя он нам никак не угрожал.

— Уилл, ну конечно, это было неправильно. Но такое случается. Я видывал и похуже. И ты тоже. — Я выдавливаю из себя горький смешок и показываю взглядом на окружающие нас тела. — Я тебя умоляю. Посмотри кругом. Одним больше, одним меньше — кого это волнует?

— Меня волнует. И тебя тоже. Тристан, я тебя знаю. Ты ведь чувствуешь разницу между добром и злом, правда?

Я делаю каменное лицо и смотрю на него. Меня бесит, что он якобы читает у меня в душе — после всего, что я от него вынес.

— Уилл, чего ты хочешь? — спрашиваю я наконец, устало проводя тыльной стороной ладони по глазам. Голос у меня тоже усталый. — Скажи, чего тебе от меня надо.

— Я хочу, чтобы ты подтвердил мой рассказ. Нет, не так. Я хочу, чтобы ты просто описал сержанту Клейтону, что произошло. Всю правду, как есть.

— Зачем? — растерянно переспрашиваю я. — Ты же сам только что сказал, что ты к нему уже ходил.

— Он отказывается мне верить. Говорит, что ни один английский солдат так не поступил бы. Он вызвал Милтона и Эттлинга, и они оба все отрицают. Они подтверждают, что мы нашли в окопе немецкого мальчика, но говорят, что он пытался нас атаковать и у Милтона не было другого выхода, как застрелить его ради самозащиты.

— Они это говорят? — Я удивлен и в то же время не удивлен.

— Я хочу обратиться к генералу Филдингу, — продолжает Уилл. — Но Клейтон говорит, что об этом и речи быть не может, если у меня нет свидетелей. Я сказал ему, что ты все видел.

— Госсподи, — шиплю я. — Зачем ты меня в это втягиваешь?

— Потому что ты там был, — восклицает Уилл. — Боже мой, ну почему это вообще нужно объяснять? Так поддержишь ты меня или нет?

Подумав, я качаю головой:

— Не хочу в это впутываться.

— Ты уже в это впутан.

— Ну так оставь меня в покое, и все. Все-таки наглости тебе не занимать. В чем, в чем, а в этом тебе не откажешь.

Он разглядывает меня, хмурясь и чуть склонив голову набок.

— А это еще что значит?

— Ты прекрасно знаешь что, — говорю я.

— Господи Иисусе! Тристан! То есть ты оскорблен в своих нежных чувствах и потому намерен лгать, чтобы поддержать Милтона? Решил сквитаться со мной, так, что ли?

— Нет, — я мотаю головой, — ничего подобного. Почему ты все время искажаешь мои слова? Я сказал, что, с одной стороны, я не хочу впутываться в это дело, потому что идет война; одним мертвым солдатом больше, одним меньше — по большому счету все едино. А с другой стороны...

— Одним мертвым... — перебивает он, явно потрясенный моей черствостью; впрочем, я и сам был потрясен собственными словами.

— А с другой стороны, раз уж ты наконец удостоил меня разговором, слушай: я не желаю иметь с тобой ничего общего. Ты понял? Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Ясно тебе?

Несколько секунд мы оба молчим. Я знаю, что мы подошли к развилке. Уилл может разозлиться на меня — или раскаяться. К моему удивлению, он выбирает второй вариант.

— Прости меня, Тристан, — говорит он. И чуть погромче: — Я прошу у тебя прощения. Слышишь?

— Ты просишь у меня прощения, — повторяю я, качая головой.

— Тристан, неужели ты не видишь, как мне трудно? Почему тебе непременно нужны драмы? Неужели нельзя просто... ну... просто быть друзьями, когда нам одиноко, и обычными солдатами, как все, все остальное время?

— «Друзьями»? — повторяю я и едва не начинаю хохотать. — У тебя это так называется?

— Потихе, ради бога, — шикает он, нервно оглядываясь. — Кто-нибудь услышит.

Я вижу, что мои слова выбили его из колеи. Он, кажется, хочет что-то сказать в ответ, делает шаг ко мне, поднимает руку, желая коснуться моего лица, но передумывает и отступает, словно мы едва знакомы.

— Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Мы прямо сейчас пойдем к сержанту Клейтону, и ты расскажешь ему в точности, что произошло с немецким мальчиком. Мы подадим рапорт и будем настаивать, чтобы дело передали на рассмотрение генералу Филдингу.

— Не пойду, — прямо говорю я.

— Ты понимаешь, что в этом случае дело закрыто и Милтону все сойдет с рук?

— Да. Но мне все равно.

Он смотрит на меня долгим, жестким взглядом, и когда снова открывает рот, то голос у него тихий и усталый:

— И это твое последнее слово?

— Да.

— Ладно, — говорит он. — Тогда у меня не остается выбора.

С этими словами он снимает с плеча винтовку, открывает магазин, высыпает патроны в грязь и кладет винтовку на землю перед собой.

Поворачивается и идет прочь.

От непопулярности мнений

Норидж, 16 сентября 1919 года

Мы с Мэриан пообедали в пабе «Убийцы» на Тимбер-хилл, за столиком у окна. Инцидент с Леонардом Леггом остался в прошлом, но синяк у меня на скуле все еще напоминал о нем.

— Болит? — спросила Мэриан, когда я осторожно коснулся скулы пальцем.

— Не очень. Завтра, может быть, распухнет.

— Простите меня, — сказала она, стараясь не улыбаться при виде моей несчастной физиономии.

— Вы не виноваты.

— Но все равно ему ничего не светит. Так ему и скажу в следующий раз. Он, наверное, уполз куда-нибудь зализывать раны. Если нам повезет, мы его сегодня больше не увидим.

Я тоже на это надеялся, а пока что занялся едой. По пути сюда мы избегали больных вопросов и вместо этого вели светскую беседу ни о чем. Теперь, под конец обеда, я вспомнил, что не знаю, чем занимается сестра Уилла, живя в Норидже.

— А вам удобно было встретиться со мной в будний день? — спросил я. — Вам не составило труда отпроситься с работы?

Она пожала плечами:

— Это было нетрудно. Я работаю неполный день. И к тому же волонтером, так что приду я на работу или нет — это ни на что не повлияет. Впрочем, нет, я не совсем точно выразилась. Это не повлияет на мое материальное положение, поскольку мне не платят.

— А можно поинтересоваться, чем вы занимаетесь?

Она чуть скривилась, отодвинула тарелку с остатками пирога и потянулась к стакану с водой.

— Я работаю в основном с бывшими фронтовиками, вроде вас. С теми, кто был на войне и кому трудно освоиться с пережитым.

— И это работа на неполный день? — спросил я, слегка улыбаясь.

Она рассмеялась и опустила глаза.

— Ну, пожалуй, нет. По правде сказать, даже если бы я с ними работала круглые сутки и без выходных, это были бы лишь крохи по сравнению с тем, что действительно нужно сделать. Я всего лишь девочка на побегушках у врачей — вот они на самом деле знают, что делают. Моя работа, как говорится, эмоционально изматывает. Но я делаю что могу. Конечно, лучше было бы, если бы я была подготовленным специалистом.

— Вы могли бы выучиться на медсестру.

— Я могла бы выучиться и на доктора, — отпарировала она. — Уж конечно, в этом нет ничего особенно непредставимого?

— Нет, конечно, нет. — Я слегка покраснел. — Я только...

— Я вас дразню, не надо так пугаться. Но если бы я могла вернуться назад на несколько лет, я бы обязательно пошла в медики. Мне хотелось бы изучать работу человеческого мозга.

— Но вы еще молоды. Наверняка еще не поздно. В Лондоне...

— Ну конечно, в Лондоне, — перебила она, негодуя вздымая руки. — Почему это все лондонцы считают Лондон пупом вселенной? К вашему сведению, в Норидже тоже есть больницы. И морально искалеченные мальчики. Притом немало.

— Безусловно. Я, кажется, все время умудряюсь что-нибудь ляпнуть, да?

— Понимаете, Тристан, женщинам приходится очень трудно. — Она подалась вперед через стол. — Возможно, вы это не до конца осознаете. Ведь вы мужчина. Вам гораздо легче жить.

— Вы уверены?

— В чем? Что женщинам жить тяжелее?

— Что мне легко.

Она вздохнула и пожала плечами, словно сбрасывая сказанное со счетов.

— Ну, мы ведь не близко знакомы. Я ничего не могу сказать о ваших конкретных обстоятельствах. Но поверьте, нам приходится гораздо тяжелее.

— Возможно, события последних пяти лет не подтверждают вашу точку зрения.

Настала ее очередь краснеть.

— Вы правы. Но давайте ненадолго забудем про войну и рассмотрим наше положение. В этой стране с женщинами обращаются совершенно невозможным образом. И кстати, вам не приходило в голову, что каждая вторая женщина с радостью сражалась бы в окопах бок о бок с мужчинами, если бы можно было? Я бы сама пошла, не думая ни минуты.

— «Иногда мне кажется, что действия и споры лучше оставить мужчинам».

Она воззрилась на меня; наверное, если бы я вдруг вскочил на стол и грянул «Уложи

беду в заплечный мешок», она и то удивилась бы меньше.

— Прошу прощения? — холодно произнесла она.

— Да нет. — Я расхохотался. — Это не мои слова. Это из «Хауардс Энд». Вы не читали Форстера?

— Нет, — она покачала головой, — и не буду, если он пишет подобную чушь. Судя по всему, от таких, как он, нужно держаться подальше.

— Да, но эту фразу произносит женщина. Миссис Уилкоккс. В своей речи на обеде, устроенном в ее честь. Если я правильно помню, половина слушателей приходит в ужас.

— Тристан, я же вам сказала, что не читаю современных романов. «Действия и споры лучше оставить мужчинам»! Подумать только! Никогда в жизни не слыхала подобного. Эта ваша миссис Уилтон...

— Уилкоккс.

— Уилтон, Уилкоккс, какая разница. Подобными заявлениями она предает всех женщин.

— Тогда вам не понравится и то, что она говорит после этого.

— Выкладывайте. Шокируйте меня.

— Боюсь, я не вспомню дословно. Но что-то вроде: есть очень веские доводы против того, чтобы давать право голоса женщинам. И лично она очень рада, что у нее нет этого права.

— Невероятно. Тристан, я в ужасе. Честное слово, в ужасе.

— Ну, она умирает вскоре после произнесения этой речи, так что уносит свои взгляды с собой в могилу.

— От чего она умирает?

— От непопулярности своих мнений, надо полагать.

— Совсем как мой брат.

Я промолчал, будто не слышал, и она долго смотрела мне в глаза, а потом отвернулась и лицо ее расслабилось.

— А я ведь и сама была суфражисткой, — сказала она чуть погодя.

— Я не удивлен, — улыбнулся я. — Что же вы делали?

— О, ничего особенного. Ходила на марши протеста, рассовывала листовки в почтовые ящики и все такое. Не приковывала себя наручниками к решетке возле Парламента и не скандировала лозунги за равноправие у дома Асквита. Прежде всего, мой отец такого не допустил бы. Нет, он сочувствует борьбе женщин за равноправие, искренне сочувствует. Но в то же время он убежден, что люди не должны ронять свое человеческое достоинство.

— Ну что ж, вы добились своего. Женщинам дали право голоса.

— Нет, Тристан, не дали, — с горечью отозвалась она. — У меня его нету. И не будет до тридцати лет. И потом не будет, если только я не стану домовладелицей. Или не выйду замуж за домовладельца. Или не закончу университет. А вот у вас уже есть право голоса, несмотря на то, что вы моложе меня. Вам это кажется справедливым?

— Конечно, нет. По правде сказать, я рекомендовал к публикации брошюру на эту тему. О несправедливом распределении права голоса. Автор, вы не поверите, мужчина. Он пишет весьма остроумно, и его сочинение вызвало бы фурор, я не сомневаюсь.

— И что, опубликовали вы его?

— Нет, — признался я. — Мистер Пинтон не пожелал братья за эту вещь. Понимаете, у него несколько устарелые взгляды.

— Ну вот видите. У вас права уже есть, а нам наши только предстоит завоевать. Поразительно, как все готовы нестись за море отстаивать права каких-нибудь иностранцев, но в то же время так равнодушны к ущемлению прав своих соотечественников. Но наверное, мне лучше помалкивать об этом. Если я начну распространяться о несправедливостях, принимаемых нами как должное, мы с вами тут до вечера просидим.

— Я не тороплюсь, — заметил я, и она, кажется, оценила это — улыбнулась мне, потянулась через стол и похлопала меня по руке, задержав ладонь на моей явно дольше, чем нужно.

— Что-нибудь не так? — спросила она через несколько секунд.

— Нет, все в порядке, — ответил я, отнимая руку. — А что?

— Вы как-то заметно расстроились.

Я покачал головой и повернулся к окну. Честно говоря, ее касание так сильно напомнило мне Уилла, что я не совладал с собой. Она и внешне его напоминала. Особенно выражениями лица, поворотом головы, улыбкой, внезапными ямочками на щеках. Но я не догадывался, что манера касаться тоже может быть семейной чертой. Или я сам себя обманываю? Приписываю ей несуществующие качества из желания на миг воскресить Уилла и таким образом искупить свою вину?

— Наверное, это приносит вам большое удовлетворение.

— Что именно?

— Помощь солдатам. То, что вы облегчаете чужие страдания.

— Со стороны, пожалуй, так и кажется, — ответила она и задумалась. — Послушайте, я сейчас скажу ужасную вещь, но я очень многих из них ненавижу. Вы понимаете почему? Когда они говорят о пережитом или о фронтовой дружбе, о чувстве локтя, мне хочется заорать. Иногда я не выдерживаю и выхожу из комнаты.

— Но ведь фронтовая дружба действительно была, — запротестовал я. — Почему вы думаете, что нет? И чувство локтя тоже. Настолько вездусущее, что иногда из-за этих локтей становилось трудно дышать.

— И где была ваша фронтовая дружба, когда они так поступили с моим братом? — отрезала она. Глаза ее наполнились яростью — видимо, той же, что по временам заставляла ее выбегать из врачебных кабинетов или больничных палат. — Где она была, когда его поставили к стенке и нацелили на него ружья?

— Не надо! — умоляюще воскликнул я, прикрывая глаза рукой. Я надеялся, что, закрыв их, избавлюсь от неотвязных воспоминаний. — Мэриан, умоляю, не надо!

Я выпалил эти слова залпом, и меня тут же настигла память о чудовищном, невыразимом. Она резала меня как ножом.

— Простите, — тихо сказала Мэриан, явно удивленная моей вспышкой. — Но вы же понимаете, я не могу не видеть, что все это так называемое фронтовое братство пропитано ужасным лицемерием. Впрочем, что сейчас об этом говорить. Я знаю, что вы стояли за него до конца. Я вижу, как вы расстраиваетесь каждый раз, как я упоминаю о его смерти. Конечно, вы ведь были очень близки. Расскажите мне, вы сразу подружились?

— Да, — ответил я, и это воспоминание вызвало у меня улыбку. — Да, я думаю, что нас роднило похожее чувство юмора. И наши койки оказались рядом, так что мы естественным образом стали союзниками.

— Бедняжка вы, — заметила она, тоже улыбаясь.

— Почему?

— Потому что у моего брата была масса достоинств, но чистоплотность к ним не относилась. Помню, я по утрам приходила его будить и чуть не падала в обморок от смрада. Почему это вы, мальчишки, так ужасно воняете?

Я засмеялся.

— Вот уж не отвечу. Нас в казарме было двадцать человек, так что вряд ли там царила особенная чистота. Хотя Левый и Правый, как вы их называете... как он их называл... присматривали за тем, чтобы мы застилали постели и наводили порядок. Но да, мы быстро подружились.

— И как он держался? Тогда, в самом начале. Как вам показалось — он был рад, что попал туда?

— Я полагаю, он не думал об этом в таком ключе, — ответил я, поразмыслив. — Это была просто очередная часть жизни, которую надо прожить. Мне кажется, тем, кто старше, пришлось труднее. Как ни глупо это звучит сегодня, мы думали, что нам предстоит ужасно большое приключение, — во всяком случае, поначалу думали.

— Да, я уже не первый раз слышу именно эти слова. Люди, с которыми я работала, —

те, кто помоложе, — по их словам, они так до конца и не понимали, что их ждет, пока не оказались там.

— Вот именно, совершенно верно, — согласился я. — Нас обучали военному делу, но это почти ничем не отличалось от школьных тренировок по футболу или регби. Должно быть, мы верили, что когда всему научимся, нас отправят на футбольное поле, там мы всласть побегаем и повозимся с противником, а потом пожмем друг другу руки и разбежимся по раздевалкам, к апельсинам и горячим ваннам.

— Но теперь-то вы знаете... — пробормотала она.

— Да.

Подошел помощник бармена и забрал наши грязные тарелки. Мэриан задумчиво постучала пальцем по столу и снова обратилась ко мне:

— Может, пойдем? Здесь ужасно жарко, правда? Можно в обморок упасть.

— Да, — согласился я.

На этот раз по счету платила она. Когда мы вышли на улицу, она куда-то решительно направилась, а я последовал за ней, предполагая, что она знает, куда идет.

— А что, как скоро у него проявились эти наклонности? — на ходу спросила она, и я растерянно уставился на нее.

— Простите?

— У моего брата, — ответила она. — Я не помню, чтобы у него были пацифистские наклонности, пока он жил дома. Если мне не изменяет память, в школе он был ужасным драчуном. Но потом, когда он решил сложить оружие, его письма стали меня пугать — столько в них было гнева и разочарования. Он разочаровался во многих вещах.

— Мне трудно сказать, когда именно это началось, — задумчиво произнес я. — На самом деле, что бы ни говорили газеты и политики, далеко не каждый, кто был там, действительно хотел драться. Все мы располагались в разных точках шкалы — от полных пацифистов до отпетых садистов. Среди нас были кровожадные типы, в которых патриотизм так и бурлил, — дай им волю, они бы и сейчас носились по Европе, убивая немцев. Были и другие — люди, привыкшие анализировать свои поступки. Они выполняли свой долг, делали то, что от них требовалось, но безо всякого удовольствия. Мы с вами уже говорили про Вульфа...

— Про того мальчика, которого убили?

— Ну, может, и так. — Я почему-то не желал уступать в этом. — Как бы то ни было, он, несомненно, повлиял на взгляды Уилла.

— Выходит, с Вульфом он тоже дружил?

— Они не были близкими друзьями. Но Вульф интересовал Уилла, это точно.

— А вас он тоже интересовал?

— Вульф?

— Да.

— Нет, ни в малейшей степени. Если честно, я считал, что он работает на публику. Самый худший вид собирателя перышек.

— Удивительно слышать такое от вас.

— Почему? — Я нахмурился.

— Ну, судя по вашим словам, вы согласны со всеми утверждениями этого Вульфа. Да, я вас сегодня увидела в первый раз, но все равно, по-моему, вы не очень воинственны. Вы даже Леонарду не дали сдачи, когда он вас ударил. Почему же тогда Вульф не интересовал вас так, как моего брата?

— Ну, он... Понимаете, если бы вы его видели...

Я не знал, что сказать. По совести, у меня не было ответа на ее вопрос. Я потер глаза и задумался — действительно ли я верил, что Вульф работает на публику, или же я просто злился на него за то, что он так ладит с Уиллом? Неужели я до такой степени пристрастен? Неужели из-за какой-то ревности я осудил достойного, мыслящего человека?

— Понимаете, возможно, что наши взгляды совпадали, — ответил я наконец. — Но мы

просто не сошлись характерами. Ну и конечно, он умер, был убит, называйте как хотите. И это не могло не подействовать на вашего брата.

— И с этого все началось?

— Да. Но не забывайте, что все это происходило еще в Англии. А кризис наступил только во Франции. Один случай подтолкнул Уилла к тому, чтобы бросить оружие. Впрочем, сейчас, задним числом, мне кажется, что не стоит все объяснять одним этим случаем. Я уверен, что на решение Уилла повлияли и другие события. Каким-то из них я был свидетелем, многим — нет. Думаю, его решение стало плодом длительного непрерывного напряжения сил. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать?

— Отчасти. Только мне кажется, что был какой-то один толчок. Ну, чтобы превратить Уилла в яростного противника войны. Вы упомянули некий инцидент...

— Да, он произошел, когда мы захватили немецкий окоп. Мэриан, это очень неприятная история. Я вовсе не уверен, что вы жаждете ее услышать.

— Расскажите, пожалуйста, — попросила она, заглядывая мне в лицо. — Может быть, она многое объяснит.

— Понимаете, нас было четверо, — начал я. Мне страшно не хотелось рассказывать. — Мы захватили в плен мальчика-немца, он один остался в живых из всего подразделения.

Я поведал ей про Милтона и Этлинга и про то, как Уилл нашел мальчика и привел его к нам. Я ничего не скрыл — ни решимости Уилла отправить мальчика в генштаб как военнопленного, ни того, что мальчик обмочился и Милтон из-за этого слетел с катушек.

— Простите, этот рассказ не для дамских ушей, — извинился я, закончив. — Но вы хотели узнать все как есть.

Она кивнула и отвернулась, расстроенная.

— Как вы думаете, он винил себя?

— За смерть мальчика?

— За убийство мальчика, — поправила она.

— Думаю, все сложнее. Уиллу не в чем было себя упрекнуть. Он не стрелял в мальчика. Наоборот, он сделал все, чтобы спасти его. Я думаю, ему просто была ненавистна сама идея, сама эта кровавая жестокость. Если честно, ему хотелось вышибить Милтону мозги. Он мне признался.

— Но ведь это он нашел мальчика, — не сдавалась она. — Захватил его в плен. Если бы он этого не сделал, ничего бы не случилось.

— Да, но он не мог ожидать таких последствий.

— Я думаю, он винил себя, — уверенно сказала она.

Меня это задело — в конце концов, она там не была и не видела, как все происходило на самом деле. Не видела лица Уилла в момент, когда мозги мальчика брызнули на гимнастерку Этлинга. Мэриан могла судить о происшедшем лишь по моему обрывочному рассказу.

— Да, наверняка так оно и было, — добавила она.

— Нет, Мэриан, дело не в этом, — упорствовал я. — Невозможно все объяснить одним случаем. Это будет чрезмерное упрощение.

— А вы, Тристан? — Она повернулась ко мне и заговорила агрессивней: — Вас разве не расстроило это происшествие?

— Еще как расстроило. Руки чесались взять камень и проломить Милтону башку. Любой нормальный человек на моем месте чувствовал бы то же самое. Мальчик был перепуган до смерти. Свои последние минуты он прожил в состоянии чистого ужаса. Нужно быть садистом, чтобы от такого получать удовольствие. Но понимаете, Мэриан, мы все были напуганы до смерти. Все до единого. Мы были на войне, понимаете?

— Но все равно вы не присоединились к Уиллу. Вы не возненавидели войну, как он. Вы не бросили винтовку. И продолжали воевать.

Я поколебался.

— Наверное, вы правы. Дело в том, что история с мальчиком не подействовала на меня

так сильно, как на вашего брата. Бог весть, как это меня характеризует — значит ли, что я черствый человек, или негуманный, или неспособный на сострадание. Да, я чувствовал, что убийство мальчика несправедливо и ничем не обосновано, но, с другой стороны, там подобное творилось ежедневно. Мне постоянно приходилось смотреть, как люди умирают, притом самой ужасной смертью. Я каждый день и каждую ночь рисковал получить пулю снайпера. Это звучит ужасно, но я позволил себе привыкнуть к беспричинным зверствам. Боже мой, если бы я к ним не привык, я бы никогда не смог... — Я оборвал сам себя и остановился посреди улицы, в ужасе от слов, которые чуть было не произнес.

— Вы бы никогда не смогли... что?

— Ну... продолжать воевать, наверное, — попытался вывернуться я, и она взглянула на меня, прищурившись, словно подозревая, что я совсем не то хотел сказать. Но почему-то допытываться не стала. — Где мы вообще? — спросил я, озираясь. Мы были уже не в центре города, но двигались обратно к Тумлэнду и собору, к местам, с которых начался мой день. — Может, нам пора повернуть?

— Помните, я чуть раньше предупредила, что кое о чем вас попрошу? — тихо произнесла она.

— Да, — ответил я. Она это в самом деле сказала, когда мы выходили из кафе, но я тогда не обратил внимания. — Я за этим и приехал. Если я могу хоть что-то сделать, чтобы вам стало немного легче...

— Я не о себе думаю. О своих родителях.

— Родителях? — переспросил я и, оглядевшись, понял, к чему она клонит. — Вы случайно не здесь где-то живете?

— Дом священника при соборе — прямо вон там. — Она кивнула на поворот в конце улицы, где небольшой проулок кончался тупиком. — В этом доме я выросла. И Уилл тоже. И в нем до сих пор живут мои родители.

Я остановился, словно врезавшись на полном ходу в кирпичную стену. «Моя дочь кое-что организовала», — слова ее отца сегодня утром у могилы медсестры Кэйвелл.

— Простите меня, — я покачал головой, — я не могу.

— Но вы еще даже не знаете, о чем я.

— Вы хотите, чтобы я встретился с вашими родителями. И рассказал им о том, что случилось. Простите, Мэриан. Нет. Это совершенно исключено.

Она уставилась на меня, растерянно сморщив лоб.

— Почему? Вы ведь говорите об этом со мной, так почему не с ними?

— Это совсем другое, — ответил я, хотя и не мог бы сказать, в чем разница. — Вы его сестра. Ваша мать носила его под сердцем. Ваш отец... нет, простите меня, Мэриан. У меня просто не хватит сил. Пожалуйста, уведите меня отсюда. Отпустите меня, я уеду домой. Прошу вас.

Ее лицо смягчилось. Увидев, как я мучаюсь, она положила руки мне на плечи и тихо произнесла:

— Тристан. Вы не представляете, что для меня значит разговор с человеком, который так уважал моего брата. Здешние жители, — она кивком показала в обе стороны улицы, — они вообще о нем не говорят. Они его стыдятся. Если вы встретитесь с моими родителями, им это просто колоссально поможет. Если только они узнают, как хорошо вы относились к Уиллу.

— Прошу вас, не заставляйте меня, — взмолился я. В душе поднималась паника — я понял, что из этой ситуации нет другого выхода, кроме бегства. — Я даже не найду, что им сказать.

— Тогда ничего не говорите. Вам вообще не обязательно говорить об Уилле, если это так тяжело. Но позвольте им увидеть вас, напоить вас чаем, ощутить, что рядом сидит человек, который был другом их сына. Они ведь тоже умерли там, вы понимаете, Тристан? Их поставили к стенке вместе с ним. Подумайте о своей семье, о ваших отце и матери. Если бы, боже сохрани, с вами что-нибудь случилось, — конечно, они нуждались бы в утешении.

Они любят вас не меньше, чем мои родители — Уилла. Ну пожалуйста, совсем ненадолго. Хоть на полчаса. Ну пожалуйста.

Я посмотрел вдоль улицы и понял, что выхода нет. «Давай, — подумал я. — Будь сильным. Перетерпи. Потом сразу уедешь домой. И она так и не узнает всей правды о его смерти».

У меня кружилась голова от ее слов о моих родителях. А что, если бы я в самом деле погиб? Стали бы они переживать? Судя по тому, как мы расстались, — скорее всего, нет. Все, что произошло между Питером и мной... моя дурацкая выходка... ошибка, стоившая мне семьи и дома. Как там выразился отец, выпроваживая меня навсегда? «Для всех для нас будет лучше, если немцы пристрелят тебя на месте».

* * *

Мы с Питером дружили с пеленок. Мы были неразлучной парочкой до того дня, когда в соседний с нами дом, через две двери от дома Питера, въехала семья Картеров. В день приезда они, казалось, пол-улицы загромождали свернутыми коврами и мебелью.

— Привет, ребята, — сказал мистер Картер, автомеханик. Он был жирный, из ушей и из-за ворота слишком тесной рубашки торчали пучки волос. Он сунул в рот недоеденные полбутерброда и принялся наблюдать, как мы пинаем мяч. — Пасуй! — заорал он, игнорируя раздраженные вздохи своей жены. — Пасуй сюда, ребята! Сюда пасуй!

Питер на секунду остановился, оглядел мистера Картера, а затем аккуратно поддал мяч носком ботинка, так что тот взлетел в воздух и с завидной точностью приземлился ему в руки.

— Ради бога, Джек! — раздраженно одернула его миссис Картер.

Он пожал плечами и подошел к жене — такой же расплывшейся, как он. И тут мы узрели Сильвию. Удивительно было думать, что ее произвела на свет эта парочка.

— Она приемная, зуб даю, — шепнул мне на ухо Питер. — Не может быть, что ихняя.

Я не успел ответить — моя мать спустилась по лестнице из нашей квартиры над лавкой. Мать была в лучшем воскресном наряде — должно быть, знала, что сегодня въезжают новые соседи, и выжидала момент — и завела разговор, частью чтобы приветствовать их на нашей улице, частью чтобы выведать их подноготную. Они начали выяснять, для какой из семей большая честь жить рядом с другой, а Сильвия тем временем разглядывала нас с Питером, словно невиданных зверей, каких там, где она прежде жила, не водилось.

— Вижу, недостатка в мясе у меня не будет, — миссис Картер поглядела на нашу витрину, где висела на стальных крюках, зацепленных за шею, парочка кроликов. — Вы всегда их вот так выставляете?

— «Вот так» — это как? — растерялась моя мать.

— На всеобщее обозрение.

Мать нахмурилась, не понимая, как еще мясник может выставлять свой товар, но промолчала.

— Если честно, я лично предпочитаю рыбу, — заявила миссис Картер.

Мне наскучила их беседа, и я потянул Питера обратно в игру, но он вырвался и помотал головой, поддал мяч коленом на весу раз десять, а потом снова уронил. Сильвия молча наблюдала. Потом, словно забыв о нем, поглядела на меня, чуть приподняла уголки губ — намек на улыбку, — но тут же отвернулась и скрылась за парадной дверью, отправившись исследовать свой новый дом.

По мне, на этом про нее можно было забыть.

Но очень скоро она стала существенной частью нашей жизни. Питер явно влюбился в нее по уши, и мне стало очевидно: если я попытаюсь изгнать ее из нашего общества, кончится тем, что меня самого изгонят, а об этом я даже думать боялся.

Но вскоре случилось нечто странное. То ли из-за явного равнодушия Питера к

Сильвии, то ли из-за моего очевидного равнодушия к ней она перенесла свое внимание на меня.

— А Питера не позовем? — спрашивал я, когда Сильвия появлялась на пороге, фонтанируя идеями — куда пойти и как развлечься. Она в ответ мотала головой:

— В другой раз. Он такой нудный, он только все испортит.

Меня страшно бесило, когда она так обижала моего друга. Я бы заступился за него, но, наверное, мне было лестно ее внимание. Она привлекала меня своей необычностью — ведь она выросла где-то в другом месте, не в Чизике, а ее тетя вообще жила в Париже! Кроме того, Сильвия, несомненно, была красива. Все мальчишки хотели с ней дружить; Питер жаждал завоевать ее благосклонность. И все же она решила даровать эту благосклонность мне. Что и говорить, я был польщен.

Питер не мог этого не заметить. Он сходил с ума от ревности, а я терзался, не зная, как поступить. Я понимал: чем дольше я поощряю внимание Сильвии, тем меньше вероятность, что она бросит меня и вернется к моему другу.

Близился мой шестнадцатый день рождения, и я страдал все сильнее. У меня в голове прояснилось — я уже понимал, что именно чувствую к Питеру, и чувства жгли меня еще сильнее оттого, что я никак не мог высказать их или воплотить в жизнь. Я лежал в темноте, сжавшись в комок на кровати и то подхлестывая самые отвратительные фантазии, чтобы скрасить ночные часы, то честно пытаясь отринуть их, боясь того, что они означают. Пришло лето, и мы с Питером все чаще совершали вылазки на Темзу, на острова ниже Кью-Бридж. Я все время затевал ролевые игры, стараясь, чтобы они вели к физическому контакту, но всегда в самый напряженный момент трусил и отыгрывал назад, страшась разоблачения.

Так я и позволил Сильвии поцеловать меня под каштаном, старательно внушая себе, что этот поцелуй для меня желанен.

— Тебе понравилось? — спросила она, отняв губы.

— Очень, — соврал я.

— Хочешь еще?

— Может, потом как-нибудь. А то вдруг увидят.

— Ну если и увидят, так что? Какая разница?

— Может, потом как-нибудь, — повторил я.

Я видел, что она совсем не такого ответа ждала и что мое непоколебимое равнодушие, полнейшая устойчивость к ее чарам разбили ее замыслы в пух и прах. Она лишь кивнула и встряхнула головой, словно раз и навсегда выкинула меня из мыслей.

— Тогда я домой, — сказала она и пошла через поле, одна, а я остался размышлять о своем позоре. Я сразу понял, что навсегда лишился ее благосклонности, но мне было все равно. «Иди-иди, — думал я. — Туда, откуда пришла. И тетку свою парижскую заberi с собой. Главное, оставь нас наконец в покое».

И вдруг, через день или два, Питер явился ко мне сильно взволнованный.

— Тристан, я тебя хочу спросить кое о чем. — Он кусал губу и пытался не прыгать на месте от возбуждения. — Только обещай ответить честно, хорошо?

— Хорошо, — согласился я.

— Это насчет тебя и Сильвии. Между вами ведь ничего нет?

Я вздохнул и покачал головой:

— Конечно, нет. Я тебе уже сто раз говорил.

— Ну, я должен был спросить. — Он расплылся в улыбке, не в силах держать новость при себе. — Ты понимаешь, она и я, мы с ней теперь обручены. Все решено.

Я помню, что стоял рядом со столиком, на котором моя мать каждый вечер до отхода ко сну оставляла кувшин и таз, чтобы я мог умыться утром. Я инстинктивно оперся рукой о столик — у меня подгибались ноги.

— Правда? — спросил я, уставившись на него. — Ну ты везунчик.

Я говорил себе, что это ничего не значит — рано или поздно он обязательно что-нибудь

ляпнет и она обидится и бросит его. Но прекрасно понимал, что это невозможно: надо быть безумцем, чтобы, заручившись любовью Питера, потом отказаться от нее. Нет, она изменит ему, и он бросит ее и вернется ко мне, убедившись, что от девушек одно зло и лучше нам держаться друг за друга.

Конечно, ничего подобного не случилось. У меня перед глазами разворачивался настоящий роман, и мне было больно смотреть. И я совершил великую ошибку, которая в считанные часы привела к моему изгнанию из школы, дома, семьи и единственной жизни, которую я знал.

Был школьный день — четверг, и мы с Питером оказались в классе одни. Редкий случай, так как Сильвия теперь от него почти не отходила, — точнее, он от нее почти не отходил. Он начал рассказывать мне про вчерашний вечер, когда они с Сильвией пошли гулять вдоль реки и вокруг никого не было, так что Сильвия позволила ему положить руку на тонкую хлопчатобумажную ткань ее блузки. «Пощупать», как он выразился.

— Ясное дело, дальше этого она не позволила зайти. Моя Сильвия не такая.

«Моя Сильвия»! Меня чуть не стошнило.

— Но она сказала, что в следующие выходные мы можем опять пойти погулять, если погода будет хорошая и если ей удастся сбежать от мамы — та с нее глаз не спускает.

Он болтал совершенно бездумно, без остановки, изливая неукротимые чувства. Я прекрасно видел, как много значит для него Сильвия. Вдруг, не задумавшись о последствиях, я потянулся к нему, взял его лицо в обе руки и поцеловал в губы.

Это длилось секунду или две, не больше. Он отпрянул в ужасе, задышавшись, и чуть не упал. Я стоял неподвижно. Он уставился на меня в замешательстве, потом брезгливо вытер рот рукой и посмотрел на нее, словно ожидал увидеть пятно. Я сразу понял, как чудовищно ошибся.

— Питер, — произнес я, качая головой, готовый умолять его о прощении, — но поздно, он уже выбежал из класса, грохоча ботинками по коридору, спеша оказаться как можно дальше.

Поразительно: мы дружили с младенчества, но после этого дня я не видел его ни разу. Ни единого разу.

Я не вернулся в класс. Пошел домой, пожаловался матери на расстройство желудка и лег, думая о том, как бы собрать вещи в сумку и сбежать, пока никто не знает, что я сделал. Я лежал на кровати, обливаясь слезами, потом оказался в туалете — меня стошнило от переживаний, от унижения, на лбу выступила испарина. Скорее всего, я был еще в туалете, когда к отцу в лавку явился наш директор — не для того, чтобы купить баранью ногу или свиные отбивные на ужин, но для того, чтобы сообщить моему отцу о выдвинутом против меня обвинении, чудовищном и отвратительном. Директор поставил отца в известность, что больше не намерен видеть меня во вверенном ему учебном заведении и что, будь его воля, он бы судил меня уголовным судом за нарушение общественной пристойности.

Я оставался у себя в комнате, странно спокойный. Я словно вышел из тела и витал где-то в ином измерении, и мое эфирное тело с интересом наблюдало за сидящим на кровати безнадежно растерянным юношей, желая увидеть, что будет дальше.

Меня выгнали из дома в тот же день. Синяки и рубцы, оставленные отцом, сошли недели через три, и шрамы на лице и спине уже не так саднили. Левый глаз приоткрылся, и я начал видеть нормально.

Я не протестовал, когда меня вышвыривали на улицу. В соседнем доме миссис Картер поливала гортензии; она все видела и расстроено покачала головой, словно разочарованная подобным вульгарным окружением; она, безусловно, была предназначена судьбой для совсем иной, высшей среды.

— Тристан, ты как, ничего? — спросила она.

* * *

Дом священника был так живописен, словно сошел с открытки. Он стоял в конце небольшого тупичка, и к нему вела дорожка, усаженная деревьями, только начавшими облетать. Пространство меж окнами заплел пышный темно-зеленый плющ. Я взглянул на идеально ухоженную лужайку, ряд декоративных папоротников и ярких сезонных цветов рядом с угловым садом камней. Картина была идиллическая — разительный контраст с крохотной квартиркой над лавкой мясника, где я прожил свои первые шестнадцать лет.

В прихожей к нам подбежала маленькая жизнерадостная собачка и вопросительно взглянула на меня; я нагнулся ее погладить, и она тут же встала на задние лапки, оперлась передними о мои ноги и радостно приняла все мои поглаживания и ласки, экстатически виляя хвостом.

— Бобби, отстань, — сказала Мэриан, прогоняя собачку. — Тристан, я надеюсь, вы не боитесь собак? Леонард их на дух не переносит.

Меня это слегка насмешило — разве такая собачка может напугать?

— Нимало, — ответил я. — Хотя у нас в семье никогда собак не держали. Какая это порода — спаниель?

— Да, кинг-чарльз-спаниель. Он уже немолод, ему почти девять лет.

— Он принадлежал Уиллу? — спросил я, удивленный, что ни разу не слышал о собаке. Там мне попадались люди, которые своих собак вспоминали с большей любовью, чем родных.

— Нет, не то чтобы. Если он вообще чей-то, то мамин. Не обращайтесь на него внимания, и он в конце концов оставит вас в покое. Пойдемте в парадную гостиную. Я скажу маме, что вы здесь.

Мэриан открыла дверь в красиво обставленную гостиную. Я вошел в сопровождении Бобби и огляделся. Обстановка была богатая, как я и ожидал. Упругость диванов намекала на то, что этой комнатой пользуются редко — она предназначена для особых гостей, к числу которых, видимо, относился и я. Я посмотрел вниз, на песика, обнюхивающего мои лодыжки. Как только я встретился с ним глазами, он тут же перестал нюхать, уселся и воззрился на меня, очевидно пытаясь решить, одобряет он меня или нет. Затем склонил голову налево, словно принял решение, и возобновил попытки забраться вверх по моей ноге.

— Мистер Сэдлер! — воскликнула миссис Бэнкрофт, входя. На щеках у нее играл легкий румянец. — Спасибо, что решили нас навестить. Бобби, сидеть.

— Я очень благодарен вам за приглашение, — соврал я, улыбаясь ей и с облегчением видя, что сразу за матерью вошла Мэриан — с чайником в руках. Опять чай.

— К сожалению, мой муж еще не вернулся. Он обещал к нам присоединиться, но его иногда задерживают приходские дела. Я знаю, что он очень хочет с вами встретиться.

— Ничего-ничего, — успокоил ее я.

Мэриан расставляла на столике изящные фарфоровые чашки с пугающе тоненькими ручками. Когда вошла мать Уилла, мой указательный палец снова начал неуправляемо дергаться, и я боялся, что, начни я пить из такой чашки, весь чай в конце концов окажется у меня на одежде.

— Я уверена, он скоро будет, — пробормотала мать Уилла, кидая взгляд в окно, словно это могло ускорить появление мужа. Миссис Бэнкрофт была привлекательной женщиной лет пятидесяти с небольшим, собранной, элегантной, со светской выправкой. — Надеюсь, вы хорошо провели день, — произнесла она наконец, словно я зашел с обычным светским визитом.

— Да, очень хорошо, спасибо. Мэриан показала мне город.

— Боюсь, у нас почти нечего смотреть. Конечно, лондонцу в Норидже будет скучно.

— Вовсе нет, — заверил я, а Мэриан в соседнем кресле громко, раздраженно вздохнула.

— Мама, почему обязательно надо что-нибудь такое сказать? Неужели мы обязаны считать себя хуже других людей только потому, что они живут в ста милях отсюда?

Миссис Бэнкрофт посмотрела на нее, а потом улыбнулась мне:

— Пожалуйста, извините мою дочь. Она иногда начинает волноваться из-за полнейших пустяков.

— Я вовсе не волнуюсь, — возразила Мэриан. — Просто... ладно, это неважно. Меня раздражают подобные разговоры. Почему надо все время себя принижать? — В Мэриан сейчас появилось что-то от недовольного подростка, не свойственное самостоятельной молодой женщине, с которой я провел почти весь день.

Над буфетом висели разновозрастные портреты Уилла. На первом снимке задорно улыбался маленький мальчик в футбольной форме, на втором — мальчик постарше оборачивался к объективу, словно его застали врасплох. А на третьем он шел прочь, заложив руки в карманы и низко склонив голову, — лица было не видно.

— Хотите посмотреть поближе? — спросила миссис Бэнкрофт, заметив мой интерес.

Я кивнул, подошел к буфету и стал снимать каждую фотографию по очереди, разглядывая ее и изо всех сил удерживаясь, чтобы не обвести пальцем контуры его лица.

— Я вижу, у вас нет его фотографий в форме.

— Нет. У меня была одна. Ее сделали в тот день, когда он завербовался. Мы тогда ужасно гордились — нам казалось, что это достойный поступок. Но я ее убрала. Понимаете, я не хочу напоминаний об этой части его жизни. Та фотография где-то лежит, но...

Она замолчала, и я не стал спрашивать. Я подумал, что вообще зря заговорил на эту тему. Тут я заметил другую фотографию, на которой был мужчина в форме — но не такой, какую довелось поносить мне и Уиллу. Лицо на фотографии было безмятежным, словно изображенный на ней человек смирился с тем, что готовит ему судьба. Помимо этого, лицо украшали невероятные усы.

— Это мой отец. — Миссис Бэнкрофт взяла картину с буфета и посмотрела на нее, слабо улыбаясь. Другой рукой она, сама того не осознавая, мимолетно погладила мою руку, и это прикосновение меня утешило. — Ни Мэриан, ни Уильям его никогда не видели. Он пал на Трансваальской войне¹⁶.

Я кивнул. Мои родители часто рассказывали об Англо-бурской войне и предшествующей ей Трансваальской; оба конфликта были еще живы в памяти их поколения. У каждого был дедушка или дядя, который сражался при Ледисмите или Мафекинге, сложил голову на склонах Драконовых гор или встретил ужасный конец в грязных водах реки Моддер. Буры в этих разговорах упоминались как народ, который попросту не покорился захватчикам из другого полушария, последний великий враг британской нации, а бурская война — как последняя великая битва. В этом была горькая ирония.

— Я едва знала отца, — тихо проговорила миссис Бэнкрофт. — Ему было всего двадцать три года, когда он погиб, а мне — только три. Они с матерью поженились молодыми. У меня осталось очень мало воспоминаний о нем, но все они — счастливые.

— Интересно, почему эти чертовы войны забирают всех мужчин из нашей семьи, — пробормотала Мэриан из кресла.

— Мэриан! — вскричала миссис Бэнкрофт и быстро взглянула на меня, словно я мог обидеться.

— А что, это разве неправда? И не только мужчин. Мою бабушку — мать моей матери — тоже убили в Трансваале.

Я поднял бровь, уверенный, что она что-то путает.

— Мэриан, не говори глупостей, — сказала миссис Бэнкрофт, ставя фотографию на место и обеспокоенно глядя на меня. — Понимаете, мистер Сэдлер, моя дочь очень эмансипированная, а я не уверена, что это хорошо. Лично у меня никогда не было желания стать эмансипированной.

Я снова вспомнил миссис Уилкоккс и ее позор на обеде у Маргарет Шлегель.

¹⁶ Трансваальская война, также известная как Первая англо-бурская война (1880–1881), — колониальная война Британии против Трансвааля.

— Ну хорошо, не совсем так, — чуточку уступила Мэриан. — Но она не пережила смерти деда.

— Мэриан, хватит! — отрезала миссис Бэнкрофт.

— Почему это? Нам нечего скрывать. Понимаете, Тристан, моя бабушка не могла жить без деда и покончила с собой.

Я отвернулся, думая, что вполне мог бы обойтись без ее признаний.

— У нас в семье об этом не говорят, — произнесла миссис Бэнкрофт — уже не сердито, а скорее горестно. — Моя мать была очень молода, когда его убили. И ей было всего девятнадцать, когда родилась я. Наверное, она просто не вынесла груза ответственности и горя. Я ее не виню за это, ни в коей мере. Я стараюсь ее понять.

— Но вам не за что ее винить, миссис Бэнкрофт. Когда подобное случается, это трагедия. Такие поступки не совершаются по прихоти; они продиктованы болезнью.

— Вероятно, вы правы. Но в то время это был великий позор для нашей семьи, черное пятно. Ужасная ирония — после того, как мой отец стяжал такую славу своими подвигами на поле боя.

— Тристан, согласитесь, забавно, что мы считаем смерть солдата поводом для гордости, а не позором нации. Можно подумать, Британия имела какое-то право на Трансвааль.

— Мой отец выполнил свой долг, вот и все, — отрезала миссис Бэнкрофт.

— И был за это щедро вознагражден, — заметила Мэриан; она встала, подошла к окну и уставилась на аккуратные ряды георгин и хризантем, посаженные, без сомнения, рукой ее матери.

Я снова сел, жалея, что позволил себя сюда привести. Я будто вышел на сцену посреди пьесы, персонажи которой ссорятся между собой уже несколько лет, но лишь теперь, с моим появлением, получили возможность достичь развязки.

Парадная дверь открылась и закрылась. Собачка тут же наострила уши, чувствуя приближение кого-то из своих, а мне показалось, что пришедший стоит за дверью и колеблется, не решаясь войти.

— Мистер Сэдлер, — сказал преподобный Бэнкрофт, появляясь на пороге гостиной. Он взял мою руку в свои и удержал, глядя мне прямо в глаза. — Мы так рады, что вы выбрали нас навестить.

— Боюсь, я недолго у вас пробуду. — Я прекрасно понимал, как грубо это звучит, но мне было все равно. Я уже по горло был сыт Нориджем, и мне не терпелось добраться до вокзала, до Лондона, до уединения своей квартирки.

— Да, простите меня, — он взглянул на часы, — я собирался быть дома еще до четырех, но меня задержали приходские дела, и я забыл о времени. Надеюсь, моя жена и дочь вас развлекали?

— Он сюда не для развлечения приехал. — Мэриан стояла у двери со скрещенными на груди руками. — И я не думаю, что наши разговоры его сильно развеселили.

— Я как раз собиралась спросить мистера Сэдлера о письмах, — вспомнила миссис Бэнкрофт, и мы все повернулись к ней. — Моя дочь говорила, что у вас есть кое-какие письма.

Я кивнул, благодарный ей за перемену темы.

— Да. — Я полез в карман. — Мэриан, я давно должен был их вам отдать. В конце концов, я для этого приехал.

Я положил письма на стол перед собой. Мэриан уставилась на них — пачка конвертов была перевязана красной ленточкой, и на верхнем виднелся аккуратный почерк самой Мэриан. Но она не шагнула к ним. Ее мать тоже не торопилась брать письма в руки — она только сидела и смотрела на них, словно это были бомбы, готовые взорваться при неосторожном обращении.

— Извините, я сейчас. — Мэриан вдруг выбежала из комнаты, пряча лицо. Бобби помчался за ней, предвкушая приключение. Родители смотрели дочери вслед со стоическим

скорбными лицами.

— Наша дочь по временам бывает немного резкой, мистер Сэдлер, — объяснила миссис Бэнкрофт, виновато глядя на меня. — Особенно в моем присутствии. Но она очень любила брата. Они всегда были близки. Его смерть на нее очень повлияла.

— Я вовсе не считаю, что она резка, — ответил я. — Конечно, я знаком с ней лишь несколько часов, но все же я полностью понимаю ее боль и скорбь.

— Ей было очень трудно, — продолжала миссис Бэнкрофт. — Да, нам всем было трудно, но каждый борется с трудностями по-своему, правда? Моя дочь очень бурно выражает свои эмоции, в то время как я предпочитаю их не демонстрировать. Не берусь судить, хорошо это или плохо, но меня так воспитали. Понимаете, меня взял к себе дедушка. После смерти родителей. Он был вдовец, единственный оставшийся у меня родственник. Но эмоциональным он не был, в этом его никто бы не обвинил. Надо полагать, он и меня воспитал в том же духе. Мой муж, с другой стороны, умеет открыто выражать свои чувства. Это его качество меня восхищает. Я многие годы пытаюсь научиться этому у него, но безуспешно. Думаю, взрослые люди формируются в детстве, и этого не обойти. Вы согласны?

— Возможно, — сказал я. — Но мы можем с этим воевать, верно? Можем пытаться изменить себя.

— А с чем же воюете вы, мистер Сэдлер? — спросил ее муж, снимая очки и вытирая линзы платком.

Я со вздохом отвернулся:

— Правду сказать, я устал воевать. О, если бы я только мог больше никогда этого не делать.

— Но вам больше и не придется. — Миссис Бэнкрофт непонимающе нахмурилась. — Война ведь кончилась.

— Думаю, скоро начнется другая. Обычно только так и бывает.

Она не ответила, но потянулась вперед и взяла мою руку в свои.

— Наш сын рвался на войну. Может быть, я зря всю жизнь держала портрет его деда на самом видном месте.

— Нет, Джулия, — покачал головой преподобный Бэнкрофт. — Ты же всегда гордилась тем, что твой отец положил жизнь на алтарь отечества.

— Да, да, но Уильяма всегда завораживала его история, в этом все дело. Он задавал вопросы, стремился больше знать про деда. Я, конечно, рассказала ему все, что могла, но я на самом деле знала очень мало. Я и до сих пор знаю очень мало. Но иногда я думаю, что это я виновата — в том, что Уильям так вот завербовался. Он ведь мог и подождать. Пока его призовут.

— Это все равно был бы лишь вопрос времени, — сказал я. — Никакой разницы.

— Но он попал бы в другой полк, — не сдавалась она. — Оказался бы там в другой день. Течение его жизни изменилось бы. И может быть, он остался бы жив. Как вы.

Я отнял руку и отвернулся. В этих двух словах было обвинение — и они ударили меня в самую душу.

— Мистер Сэдлер, так вы хорошо знали нашего сына? — спросил преподобный Бэнкрофт немного погодя.

— Да, сэр, — ответил я.

— Вы были друзьями?

— Добрыми друзьями. Мы вместе были в учебном лагере в Олдершоте, а потом...

— Да, да, — быстро прервал он, отмахиваясь от моих слов. — Скажите, мистер Сэдлер, у вас есть дети?

— Нет, — я покачал головой, слегка удивленный таким вопросом. — Нет, я не женат.

— А собираетесь иметь детей? Ну, когда-нибудь.

— Ну... — я пожал плечами, избегая его взгляда, — как-то об этом не думал.

— У мужчины должны быть дети, — настаивал он. — Нас привели в этот мир, чтобы

мы плодились и размножались, поддерживая человеческий род.

— На это есть много желающих, — легкомысленно ответил я. — Они стараются и за себя, и за нас, любителей прятаться за чужие спины.

Преподобный Бэнкрофт нахмурился: я видел, что ему не понравилась легкость моего тона.

— Значит, вот вы кто, мистер Сэдлер? Любитель прятаться за чужие спины?

— Не думаю. Я воевал не хуже других.

— Конечно, — он кивнул. — И вернулись домой целый и невредимый.

— Да, меня не убили, но это не значит, что я не воевал. — Меня разозлил его намек. — Мы все воевали. Мы были в ужасных местах. Видели чудовищные вещи. Их невозможно забыть. А что мы сделали — думаю, излишне напоминать.

— Но скажите, — он подался вперед, — вам известно, где я был сегодня во второй половине дня и почему я опоздал?

Я покачал головой.

— Мне показалось, вы слышали наш разговор. Сегодня утром, у собора.

Я слегка покраснел и опустил голову.

— Значит, вы меня узнали. Я думал — узнаете или нет.

— Да, конечно, сразу. Если начистоту, я уже утром, после вашего бегства, не сомневался, кто вы такой. Дочь заранее предупредила меня о вашем приезде. Так что ваш образ не шел у меня из головы. К тому же вы — ровесник Уильяма. И я не сомневался, что вы — ветеран войны.

— Неужели это так очевидно?

— У вас такой вид, словно вы подозреваете, что вернулись в какой-то другой мир — не в тот, из которого уходили. Я видел такие лица у молодых людей, своих прихожан, — у тех, кто вернулся оттуда, с кем работает Мэриан. Я выступаю для них кем-то вроде советника. Не только в духовных делах. Они приходят ко мне, желая обрести хоть какой-то душевный мир, но, боюсь, я не в силах им помочь. Иногда мне кажется, многие из них почти уверены, что умерли и остались там, а это все — лишь странный сон. Или чистилище. Или даже ад. Что скажете, мистер Сэдлер, вы бы с этим согласились?

— Да, в этом что-то есть.

— Я сам никогда не воевал, — продолжал он. — Я ничего не знаю о войне. Я вел мирное существование в лоне Церкви и в кругу семьи. Мы привыкли, что старики смотрят на молодежь снисходительно, потому что та не видела жизни, но сейчас мир как будто перекосялся. Это ваше поколение, а не мое прочувствовало на себе всю глубину людской жестокости. Это мальчикам вроде вас теперь приходится жить с тем, что вы видели и делали. Вы несете на себе всю тяжесть. А нам, старикам, осталось лишь смотреть на вас и дивиться.

— Вы собирались рассказать мне, где были сегодня после обеда.

— С прихожанами, — он горько улыбался. — Понимаете, группа наших прихожан собирается воздвигнуть памятник. Всем жителям Нориджа, погибшим на войне. Большую каменную скульптуру со списком всех мальчиков, отдавших свою жизнь. Вы наверняка слышали о чем-то таком — это сейчас происходит по всей Англии.

— Конечно, — сказал я.

— И обычно это организуется через церковь. Приходской совет руководит мероприятиями по сбору средств. Мы заказываем скульптору эскизы, выбираем один, составляем списки погибших, а потом где-нибудь в мастерской человек с молотком и зубилом в руках садится на табуретку у большого камня и принимается увековечивать имена мальчиков, которых мы потеряли. Сегодня этот список окончательно утверждался. И я, как настоятель, обязан был присутствовать.

— А... — Я начинал понимать.

— Вы можете себе представить, каково мне было? — спросил он. Глаза его наполнились слезами.

— Нет, конечно, — ответил я.

— Каково человеку, когда ему говорят, что имя его сына, отдавшего жизнь за свою страну, недостойно места на памятнике, потому что этот сын — трус, предатель и не патриот? Каково слышать такие слова про мальчика, которого ты растил, сажал к себе на плечи на футбольных матчах, кормил, купал, платил за его школу? Это чудовищно, мистер Сэдлер, я не подберу другого слова. Чудовищно.

— Я вам очень сочувствую. — Я ощущал все бессилие своих слов.

— А мне-то что от вашего сочувствия? Разве оно воскресит моего сына? Имя на камне ничего не изменит, но все же значит хоть что-то. Вы понимаете, о чем я?

— Да, понимаю. Вам очень тяжело.

— Нас поддерживает вера, — сказала миссис Бэнкрофт, и муж бросил на нее пронзительный взгляд, словно был не совсем убежден в правоте ее слов.

— Боюсь, на этот счет у меня нет никакого мнения, — ответил я.

— Вы не веруете, мистер Сэдлер? — спросил священник.

— Нет. Если честно, то нет.

— Я вижу, что после войны молодые люди либо приходят к Богу, либо полностью отворачиваются от него. Я в растерянности. Я хочу сказать, что не понимаю, как их вести. И чувствую, что отстал от века.

— Трудно ли быть священником? — спросил я.

— Думаю, это не трудней любого другого ремесла. Бывают дни, когда знаешь, что приносишь пользу. А в другие дни чувствуешь свою полнейшую бесполезность для человечества.

— А в прощение вы верите?

— Я верю, что мы должны искать прощения. И что мы должны прощать. А вы нуждаетесь в прощении, мистер Сэдлер? За что именно?

Я покачал головой и отвернулся. Я подумал, что мог бы провести в этом доме всю оставшуюся жизнь, но так и не набраться храбрости посмотреть в глаза его хозяевам.

— Простите, но я так и не понял, зачем Мэриан вас привела, — продолжал священник, когда стало ясно, что я не отвечаю. — А вы?

— Я даже не знал о ее намерении, — ответил я. — Пока мы не оказались на улице рядом с вашим домом. Надо полагать, ей казалось, что это удачная затея.

— Для кого? Прошу вас, мистер Сэдлер, поймите меня правильно. Мы рады видеть вас, но ведь вы все равно не воскресите нашего сына, так? Более того, вы — лишнее напоминание о том, что случилось там, во Франции.

Я кивнул, признавая правоту его слов.

— Но есть люди — в том числе наша дочь, — которые никак не могут оставить прошлое в покое, им нужно все раскопать и найти причины, почему события сложились так, а не иначе. Я не принадлежу к числу этих людей, и моя жена, насколько мне известно, тоже. Даже если знаешь причины и предпосылки, это не меняет абсолютно ничего. Может быть, мы просто ищем виноватого. По крайней мере...

Он на миг замолчал и улыбнулся мне:

— Я рад, что вы остались в живых, мистер Сэдлер. Честное слово. Вы, кажется, достойный молодой человек. Ваши родители, должно быть, счастливы, что вы вернулись.

— Не уверен, — ответил я, пожав плечами.

Мои слова поразили его жену больше, чем все, что я сказал до этого.

— Что это значит? — спросила она, подняв на меня взгляд.

— Мы с ними не близки, — объяснил я, жалея, что вообще задел эту тему. — Неважно. Я предпочитаю не обсуждать...

— Но это нелепо, мистер Сэдлер! — воскликнула она, встала и гневно посмотрела на меня, упревая руки в бока — словно мои слова ее рассердили и огорчили.

— Это происходит не по моему выбору.

— Но они знают, что у вас все хорошо? Что вы живы?

— Думаю, да. Я им писал. Но ни разу не получил ответа.

У нее на лице отразилась подлинная ярость.

— Иногда я вообще не понимаю этой жизни, мистер Сэдлер. — Ее голос едва заметно прерывался. — У ваших родителей есть сын, он жив, но они не желают его видеть. У меня есть сын, которого я жажду увидеть, но он мертв. Что это за люди? Люди они вообще или чудовища?

* * *

Всю последнюю неделю до отъезда в Олдершот я пытался решить, следует ли мне повидаться с семьей. Было вполне вероятно, что я погибну там, и даже при том, что я никак не общался со своими родными уже полтора года, я думал, что раз такое дело, то, может быть, они захотят со мной помириться. И я поехал. В последний день перед отправкой — была среда, и дул пронизывающий холодный ветер — я вышел на станции Кью-Бридж и зашагал по направлению к Хай-стрит в Чизике.

Все улицы для меня слились в одну, равно знакомую и далекую, словно я видел это место давным-давно, во сне, но теперь мне позволили один-единственный раз увидеть его наяву. Я был странно спокоен — я объяснил это для себя тем, что мое детство было в основном счастливым. Да, отец был часто груб и жесток со мной, но в этом не было ничего необычного: отцы моих друзей мало чем от него отличались. А мать была всегда ко мне добра, хоть и держалась отстраненно. Меня тянуло с ней повидаться. Я был уверен, что она отказывается от встреч и не отвечает на мои письма только по настоянию отца, который приказал полностью оборвать всякие связи со мной.

Но чем ближе я подходил, тем больше трусил. Вот уже показался ряд магазинов, в конце которого располагалась лавка моего отца. За ними шел ряд домов, где когда-то жили Питер и Сильвия. Увидев вдали окна родительского дома, я вдруг утратил решимость, присел на лавочку и вытащил из кармана сигарету, пытаюсь набраться куража.

Я поглядел на часы и задумался — может, бросить все это дело как заведомо безнадежное и сесть на следующий же автобус, чтобы вернуться к уединению своей квартирки в Хайгейте. Одинокий ужин и ночной сон, прежде чем поезд унесет меня к солдатской жизни. Я уже почти решился — даже встал и повернул обратно к вокзалу, — но тут же налетел на какого-то прохожего, который от неожиданности уронил корзинку с покупками.

— Извините, пожалуйста. — Я бросился подбирать яблоки, бутылку молока и коробку с яйцами. К счастью, ничего не разбилось. — Я не смотрел, куда иду.

Я понял, что собеседник не отвечает, поднял взгляд и оторопел.

— Сильвия, — сказал я.

— Тристан? — ответила она, вглядываясь в мое лицо. — Не может быть.

Я пожал плечами, как бы говоря, что может. Сильвия на миг отвернулась, ставя корзинку на ближайшую скамью. Она кусала губу и немного покраснелась — то ли в смущении, то ли в растерянности. Я не испытывал никакого смущения, несмотря на все, что ей было известно обо мне.

— Я рад тебя видеть, — сказал я наконец.

— И я тебя, — она неловко протянула мне руку. Я пожал ее. — Ты совсем не изменился.

— Надеюсь, это неправда. Ты меня не видела полтора года.

— Неужели столько времени прошло?

— Да, — ответил я, разглядывая ее и замечая новое.

Красавица — в семнадцать она стала еще красивее, чем была в пятнадцать. Но этого следовало ожидать. Волосы яркого, солнечного оттенка свободно лежали по плечам. Она была стройна и одета со вкусом. Ярко-красная губная помада придавала ей экзотический вид. Интересно, где она ее покупает, — ребята, с которыми я работал на стройке, вечно жаловались, что не могут достать чулки или помаду для своих девушек. Это была редкая

роскошь.

— Вот неудобно получилось, правда? — начала она после паузы, и я восхитился ее откровенностью.

— Да, есть такое дело.

— А тебе когда-нибудь хочется, чтобы земля разверзлась и проглотила тебя целиком?

— Иногда, — признался я. — Но в последнее время не так часто.

Она обдумала мои слова — возможно, не очень понимая, что я имел в виду. Я и сам не до конца понимал.

— Как живешь вообще? Выглядишь ты хорошо.

— Да помаленьку. А ты?

— Я работаю на фабрике, ты можешь в это поверить? — Она скорчила гримаску. — Ты мог вообразить, что я окончу свои дни фабричной работницей?

— Ты пока еще никак не окончила свои дни. Нам только по семнадцать лет.

— Там просто ужасно. Но я решила, что должна принести хоть какую-то пользу.

— Да, — согласился я.

— А ты? — осторожно спросила она. — Ты еще не...

— Завтра утром. Рано утром. Олдершот.

— О, я знаю нескольких ребят, которые там были. Они говорят, что там на самом деле не так уж и плохо.

— Еще немного — и я сам выясню, каково там, — сказал я, уже гадая, сколько протянется этот разговор. Слова давались мне с трудом и звучали фальшиво. Я подозревал, что нам обоим хотелось бы отбросить осторожность и говорить друг с другом искренне.

— Ты, наверное, приехал повидаться с родными?

— Да, решил, что неплохо будет увидеть их перед отъездом. В конце концов, может, это в последний раз.

— Тристан, не говори так. — Она протянула руку и коснулась моего предплечья. — А то сглазишь. Та к можно накликасть беду.

— Извини. Я только хотел сказать, я решил, что это будет правильно — повидаться с ними. Ведь прошло уже... впрочем, я это уже говорил.

Она заметно смутилась.

— Может, присядем на минуту? — Она показала взглядом на скамью, я пожал плечами, и мы сели. — Я все собиралась тебе написать. Ну, не с самого начала. А потом. Когда поняла, как гадко мы все с тобой поступили.

— Ну ты-то уж точно не виновата.

— Нет, но и без меня не обошлось. Помнишь, как мы поцеловались? Под каштаном?

— Ясно, как вчера, — ответил я, слегка улыбаясь. Я чуть не засмеялся от воспоминания. — Мы были совсем дети.

— Может быть. — Она улыбнулась в ответ. — Но я была в тебя до смерти влюблена.

— Правда?

— Еще как. Я очень долго вообще ни о чем другом думать не могла.

Мне было очень странно слышать ее слова.

— Меня всегда удивляло, что из нас двоих ты предпочла меня.

— С какой стати? Ну да, он был очень милый, очень мне нравился, но я ходила с ним только потому, что ты меня отверг. Теперь кажется, что все это было ужасно глупо, правда? Та к банально. То, как мы себя вели. Но тогда все это казалось таким важным. Наверное, мы просто выросли.

— Да, — я все еще удивлялся и не понимал, как вообще можно предпочесть меня Питеру. — А Питер? Он еще...

— О нет. Он ушел месяцев восемь назад. Он во флоте, ты разве не слышал? Я иногда вижу его мать, и она мне рассказывает, что у него все хорошо. Да, тут теперь остались одни девушки. Ужас просто. Если бы ты не уехал, мог бы любую выбрать, только помани.

Я видел, что она мгновенно пожалела об этих словах, — стоило им вылететь, как она

сильно покраснела и отвернулась, не зная, как спасти положение. Мне тоже стало неловко, и я отвел взгляд.

— Я должна спросить, — наконец отважилась она. — Вся эта история. С тобой и Питером. Это ведь не то, что все говорят, правда же?

— Ну... А что они говорят?

— Питер... ну, он мне кое-что рассказал. Что ты кое-что сделал. Я ему сразу ответила, что он спутал, что такого не может быть, но он настаивал, что...

— Он все правильно понял, — тихо произнес я.

— Ох. Ясно.

Я не знал, как объяснять, и даже не был уверен, что хочу или могу объяснить. Но вдруг, обуреваемый желанием высказаться, повернулся к ней:

— Понимаешь, Питер тут ни при чем. Он и не мог ответить мне взаимностью. Но это всегда было во мне. Со мной всегда что-то было не так в этом смысле.

— Что-то не так? Вот, значит, как ты на это смотришь?

— Конечно, — ответил я, словно это была самая очевидная вещь на свете. — А разве нет?

— Не знаю. Я не уверена, что это так уж важно. Я сама недавно влюбилась в совершенно неподходящего человека. Он получил что хотел и тут же бросил меня. Сказал, что я — неподходящий материал для жены. Уж не знаю, что это значит.

Я тихо засмеялся.

— Извини. Значит, вы с Питером...

— Нет-нет, — она помотала головой, — нет, у нас с ним все кончилось едва ли не сразу после твоего отъезда. Он был лишь жалкой заменой, если честно. Как только ты уехал, мне стало незачем с ним гулять. Я с ним связалась только для того, чтобы свести тебя с ума от ревности, и очень мне это помогло, ничего не скажешь.

— Сильвия, ты меня поражаешь. Как ты можешь такое говорить?

— Просто у тебя в голове не укладывается, что далеко не все считают Питера пупом земли. Если вдуматься, он просто эгоист. И к тому же злобный. Вы были такими близкими друзьями, но как только он понял, как ты... что ты на самом деле чувствуешь, он тут же тебя бросил, как горячую картошку. После стольких лет дружбы. Гадко.

Я молчал. У меня еще сохранялись какие-то чувства к Питеру, но, по крайней мере, теперь я понимал, что они собой представляли. Детская влюбленность. Но все же мне было чрезвычайно неприятно так о нем думать. Мне хотелось верить, что он по-прежнему мой друг, где-то там, в большом мире, и если мы встретимся снова, как я надеялся, то прошлая вражда будет забыта. Но мы так и не встретились.

— В общем, он это плохо перенес. Несколько месяцев таскался за мной, пока мой отец его не отвадил. После этого он перестал со мной разговаривать. Мы повидались прямо перед его уходом и поговорили нормально, но все же это было не то. Беда в том, что у нас троих так ничего и не сложилось. Он любил меня, но я не отвечала взаимностью. Я любила тебя, но тебя это не интересовало. А ты...

— Да, я, — ответил я, отворачиваясь.

— У тебя кто-нибудь есть? — спросила она, и я снова взглянул на нее, удивленный такой смелостью. Кажется, ни один человек, кроме нее, не мог бы задать такого ошеломляющего вопроса.

— Нет, — быстро ответил я. — Конечно, нет.

— Почему «конечно»?

— Сильвия, я тебя умоляю. Разве у меня может кто-то быть? Моя судьба — оставаться одному.

— Тристан, но ты же не можешь этого знать. И никогда не говори так. Кто-нибудь появится в твоей жизни, и...

Я вскочил и дохнул на сжатые кулаки — у меня замерзли руки, пока мы сидели на скамейке. Мне надоел этот разговор. И было неприятно ее покровительственное отношение.

— Мне пора идти, — сказал я.
— Да-да. Надеюсь, я тебя не расстроила.
— Нет. Но мне надо в лавку, а потом обратно домой. У меня еще куча дел перед завтрашним отъездом.

— Ну хорошо. — Она подалась ко мне и легко поцеловала в щеку. — Береги себя. И останься в живых, понял?

Я улыбнулся и кивнул. Мне понравилась ее формулировка. Я повернул голову и посмотрел вдоль улицы, в сторону отцовской лавки, — оттуда как раз выходил знакомый мне человек, давний постоянный покупатель, со свертком под мышкой.

— Ладно. Пойду искать вчерашний день. Надеюсь хотя бы, что они все трое будут рады меня видеть.

При этих словах на ее лицо словно набежала туча, на нем отразилось замешательство, потом осознание и, наконец, — ужас. Я смотрел на нее, и улыбка сходила с моего лица.

— Что такое? В чем дело?

— «Все трое»? — эхом отозвалась она. — Ох, Тристан!

Она вдруг снова притянула меня к себе, навевая воспоминания о том дне, когда она поцеловала меня под каштаном, а я притворился, что люблю ее.

* * *

Покупателей в лавке не было, и за прилавком — тоже никого. По-хорошему, мой желудок сейчас должен был завязываться в узел, но на самом деле я ничего не чувствовал. Может быть, смутно ощущал, что освободился, да и то вряд ли. Привычная кислая смесь запахов мяса и дезинфекции словно вернула меня в детство. Закрыв глаза, я снова чувствовал себя мальчиком, который утром в понедельник бежал по задней лестнице в холодную — в это время мистер Гарднер привозил туши, которые мой отец разделял и продавал покупателям всю неделю. У него не пропадал ни один кусок, и он никогда не обвешивал покупателей. Пока я это вспоминал, отец вышел именно из холодной с лотком свиных котлет в руках. Он толкнул дверь плечом, чтобы она закрылась.

На прилавке, подальше от покупателей, лежал прекрасный арсенал ножей для разделки мяса. Я отвернулся, чтобы ненароком не надумать чего.

— Минуточку, сэр, — он, не глядя на меня, поднял стекло витрины и поставил лоток туда. Поколебался долю секунды, опустил стекло, посмотрел на меня и пошатнулся — сглотнул и, к его чести, кажется, лишился дара речи.

Мы смотрели друг на друга. Я искал в его лице признаки раскаяния, намек на стыд, и на миг мне показалось, что нашел. Но все это тут же исчезло, сменившись холодным взглядом, в котором читалось омерзение: он словно не мог поверить, что сам породил на свет подобную тварь.

— Я завтра ухожу, — сообщил я. — Девять недель буду в учебном лагере в Олдершоте. А потом меня отправят туда. Я подумал — может, тебе захочется об этом узнать.

— Я думал, ты уже там, — ответил он, взял с прилавка окровавленную тряпку и начал вытирать руки. — Или ты увилывал?

— Меня долго не брали по возрасту, — объяснил я, понимая, что это была попытка меня оскорбить.

— А сколько тебе?

— Семнадцать. Я соврал. Сказал, что мне уже восемнадцать, и меня взяли.

Он кивнул:

— Не возмущайся, почему ты решил, что мне это будет интересно, но, наверное, такое следует знать. А теперь до свидания, если только ты не желаешь купить фунт фарша или...

— Почему вы мне не сообщили? — спросил я, стараясь, чтобы голос не дрожал.

— Сообщили? — Он нахмурился. — Про что?

— Про мою сестру!

У него хватило совести отвернуться, уставиться на разложенные перед ним куски мяса и не отвечать мне какое-то время. Я смотрел, как он снова сглатывает слюну, обдумывает ответ, поворачивается ко мне с тенью сожаления на лице, а потом проводит грязной рукой по глазам, словно сгоняя недопустимую слабость, и качает головой.

— Ты тут ни при чем. Это касалось только семьи.

— Она моя сестра! — повторил я, чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы.

— Это касалось только семьи.

Мы помолчали. К витрине подошла женщина, посмотрела на выставленное мясо, потом — через стекло — в лавку, явно передумала и продолжила путь.

— А ты-то откуда узнал?

— Я встретил Сильвию. Только сегодня. Когда сошел с автобуса. Она мне сказала. Мы совершенно случайно столкнулись на улице.

— Сильвия, — он фыркнул с отвращением, — вот же наглая девица. Как была прошмандовкой, так и осталась.

— Ты мог бы мне написать. — Я не желал говорить ни о ком, кроме Лоры. — Мог бы найти меня и сообщить. Сколько времени она болела?

— Несколько месяцев.

— И мучилась?

— Да, сильно мучилась.

— Господи Иисусе!

Я чуть наклонился вперед — в желудке зародилась грызущая боль.

— Не суетись. — Он вышел из-за прилавка и встал передо мной; я изо всех сил сдерживался, чтобы не отпрянуть в отвращении. — Ты бы ничем ей не помог. Такое бывает. Оно расплзлось по всему телу, как лесной пожар.

— Я бы хоть повидал ее в последний раз. Я же ее брат.

— Да нет. Когда-то, может, и был братом, не буду спорить. Но то было давно. Скорее всего, под конец она тебя уже совсем забыла.

К моему удивлению, он обхватил меня за плечи. Я решил, что он собирается меня обнять, но он развернул меня и медленно повел к двери.

— Вот что я тебе скажу, Тристан, — произнес он, выталкивая меня на улицу, — ты ей не был больше никаким братом, точно так же, как мне ты больше никакой не сын. Здесь вообще нет никакой твоей родни. Тебе больше нечего тут делать. Для всех для нас будет лучше, если немцы пристрелят тебя на месте.

Он захлопнул дверь у меня перед носом и пошел в глубь лавки. Я смотрел, как он на секунду остановился перед витриной, разглядывая куски мяса, а потом скрылся из виду — и навсегда исчез из моей жизни.

* * *

— Возможно, я была не права, — сказала Мэриан, пока мы шли по городу в обратную сторону, к вокзалу. — Я как будто прыгнула на вас из засады, да? И притащила к родителям.

— Ничего, — ответил я, зажигая вожделенную сигарету и наполняя легкие дымом, успокаивающим нервы. С этим могла сравниться только пинта холодного пива. — Они хорошие люди.

— Да, наверное. Мы ежедневно сводим друг друга с ума, но, наверное, по-другому не бывает. Если бы у меня был выбор, я бы предпочла жить в собственном доме. Они бы ходили ко мне в гости, и мы бы не цапались каждый день.

— Я уверен, что вы когда-нибудь выйдете замуж.

— Я сказала «в собственном доме». Не в чьем-то еще, а в своем. Как вы.

— У меня только маленькая квартирка. Удобная, но ее не сравнить с домом ваших родителей.

— Но все же она только ваша, верно? Вы ни перед кем не отчитываетесь.

— Знаете что, вам не обязательно провожать меня всю дорогу до вокзала. Я не хочу показаться неблагодарным, но я и сам не заблужусь.

— Мне не трудно, — она помотала головой, — мы все равно уже далеко прошли.

Я кивнул. Вечерело, небо темнело, и на улице заметно похолодало. Я застегнул плащ и снова затянулся сигаретой.

— Что вы теперь будете делать? — спросила она через несколько минут, и я нахмурился.

— Вернусь в Лондон, конечно.

— Я не об этом. Я имею в виду — завтра, послезавтра и потом. Какие у вас планы теперь, когда война кончилась?

Я помедлил с ответом.

— Завтра утром я снова сяду за свой стол в «Уисби-пресс». Нужно будет читать рукописи, посылать авторам письма с отказами, редактировать книги. Мы собираемся на следующей неделе представить книготорговцам некоторые новые издания, и мне надо сделать кое-какие заметки по каждой книге.

— Вам нравится там работать, да?

— Да, — с жаром подтвердил я. — Я люблю быть среди книг.

— И вы думаете дальше там работать? Расти по службе? Самому стать издателем?

Я поколебался.

— Я бы сам попробовал писать книги. — Впервые в жизни я говорил об этом с другим человеком. — Я уже несколько лет что-то кропаю. Может быть, пора отнестись к этому серьезней.

— Что, в мире не хватает романов? — поддразнила она, и я засмеялся.

— Еще несколько штук никому не повредит. Может, у меня ничего и не выйдет.

— Но вы попробуете?

— Обязательно.

— Уилл очень любил книги.

— Да, я время от времени видел его с книгой. Иногда в полк попадали книжки — кто-нибудь с собой прихватывал, и они ходили по рукам.

— Он читал с трех лет. И тоже пытался писать. В пятнадцать лет написал очень хитроумную концовку «Тайны Эдвина Друда».

— И чем же она кончалась?

— Тем, чем и следовало. Эдвин возвращается домой к семье, живой и здоровый. И с тех пор они жили долго и счастливо.

— Думаете, Диккенс именно так собирался закончить?

— Я думаю, что Уилл считал такой финал наиболее удовлетворительным. Почему мы остановились?

— Это пансион миссис Кантуэлл. — Я взглянул на парадную дверь, к которой вели ступеньки. — Мне нужно забрать саквояж. Расстанемся здесь?

— Я вас подожду. Вокзал совсем рядом. Я могу с тем же успехом вас и дотуда довести.

— Я сейчас, — сказал я, взбегая по ступенькам.

Миссис Кантуэлл не было видно, но ее сын Дэвид стоял за конторкой и, слюнявя карандаш, читал сводку с бегов. Он поднял на меня глаза.

— Мистер Сэдлер, добрый вечер.

— Добрый вечер. Я пришел забрать свой саквояж.

— Пожалуйста. — Он нагнулся, достал саквояж из-за конторки и вручил его мне. — Ну как, хорошо провели день?

— Да, спасибо. Я уже расплатился по счету, верно?

— Да, сэр. — Он пошел за мной к двери. — Мы еще увидим вас в Норидже?

— Вряд ли. — Я обернулся и улыбнулся ему: — Думаю, это мой первый и последний визит.

— О боже. Неужели мы вас так разочаровали?

— Нет, ничуть. Просто... не думаю, что моя работа еще раз приведет меня в Норидж, вот и все. Прощайте, мистер Кантуэлл.

Я протянул ему руку; он секунду разглядывал ее, прежде чем пожать.

— Я хочу, чтоб вы знали — я тоже пытался пойти туда, — объявил он. — Меня не взяли, сказали, что я молод. Но я мечтал об этом больше всего на свете.

— Ну и дурак, — с этими словами я открыл дверь и вышел.

Мэриан взяла меня под руку, и мы направились к вокзалу. Ее жест и польстил мне, и расстроил меня. Я так долго ждал, прежде чем написать ей, так много времени потратил, планируя нашу встречу, и вот уже готов вернуться домой. И до сих пор не набрался мужества рассказать ей про последние часы жизни ее брата. Мы шли молча, и она, должно быть, думала о том же, потому что, когда мы вошли в здание вокзала, она остановилась, отняла руку и заговорила:

— Мистер Сэдлер! Я знаю, что он не был трусом. Знаю. Но мне нужна вся правда.

— Мэриан, умоляю. — Я отвел глаза.

— Вы чего-то недоговариваете. Вы что-то пытались сказать весь день, но так и не смогли. Я вижу, я не дура. Вы отчаянно хотите это сказать. Ну так вот, мы с вами вдвоем. Нас больше никто не слышит. И я требую, чтобы вы мне открыли, что у вас на уме.

— Мне нужно домой. — Я нервничал. — Мой поезд...

— Уходит только через сорок минут. — Она поглядела на часы: — Время еще есть. Я вас очень прошу.

Я набрал в грудь воздуха. Поведать ей все? Смогу ли я?

— Ваша рука, Тристан. Что с ней такое?

Я вытянул руку перед собой, глядя, как неуправляемо трясется указательный палец. Я с интересом понаблюдал за ним и убрал руку.

— Вы в самом деле хотите услышать?

— Конечно, хочу! Я не смогу дальше жить, если не узнаю.

Я смотрел на нее и думал.

— Я могу ответить на ваши вопросы. Могу рассказать вам все. Описать в подробностях его последний день. Но я не уверен, что это послужит для вас утешением. И вы наверняка не сможете простить.

— Это неважно. — Она села на скамью. — Более всего — не знать.

— Ну что ж. — Я сел рядом с ней.

Шестой

Франция, сентябрь — октябрь 1916

Хоббс сошел с ума. Он стоит у моего одиночного окопа и смотрит на меня выпученными глазами, потом зажимает рот рукой и хихикает, как девчонка.

— Что с тобой? — спрашиваю я, глядя на него снизу вверх. У меня нет настроения для игр. Он в ответ хохочет еще более истерически, с неудержимой радостью.

— Тихо вы там! — кричат где-то за углом.

Хоббс поворачивается туда, разом перестает смеяться, выпаливает какую-то непристойность и убегает. Я тут же забываю о нем и закрываю глаза, но через несколько минут невдалеке от меня в окопе поднимается ужасный тарарам, и я понимаю, что поспать мне не светит.

Может, война кончилась?

Я бреду в направлении шума. Оказывается, его поднял Уоррен — он прибыл недель шесть-семь назад и, кажется, приходится кузеном покойному Шилдсу. Уоррена держат несколько человек, а Хоббс сжался на земле в трусливой, умоляющей позе — воплощенная покорность. Но при этом он по-прежнему смеется. Его поднимают на ноги, но поднимающие явно испуганы, словно само прикосновение к Хоббсу может быть чем-то опасно.

— Что это вы тут устроили? — спрашиваю я Уильямса, стоящего рядом. У него на лице скука.

— Это все Хоббс, — отвечает он, даже не глядя на меня. — Похоже, он съехал с катушек. Подошел к Уоррену, когда тот спал, и давай на него ссать.

— Господи помилуй! — Я трясую головой и лезу в карман за сигаретой. — Чего это он вдруг?

— А кто его знает, — пожимает плечами Уильямс.

Я глазею на потеху, пока не являются два санитара. Им удастся поставить Хоббса на ноги. Он верещит на никому не понятном наречии, его уводят. Завернув за угол, он снова возвышает голос и начинает выкрикивать имена английских королей и королев, начиная с Гарольда, в совершенно правильном порядке. Должно быть, отрывка школьных дней. На Ганноверской династии он выдыхается, а после Вильгельма IV замолкает окончательно. Я полагаю, что его ведут в лазарет, а оттуда отвезут в полевой госпиталь, где он либо сгниет, либо вылечится и будет отправлен обратно на фронт.

Тринадцатерых наших уже нет, осталось семеро.

Я возвращаюсь к себе в одиночный окоп; мне удастся еще немного поспать, но когда я просыпаюсь — солнце как раз пошло на закат, — то чувствую, что меня неудержимо трясет. Все тело свело спазмом. Правда, я не мог толком согреться ни разу за все время во Франции, но это что-то совсем другое. Я будто неделю пролежал в сугробе и промерз до мозга костей. Меня находит Робинсон и пугается.

— Господи Иисусе, — говорит он. Потом громче: — Спаркс, поди-ка посмотри!

Несколько секунд тишины, потом второй голос:

— Похоже, его песенка спета.

— Я его видел, еще часу не прошло, и с ним как будто все было в порядке.

— Погляди, какой он бледный. До рассвета не доживет.

Скоро меня переносят в палатку, где располагается лазарет, и кладут на койку — впервые с незапамятных времен я лежу на койке под теплыми одеялами, на лбу у меня компресс, а в руку воткнута импровизированная капельница.

Я дрейфую по волнам забытья и, просыпаясь, вижу Лору. Моя сестра стоит надо мной и кормит с ложечки чем-то теплым и сладким.

— Привет, Тристан, — говорит она.

— Это ты, — произношу я, но не успеваю продолжить, как ее милое личико расплывается и превращается в грубые черты санитара — глаза у него так сильно ввалились, что, кажется, запали куда-то в глубины черепа, и он похож на ходячего мертвеца.

Я снова теряю сознание, а когда наконец прихожу в себя, надо мной стоит доктор, а рядом — не скрывающий своего раздражения сержант Клейтон.

— Я вас умоляю! Он прекрасно может поправляться и тут. Я не намерен отправлять его в Англию только для того, чтобы он там валялся в кровати.

— Но он лежит уже почти неделю, сэр. Нам нужна эта койка. Если он вернется домой, то хотя бы...

— Вы что, не слышали? Я сказал, что не пошлю его домой. Вы же сами утверждали, что ему лучше.

— Да, он пошел на поправку. Но до выздоровления ему еще очень далеко. Послушайте, я готов подписать все бумаги на его транспортировку, если вас это волнует.

— С ним все в порядке! — настаивает Клейтон и со всей силы бьет кулаком по моей ноге, прикрытой одеялом. — Он здоровехонек по сравнению с убитыми. Пускай побудет тут. Откормите его, ликвидируйте обезвоживание, поставьте на ноги. А потом верните мне. Ясно?

Долгое молчание. Потом, видимо, его собеседник расстроено кивает.

— Так точно, сэр.

Поворачиваю голову, не приподнимая ее с подушки. Меня на миг поманили надеждой на возвращение домой, но тут же ее отобрали. Я снова закрываю глаза и уплываю куда-то.

Может, всего этого со мной не было? Может, это был сон, а сейчас я просыпаюсь. Туманное состояние длится весь день и следующую за ним ночь, но утром меня будит дождь, барабнящий по палатке, где я лежу вместе с толпой раненых, и я чувствую, что туман у меня в мозгах рассеялся, и понимаю, что моя болезнь, какова бы она ни была, пошла на убыль, а может, и совсем отступила.

— Ага, Сэдлер, — говорит врач, сунув градусник мне за щеку. В ожидании, пока градусник покажет нужную температуру, врач просовывает руку под одеяла и кладет ее мне на грудь, считая пульс — надеюсь, ровный. — Вам явно лучше. Даже порозовели.

— Сколько я тут уже? — шепелявлю я.

— Сегодня неделя.

Я удивленно выдыхаю. Если я отлеживался целую неделю, почему же такая усталость?

— Думаю, худшее позади. Мы сперва решили, что совсем вас потеряем. Но вы — боец, а?

— Вроде раньше за мной такого не водилось. Я что-нибудь пропустил?

— Ничего, — отвечает доктор, улыбаясь. — Война еще идет, если вы об этом. А что вы боялись пропустить?

— Кого-нибудь убили? — спрашиваю я. — Из нашего полка то есть.

Он забирает термометр у меня изо рта и глядит на столбик ртути. Потом, как-то странно, — на меня.

— Из вашего полка? Нет. С тех пор как вас сюда принесли — никого. Было затишье. А что?

— Да так.

Я смотрю в потолок. Я спал последние двое суток, но не выспался. Кажется, я бы и месяц проспал, если бы мне дали.

— Совсем другое дело, — бодро говорит доктор. — Температура уже нормальная. Во всяком случае, настолько, насколько это возможно в таких условиях.

— Ко мне кто-нибудь приходил?

— А что, вы кого-то ждали? Архиепископа Кентерберийского?

Я игнорирую его насмешку и отворачиваюсь. Может быть, Уилл все же заходил меня проведать, ведь врач наверняка не сторожил мою койку сутками.

— Так что со мной будет дальше? — спрашиваю я.

— Обратно в строй, надо думать. Еще денек побудете тут. Пожалуй, вот что: попробуйте встать, прогуляться до столовой и что-нибудь съесть. И побольше горячего сладкого чая, если там найдется. Потом вернетесь сюда и мы посмотрим, как у вас пойдет дело.

Я вздыхаю, стаскиваю себя с кровати, чувствуя, как давит полный мочевой пузырь, и быстро одеваюсь, чтобы пойти в уборную. Отдвигаю полотнище, закрывающее вход в палатку, и делаю полшага наружу, в унылый, сумеречный недосвет. И тут вся вода, скопившаяся на парусине сверху, несколько ведер, разом выливается мне на голову, и я стою, как мокрая тряпка, страстно желая снова заболеть от этого разгула стихий, чтобы с полным правом вернуться в тепло и уют лазарета.

Но к моему разочарованию, я окончательно поправляюсь и вскоре возвращаюсь в строй.

* * *

В тот же день у меня на руке вылезает какая-то сыпь, и рука горит словно в огне. Я провожу еще полдня в палатке лазарета, ожидая своей очереди на прием. Наконец врач бегло осматривает меня и заявляет, что со мной все в порядке — я просто что-то напридумывал и прекрасно могу вернуться в окопы.

Вечером я стою один у своего перископа с винтовкой на плече и смотрю через ничью землю; я проникаюсь убежденностью, что на той стороне стоит немецкий мальчик моих лет

и смотрит на меня. Он устал и напуган; он каждый вечер молится, чтобы мы вдруг не полезли из своего окопа через бруствер, потому что, увидев нас, он обязан будет подать сигнал своим товарищам, и тут начнется долгое и грязное дело — стычка двух армий.

Про Уилла никто не говорит, а я боюсь спрашивать. Большинство людей, прибывших в полк одновременно с нами, уже мертвы или, как Хоббс, отправлены в полевой госпиталь, так что моим нынешним однополчанам нет резона думать об Уилле. Я терзаюсь одиночеством. Я уже очень давно не видел Уилла. Он старательно избегал меня с тех самых пор, как я отказался подать рапорт на Милтона сержанту Клейтону. Потом я заболел, и все.

Когда сержант Клейтон отбирает людей для рекогносцировки в сторону немецких окопов в глухой ночной час, из шестидесяти ушедших возвращаются только восемнадцать — катастрофа по любым меркам. Среди погибших — капрал Моуди, получивший пулю в глаз.

В тот же вечер, чуть позже, я натыкаюсь на капрала Уэллса — он сидит один с кружкой чаю, склонив голову над столом. Меня охватывает неожиданное сочувствие. Я не знаю, уместно ли мне будет присоединиться к нему, — мы никогда не были особенными друзьями, — но мне тоже одиноко и до зарезу нужно с кем-нибудь поговорить, так что я закусываю удила, тоже наливаю себе чаю и останавливаюсь перед капралом.

— Добрый вечер, сэр, — осторожно здороваюсь я.

Он не сразу поднимает голову, а когда смотрит на меня, я замечаю у него под глазами темные мешки. Интересно, сколько времени он не спал.

— Сэдлер, — говорит он. — Не на посту, да?

— Да, сэр, — говорю я, кивая на скамью напротив: — Можно я тут сяду? Или вы хотите побыть один?

Он смотрит на пустую скамью, словно не зная, каковы правила этикета на этот счет, но в конце концов пожимает плечами и жестом показывает, что я могу сесть.

— Мне было очень жаль услышать про капрала Моуди, — говорю я, выдержав для приличия паузу. — Он был достойным человеком. Всегда обращался со мной по справедливости.

— Я вот решил, что надо бы написать его жене. — Он указывает на лежащие перед ним перо и бумагу.

— Я даже не знал, что он женат.

— Разумеется, откуда вам. Но да, у него остались жена и три дочери.

— А разве не сержант Клейтон должен написать его жене, сэр? — спрашиваю я, потому что заведенный порядок именно таков.

— Да, наверное. Только я знал Мартина лучше, чем кто-либо другой. Думаю, будет лучше, если я тоже напишу.

— Конечно. — Я поднимаю кружку, но у меня вдруг слабеет рука, и чай разливается по столу.

— Ради бога, Сэдлер, — восклицает капрал и быстро убирает бумагу, пока она не намокла. — Что вы все время так дергаетесь? Это действует на нервы. Как вы себя чувствуете, кстати? Лучше?

— Да, вполне хорошо, спасибо, — отвечаю я, вытирая стол рукавом.

— Мы уже было попрощались с вами. Только этого не хватало — еще одного человека потерять. От вашей смены в Олдершоте ведь мало кто остался?

— Семь человек, — отвечаю я.

— По моему счету выходит шесть.

— Шесть? — Я чувствую, что бледнею. — Еще кого-то убили?

— С тех пор, как вы заболели? Нет, никого, насколько мне известно.

— Но тогда должно быть семь, — не сдаюсь я. — Робинсон, Уильямс, Эттлинг...

— Вы ведь не считаете Хоббса? Его отправили назад в Англию. В сумасшедший дом. Хоббса мы не считаем.

— Я его и не считал. Но все равно выходит семь: Робинсон, Уильямс, Эттлинг, как я уже сказал, и еще Спаркс, Милтон, Бэнкрофт и я.

Капралл Уэллс смеется и качает головой:

— Ну раз мы Хоббса не считаем, то и Бэнкрофта тоже.

— С ним же все в порядке?

— Скорее всего, он в лучшем положении, чем вы или я. Во всяком случае, на данный момент. Послушайте, — он чуть прищуривается, словно хочет разглядеть меня получше, — вы ведь с ним вроде бы дружили, а?

— Мы оказались на соседних койках в Олдершоте. А что такое? Где он, кстати? Я выглядывал его в окопах с тех пор, как вернулся в строй, но его нигде нету.

— Так вы не слыхали?

Я ничего не отвечаю.

— Рядовой Бэнкрофт, — начинает Уэллс, веско подчеркивая каждый слог, — явился к сержанту Клейтону. И снова потребовал пересмотра истории с тем немчиком. Вы о ней слыхали, надо полагать?

— Да, сэр, — произношу я. — Это все при мне произошло.

— И верно. Бэнкрофт говорил. В общем, он требовал, чтобы Милтона судили — совершенно недвусмысленно настаивал на этом. Сержант отказался — уже в третий раз, должно быть, но на этот раз они повздорили. Кончилось тем, что Бэнкрофт сдал оружие сержанту Клейтону и объявил, что не намерен больше воевать.

— Что это значит? — спрашиваю я. — И что теперь будет?

— Сержант Клейтон объяснил Бэнкрофту, что он призван в действующую армию и не может отказаться воевать. В противном случае он нарушит свой долг и подлежит суду военного трибунала.

— А Уилл что?

— Кто это — Уилл? — тупо переспрашивает Уэллс.

— Бэнкрофт.

— О, у него еще и имя есть? Я же знал, что вы с ним дружки.

— Я сказал, наши койки в Олдершоте стояли рядом, вот и все. Слушайте, вы мне расскажете, что с ним случилось, или нет?

— Потихе, Сэдлер, — осаживает меня Уэллс. — Не забывайтесь.

— Простите, сэр. — Я провожу рукой по глазам. — Я только хотел спросить. Нельзя же... не можем же мы потерять еще одного человека. Полк...

Я говорю запинаясь.

— Разумеется, нет. Сержант Клейтон объяснил Бэнкрофту, что у него нет выбора, он должен драться, но Бэнкрофт объявил, что больше не верит в моральную правоту этой войны и что, по его мнению, тактические действия нашей армии идут вразрез с общественным благом и христианскими заповедями. Скажите, Сэдлер, он раньше не проявлял религиозного фанатизма? Я просто хочу понять, откуда вдруг такая совестливость.

— У него отец священник. Впрочем, Бэнкрофт обычно не распространялся на религиозные темы.

— Ну, в любом случае это ему не поможет. Сержант Клейтон объяснил ему, что на фронте он уже не может претендовать на статус отказника по идейным соображениям. Слишком поздно. Прежде всего, тут нет трибунала, который должен рассматривать его дело. Он знал, на что подписывался, а если отказывается воевать, то у нас не остается другого выхода. Вам известно, Сэдлер, как мы обязаны поступить. Не буду вам рассказывать, что мы делаем с собирателями перышек.

Я сглатываю. У меня страшно колотится сердце.

— Не собираетесь же вы послать его наверх? Таскать носилки?

— Хотели, — отвечает Уэллс, пожимая плечами, словно говорит о чем-то само собой разумеющемся. — Но Бэнкрофт даже на это не согласился. Он пошел ва-банк. Объявил себя абсолютистом.

— Простите, сэр?

— Абсолютистом, — повторяет Уэллс. — Вы не знаете этого слова?

— Нет, сэр.

— Это следующий шаг после отказа по идейным соображениям. Большинство отказников не желают воевать, убивать и все такое прочее, но готовы помогать другими способами — более человечными, по их мнению. Они работают санитарями в госпиталях, помощниками в штабах и прочее. Да, они ужасные трусы, но хоть что-то делают, пока мы тут рискуем своей шкурой.

— А абсолютисты? — спрашиваю я.

— Это, Сэдлер, самая крайность. Они не желают вообще никак помогать нашей стороне. Ни драться на фронте, ни делать что-то для тех, кто дерется, ни работать в госпиталях, ни таскать раненых. Вообще ничего не желают делать, кроме как сидеть на заднице и жаловаться, что эта война несправедливая. Это самый край, Сэдлер, вот что я вам скажу. Трусость высшего порядка.

— Уилл не трус, — тихо говорю я, чувствуя, как сжимаются мои кулаки под столом.

— Еще и какой, — отвечает Уэллс. — Чудовищный трус. В общем, он зарегистрировал свой отказ, так что теперь осталось только решить, что с ним делать.

— А где же он сейчас? — спрашиваю я. — Его отправили в Англию?

— Чтобы устроить ему удобную жизнь? Еще чего не хватало.

— Но наверное, если его туда отправят, то там посадят в тюрьму. А уж в тюрьме ему вряд ли будет удобно.

— В самом деле? (Я, кажется, его не убедил.) Вспомните свои слова в следующий раз, когда будете ползти на брюхе по ничьей земле, и пули будут свистеть у вас над головой, и вы будете гадать, какая из них вас найдет, как другая пуля только что нашла Мартина Моуди. Думаю, тогда пара лет в Стрейнджуэйз покажется вам светлым раем.

— Значит, он в Стрейнджуэйз? — спрашиваю я. Сердце ноет при мысли, что я его больше не увижу, что мы с Уиллом, совсем как тогда с Питером, расстались врагами и я могу погибнуть без примирения.

— Нет, пока нет, — отвечает Уэллс. — Он еще здесь, в лагере. Его заперли по приказу сержанта Клейтона. Решение военно-полевого суда.

— Но заседания суда ведь еще не было?

— Нам тут не нужны никаких заседаний, Сэдлер, вы же знаете. Если бы он бросил оружие в пылу битвы, его тут же расстреляла бы военная полиция. За трусость. Но в ближайшие двадцать четыре часа ожидается большое наступление, и я полагаю, что до тех пор он одумается. Если он согласится воевать дальше, все будет позабыто. Во всяком случае, на время. Может быть, потом ему все равно придется отвечать, но по крайней мере он останется в живых и сможет рассказать свою версию происшедшего. Ему повезло, если вдуматься. Сейчас все до единого либо наступают, либо строят новые укрепления. Если бы не это, его давно бы уже расстреляли. Но нет, мы его пока подержим под замком, а когда начнется, пошлем на поле боя. Он, конечно, говорит красивые слова о том, что больше не возьмет в руки оружие, но мы это из него вовремя выьем. Помяните мои слова.

Я киваю, но ничего не говорю. Мне кажется, стоит Уиллу Бэнкрофту что-нибудь втемашить себе в голову — и это уже никто из него не выбьет. Мне хочется так и сказать, но я молчу. Уэллс допивает чай и встает.

— Ну что ж, пора обратно в строй, — говорит он. — Сэдлер, вы идете?

— Нет еще, сэр.

— Ну тогда ладно. — Он идет прочь, но вдруг поворачивается и смотрит на меня, снова прищурившись. — Точно вы с Бэнкрофтом не друзья? Я всегда думал, что вы с ним не разлей вода.

— У нас койки были рядом, — отвечаю я, не в силах глядеть ему в глаза. — Вот и все. На самом деле мы едва знакомы.

* * *

Я страшно удивляюсь, когда назавтра вижу Уилла — он сидит один в заброшенном одиночном окопе недалеко от командирского блиндажа. Небритый и бледный, он растерянно ковыряет землю носком сапога. Я смотрю на него, не выдавая своего присутствия, — хочу понять, изменился ли он с тех пор, как совершил судьбоносный шаг. Проходит несколько минут, и вдруг он резко поднимает голову, но тут же расслабляется, видя, что это всего лишь я.

— Ты на свободе, — говорю я, подходя к нему. Я не теряю время на приветствия, хотя мы давно не виделись. — Я считал, ты сидишь где-то под замком.

— Так и есть. Думаю, меня скоро отведут обратно. Но там сейчас какое-то совещание, и, наверное, они не желают, чтобы я слышал, о чем они будут говорить. Капрал Уэллс велел мне ждать тут, пока за мной кто-нибудь не придет.

— И они тебе доверяют? Не боятся, что ты сбежишь?

— Тристан, ну сам подумай, куда я побегу? — Он улыбается и оглядывается вокруг. В его словах есть резон: действительно, бежать отсюда некуда. — У тебя случайно закурить не найдется? У меня все отобрали.

Я роюсь в карманах шинели и протягиваю ему сигарету. Он быстро зажигает ее и на миг прикрывает глаза, втягивая первую порцию никотина.

— Очень тяжело приходится? — спрашиваю я.

— Ты о чем? — Он открывает глаза и снова смотрит на меня.

— Ну, сидеть взаперти. Уэллс мне сказал, что с тобой случилось. Наверное, они с тобой плохо обращаются.

Он отводит глаза.

— Да нет. По большей части они меня не трогают. Приносят мне еду, водят в уборную. Ты не поверишь, там даже койка есть. Гораздо комфортабельней, чем гнить в окопах, уж это точно.

— Но ты ведь не ради комфорта на это пошел?

— Нет, конечно. За кого ты меня принимаешь?

— Это из-за того мальчика, немца?

— В том числе, — говорит он, разглядывая свои сапоги. — И еще из-за Вульфа. Из-за того, что с ним случилось. То есть из-за того, что его убили. Мы как будто стали нечувствительными к насилию. Я уверен: если сержант Клейтон услышит, что война кончилась, он упадет на колени и зарыдает. Он обожает войну. Надеюсь, ты это понимаешь.

— Неправда. — Я мотаю головой.

— Он наполовину съехал с катушек. Это всякому видно. Он больше бредит, чем говорит осмысленно. То буйствует, то рыдает. Сумасшедший дом по нему плачет. Но погоди, я не спросил, как ты себя чувствуешь.

— Нормально, — отвечаю я, не желая переводить разговор на себя.

— Ты болел.

— Да.

— Был момент, я решил, что ты уже покойник. Доктор считал, что у тебя мало шансов. Идиот. Я пообещал ему, что ты выкарабкаешься. Я сказал — ты сильнее, чем он думает.

Я отрывисто смеюсь — его слова мне льстят. Потом изумленно взглядываю на него:

— Ты говорил с врачом?

— Да, переговорил коротко.

— Когда?

— Когда приходил тебя навещать — когда же еще.

— Но мне говорили, что меня никто не навещал. Я спрашивал, и они от одного предположения решили, что я съехал с катушек.

Он пожимает плечами:

— Ну не знаю, я приходил.

Из-за угла появляются три солдата — новенькие, я их раньше не видел — и останавливаются в нерешительности при виде Уилла. Они разглядывают его, потом один

сплевывает, и двое других следуют его примеру. Солдаты ничего не говорят Уиллу — во всяком случае, вслух, но я слышу, как, проходя мимо, они бормочут себе под нос: «Трус паршивый». Я провожаю их глазами и снова поворачиваюсь к Уиллу.

— Это совершенно не важно, — тихо произносит он.

Я велю ему подвинуться и сажусь рядом. У меня из головы не идет, что он навещал меня в лазарете, — я думаю о том, что это значит.

— А ты не можешь об этом забыть на время? — спрашиваю я. — Ну, обо всех этих идеях. Пока все не кончится?

— Какой тогда будет смысл? Протестовать против войны надо, когда она идет. Иначе что же это за протест. Неужели ты не понимаешь?

— Да, но если тебя не расстреляют за трусость тут, то отправят обратно в Англию. Я слышал, что делают в тюрьме с собирателями перышек. Тебе повезет, если живым останешься. А потом ты что будешь делать? В приличное общество тебя не пустят, я уверен.

— О, мне глубоко плевать на приличное общество, — отвечает он с горьким смешком. — Что мне в нем, если оно стоит на подобных идеях? И я никакой не собиратель перышек, ты же знаешь. Я решил так поступить не потому, что трусил.

— Нет, ты абсолютист, — отвечаю я. — И я уверен, ты думаешь, что красивое название оправдывает любые действия. Но это не так.

Уилл смотрит на меня, вытаскивает изо рта сигарету и начинает большим и указательным пальцами выковыривать волоконец табака, застрявшее между передними зубами. Выковыряв, он некоторое время разглядывает его, а затем щелчком сбрасывает в грязь под ногами.

— А тебе что за дело? — спрашивает он. — Чего ты надеешься добиться этим разговором?

— Мне есть дело, как и тебе до меня есть дело — навещал же ты меня в лазарете. Я не хочу, чтобы ты совершил ужасную ошибку и потом всю жизнь жалел об этом.

— А ты, думаешь, не будешь жалеть? Когда все кончится и ты окажешься в безопасности, дома, в Лондоне, — думаешь, тебе не будут сниться убитые тобой люди? Хочешь сказать, что сможешь все оставить в прошлом? Скорее всего, ты об этом просто не думал. — Его голос становится ледяным. — Ты говоришь о собирателях перышек, о трусости и все же презираешь всех, кроме себя. Но сам этого не видишь, верно ведь? Почему трус — я, а не ты? Я не могу спать по ночам, Тристан, — все думаю о том, как тот парень описался от страха, а Милтон прострелил ему голову. Стоит мне закрыть глаза, я вижу, как его мозги вылетают на стенку окопа. Если бы я мог вернуться в прошлое, я сам застрелил бы Милтона, пока он не успел убить мальчика.

— И тебя бы расстреляли.

— Меня в любом случае расстреляют. Что они там обсуждают, по-твоему? Недостаточно высокое качество чая в полевой кухне? Они решают, когда лучше всего со мной разделаться.

— Не могут они тебя расстрелять. Они должны сначала рассмотреть твоё дело.

— Здесь они ничего не должны. Мы в зоне боевых действий. А кстати, если бы я пристрелил Милтона, кто бы меня заложил? Ты?

Я не успеваю ответить, слева от меня кто-то кричит: «Бэнкрофт!» — я поворачиваюсь и вижу Хардинга, нового капрала, которого прислали взамен Моуди.

— Какого черта вы тут делаете? А вы кто такой? — Последний вопрос обращен ко мне.

Я вскакиваю и рапортую:

— Рядовой Сэдлер.

— А какого черта вы разговариваете с арестованным?

— Ну, понимаете, сэр, он тут сидел, — отвечаю я, не понимая, совершил ли какое-то преступление, — а я шел мимо, вот и все. Я не знал, сэр, что он должен быть в изоляции.

Хардинг, прищурясь, оглядывает меня с головы до ног, словно пытаюсь решить, не хамлю ли я ему.

— Идите в окоп, Сэдлер, — командует он. — Я уверен, вас там кто-нибудь ищет.
— Есть! — Я поворачиваюсь кругом и киваю Уиллу на прощанье.
Он не отвечает, только смотрит на меня с непонятным выражением лица.

* * *

Наступает вечер.

Где-то слева падает бомба, и меня сбивает с ног. Я падаю и лежу, задыхаясь и пытаюсь понять, пришел ли мне уже конец, оторвало ли мне ноги? Или руки? Не вырвало ли кишки из брюха, разметав по грязи? Но проходит несколько секунд, а мне не больно. Я отталкиваюсь руками от земли и поднимаюсь на ноги.

Со мной все в порядке. Я невредим. Я жив.

Бросаюсь вперед, в окоп, быстро озираясь для рекогносцировки. Мимо бегут солдаты, занимая свои места — в колонну по три — вдоль первой линии обороны. В самом конце линии — капрал Уэллс, он кричит, отдавая команды. Рука его поднимается и падает, рубя воздух, и пока первая шеренга делает шаг назад, вторая перемещается вперед, а третья (и я с ней) становится в затылок второй.

Разобрать слова за грохотом артобстрела невозможно, но я смотрю, пытаюсь расслышать хотя бы звук собственного дыхания, и вижу, что Уэллс что-то быстро приказывает пятнадцати солдатам из первой шеренги. Они переглядываются, мешкают секунду, затем лезут вверх по лестницам и, вжимая головы в плечи, бросаются через бруствер на ничью землю, освещаемую редкими вспышками в темноте — как на площадке вокруг передвижных каруселей.

Уэллс подтягивает к себе перископ и смотрит в него, а я — Уэллсу в лицо. Я вижу, когда очередного солдата ранят, потому что по лицу капрала каждый раз пробегают гримасы боли, но он тут же сгоняет ее, когда вперед бросается новая шеренга солдат.

Теперь среди нас и сержант Клейтон; он стоит по другую сторону строя от Уэллса и выкрикивает команды. Я на миг закрываю глаза. Интересно, как скоро и меня пошлют через бруствер? Через две, три минуты? Неужели сегодня последний вечер моей жизни? Я и раньше бывал наверху и оставался в живых, но сегодня... мне кажется, что сегодня будет по-другому. Не знаю почему.

Я смотрю перед собой и вижу дрожащего мальчика. Он молодой, необстрелянный — новобранец. Кажется, позавчера прибыл. Он оборачивается и смотрит на меня, словно я могу ему помочь. На лице у него — чистый ужас. Мальчик вряд ли намного моложе меня, а может, даже и старше, но выглядит как ребенок и вроде бы даже не понимает, что он тут делает.

— Не могу, — говорит он с йоркширским акцентом. Голос умоляющий, тихий. Я прищуриваюсь и заставляю его глядеть мне в глаза.

— Можешь, — говорю я.

— Нет, не могу, — мотает головой он.

С обоих концов линии раздаются крики, а сверху падает тело — можно сказать, с небес. Тоже новобранец, я обратил на него внимание минут пять назад, у него преждевременно поседевшая копна волос. Теперь у него прострелено горло и из раны сочится кровь. Мальчик, стоящий рядом, вскрикивает и отступает на шаг, чуть не врезаясь в меня. Я пихаю его вперед. Почему я должен еще и на него тратить силы, когда моя жизнь вот-вот кончится? Это нечестно.

— Ну пожалуйста, — умоляюще говорит он, словно от меня тут что-то зависит.

— Заткнись, — рывкаю я, не желая с ним нянчиться. — Захлопни пасть и ступай вперед, понял? Выполняй свой долг.

Он снова вскрикивает, и я его опять толкаю. Он уже у подножия лестницы, стоит в ряду с десятком других солдат.

— Следующие! — кричит сержант Клейтон, и солдаты боязливо ступают на первую

перекладину своих лестниц, опустив голову как можно ниже, чтобы подольше не видеть того, что ждет наверху.

Мальчик, на которого я кричал, стоит прямо передо мной. Он точно так же втягивает голову, но даже не начинает подниматься — его правая нога прочно прижата к земле.

— Вы! — кричит Клейтон, показывая на него. — Наверх! Сейчас же!

— Не могу! — кричит мальчик, заливаясь слезами.

Помоги мне Господь, с меня хватит. Если я должен умереть, то чем скорее, тем лучше, но этого не случится, пока не наступит моя очередь идти наверх, так что я подсовываю руку под ягодицы мальчика и пихаю его вверх по лестнице, чувствуя, как он всем весом давит на меня, в противоположном направлении.

— Нет! — умоляюще кричит он. Тело его не слушается. — Нет! Ну пожалуйста!

— Рядовой, наверх! — орет Клейтон, подбегая к нам. — Сэдлер, пихайте его наверх!

Я повинуюсь. Я даже не думаю о результате своих действий, но вдвоем с Клейтоном мы выпихиваем мальчика наверх, теперь ему некуда деваться, кроме как через бруствер и вперед, и он падает ничком — вернуться в окоп он уже никак не может. Я вижу, как он скользит вперед, его сапоги исчезают из виду, и я поворачиваюсь и смотрю на Клейтона, у которого в глазах светится безумие. Мы смотрим друг на друга, и я думаю: «Вот что мы сотворили», и Клейтон возвращается на место — сбоку от строя, — а я, уже не колеблясь, лезу вверх по лестнице, перебрасываю себя через бруствер и стою во весь рост, не поднимая винтовки, но лишь глядя на царящий вокруг хаос и думая: «Вот я. Ну давайте же. Стреляйте в меня».

* * *

Я еще жив.

* * *

Тишина ошеломляет. Сержант Клейтон обращается к нам. Мы, сорок человек, стоим в жалком кривом строю, совершенно не похожем на аккуратные шеренги, строиться в которые нас учили в Олдершоте. Я мало кого знаю из тех, кто стоит со мной. Все они грязны и устали до предела, некоторые тяжело ранены, кое-кто уже почти сошел с ума. К моему удивлению, Уилл тоже тут — он стоит между Уэллсом и Хардингом, которые вцепились ему в руки, словно есть малейшая вероятность, что он может убежать. У него измученный вид. Он упирается взглядом в землю и поднимает глаза только раз — и смотрит на меня, но как будто не узнает. Глаза обведены темными кругами, а на левой щеке расплылся синяк.

Клейтон орет на нас, хвалит за храбрость, проявленную за эти восемь часов, и тут же обзывает паршивыми трусами. Я думаю: он никогда не был нормальным, но теперь окончательно чокнулся. Он разглагольствует про боевой дух и про то, что мы непременно выиграем войну, но несколько раз вместо «немцы» говорит «греки» и по временам заговаривается. Ясно, что место ему — не здесь.

Я кошусь на Уэллса, следующего по старшинству в цепочке командования, — видит ли он, что сержант недееспособен? Но он, кажется, не обращает особого внимания на слова сержанта. Впрочем, он все равно ничего не мог бы сделать. Мятеж наказуем.

— А этот человек! Вот этот! — орет Клейтон и подходит к Уиллу, который удивленно поднимает голову, словно до того вообще ничего не замечал. — Он отказывается драться этот паршивый трус что вы про него скажете он не такой как вы его учили как надо учили как надо я знаю потому что я сам его учил он предлагает всякую мерзость а потом спит на мягкой подушке у себя в камере пока вы храбрые парни прибыли сюда для обучения потому что через несколько недель вас отправят во Францию сражаться а этот человек этот человек он говорит что не хочет убивать но раньше он был браконьером мне рассказали...

И так далее и тому подобное. Клейтон не умолкает, из него потоком льется

бессмыслица, даже не разделенная на фразы, просто слипшиеся цепочки слов, которые он швыряет в нас, изрыгая ненависть.

Он отходит подальше, тут же возвращается, стягивает перчатку и вдруг бьет ею Уилла по лицу. Мы ко всякому привыкли, но этот поступок нас немного удивляет. Он и безобиден, и полон злости.

— Ненавижу трусов, — говорит Клейтон и снова бьет Уилла перчаткой. Уилл отворачивает голову от удара. — Терпеть не могу ни есть с ними, ни разговаривать, ни ими командовать.

Хардинг бросает взгляд на Уэллса, словно желая спросить, не следует ли им вмешаться, но Клейтон уже перестал; он поворачивается к строю, указывая на Уилла.

— Этот человек, — объявляет он, — отказался участвовать в наступлении сегодня вечером. По этой причине он был подвергнут военно-полевому суду согласно установленной процедуре и найден виновным в трусости. Его расстреляют завтра в шесть часов утра. Та к мы наказываем трусов.

Теперь Уилл поднимает глаза, но, кажется, услышанное его не слишком взволновало. Я сверлю его взглядом, желая, чтобы он посмотрел на меня, но он не смотрит. Даже сейчас, даже в такую минуту он не подпускает меня к себе.

* * *

Ночь. Темно и странно тихо. Я пробираюсь к тыльной части окопов, где санитары укладывают убитых на носилки для транспортировки домой. Я гляжу на них и вижу Эттлинга, Уильямса, Робинсона — у него голова расколота немецкой пулей. Рядом на носилках лежит тело Милтона, убийцы немецкого мальчика. Милтон теперь тоже мертв. Нас осталось трое — Спаркс, Уилл и я.

Как это я так долго продержался?

Я иду к сержантской землянке. Рядом с ней стоит Уэллс и курит. Он бледен и явно нервничает. Он глубоко затягивается сигаретой, всасывая никотин в легкие, прищуривается и смотрит, как я подхожу.

— Мне надо повидать сержанта Клейтона, — говорю я.

— Мне надо повидать сержанта Клейтона, сэр, — поправляет он.

— Это важно.

— Не сейчас, Сэдлер. Сержант спит. Он нас всех троих расстреляет, если мы его разбудим раньше положенного.

— Сэр, с сержантом надо что-то делать, — говорю я.

— Что-то делать? Что вы хотите сказать?

— Позвольте говорить откровенно, сэр?

Уэллс вздыхает:

— Выкладывайте уже, бога ради.

— Он сошел с ума, — говорю я. — Вы же не можете этого не видеть. Как он сегодня избил Бэнкрофта? А эта чудовищная пародия на суд? Здесь даже не может быть никакого суда, вы это прекрасно знаете. Бэнкрофта должны были отослать в генштаб, судить с присяжными...

— Его уже судили, Сэдлер. Вы в это время болели, помните?

— Но его судили тут.

— Это допускается. Мы сейчас на передовой. Это чрезвычайные обстоятельства. Военные уставы оговаривают, что в таких условиях...

— Я знаю, что написано в уставах. Но послушайте, сэр. Его расстреляют... — я смотрю на часы, — меньше чем через шесть часов. Это неправильно, сэр. Вы же сами понимаете, что так не должно быть.

— Сказать по-честному, Сэдлер, мне плевать, — говорит Уэллс. — Отправят его домой, пошлют через бруствер, расстреляют сегодня утром — для меня без разницы.

Поймите это наконец. Главное — чтобы все остальные прожили еще час, и после этого еще один час, и так далее. Если Бэнкрофт не хочет драться, то пусть умрет.

— Но, сэр...

— Хватит, Сэдлер. Идите к себе в окоп, поняли?

* * *

Заснуть я, конечно, не могу. Еще бы. Часы ползут, а я смотрю на горизонт, всем сердцем желая, чтобы солнце не встало. Часа в три ночи я бреду по окопу, мысли мои блуждают где-то далеко, я ничего не вижу перед собой и вдруг спотыкаюсь о чьи-то вытянутые ноги; я ухитряюсь за что-то схватиться и не полететь лицом в грязь.

Оборачиваюсь в ярости и вижу одного из новобранцев — высокого рыжего парня по фамилии Маршалл. Он сидит и стягивает на затылок каску, которой накрыл лицо, когда ложился спать.

— Маршалл, имей совесть! Что это ты тут раскорячился?

— А тебе-то что? — спрашивает он, все так же сидя, и скрещивает руки на груди, словно бросая мне вызов. Он молод — ему еще не приходилось наблюдать, как его приятелей разрывает на куски, и, скорее всего, он считает, что война скоро кончится, раз уж он и такие как он лично оказались на фронте и теперь быстренько наведут тут порядок.

— Да то, что я не хочу об тебя споткнуться и сломать шею, черт побери, — рявкаю я. — Когда ты так растянулся, это опасно. Для всех.

Он присвистывает сквозь зубы, качает головой, смеется и отмахивается от меня. Он должен как-то отреагировать на мою вспышку, особенно если учесть, что на нас смотрят другие новобранцы. Они-то будут счастливы, если мы подеремся, — что угодно, лишь бы отвлечься от унылой повседневности окопной жизни.

— А ты не витай в облаках, когда ходишь, Сэдлер, тогда ничего с тобой не случится.

С этими словами он снова натягивает каску на глаза и притворяется, что опять уснул. Я-то знаю, что он просто хочет прикрыть лицо, пока не станет ясно, чем закончится наша беседа. Но меня это не устраивает, и я — сам удивляясь своему внезапному поступку — протягиваю руку, срываю с Маршалла каску и швыряю ее в воздух. Она описывает правильную дугу и зарывается в грязь — краями вниз, так что ее придется чистить, прежде чем снова надеть.

— Ты что, с ума сошел? — Он подскакивает и злобно глядит на меня. — С чего это ты вдруг?

— С того, что ты сраный дебил, — отвечаю я.

— А ну принеси мою каску! — Он понизил голос и едва сдерживает гнев.

Вокруг собираются люди, и я слышу чирканье спичек — солдаты закуривают, чтобы занять руки и скрасить ожидание потехи.

— Сам принесешь, — отвечаю я. — И в следующий раз, Маршалл, живей шевелись, когда мимо идет старший по званию.

— Старший по званию? — Он хохочет. — А я думал, ты обыкновенный рядовой, вроде меня.

— Я здесь дольше твоего, — не отстаю я, хотя эти слова даже для моих ушей звучат отвратительно. — И гораздо больше знаю о том, кто есть кто и что есть что.

— Ну если ты и дальше хочешь знать, что есть что, давай-ка принеси мою каску. — Он улыбается, показывая отвратительные желтые зубы.

Я кривлю губы в усмешке. О, это известная порода людей. Тираны. Я видел таких и в школе, и потом и терпеть их не могу. Рана у меня на руке — та, которую отказываются видеть доктора, и страшно болит, и меня так гложет беспокойство за Уилла, что я едва соображаю.

— Как-то не похоже, что ты бывал в сражениях, — говорит он, оглядываясь на собравшихся в поисках моральной поддержки. — Ты, наверное, тоже из этих?

— Из кого? — спрашиваю я.
— Да как этот твой дружок, как его там, Бэнкрофт?
— Точно! — раздается голос неподалеку. Еще один новобранец. — Ты как есть угадал. Бэнкрофт с Сэдлером были закадычными друзьями с самого начала — мне рассказывали.
— И ты такой же трус? — подначивает Маршалл. — Боишься драться?
— Уилл не боится драться. — Я делаю несколько шагов вперед, и до меня уже доносится вонь из Маршаллова рта.

— А, так он тебе Уилл, вот как? — Маршалл презрительно хохочет. — Значит, Уилл у нас храбрец, а? Легко быть храбрым, когда сидишь взаперти за крепкими стенами, спишь в кровати и ешь три раза в день. Может, ты, Сэдлер, тоже хочешь к нему туда? Или не Сэдлер, а Тристан? Только и мечтаешь сидеть там вдвоем, обнявшись? Играть в прятки под одеялом?

Он поворачивается к своим друзьям, и они тоже начинают ржать над его убогими остротами, но мне хватает этой секунды — мой кулак врезается Маршаллу в челюсть, сбивая его с ног, и он летит, описывая такую же дугу, как только что его каска. Он ударяется головой о деревянную подпорку окопной стены и падает, но тут же вскакивает и бросается в драку. Зрители раздражаются приветственными криками и уханьем. Они радостно кричат при виде каждого меткого удара и хохочут, когда кто-то из нас промахивается или оскальзывается в грязи. Это не что иное как бесплатная потеха — мы с Маршаллом деремся в тесноте окопа, как два злобных шимпанзе. Я едва соображаю, что происходит, словно вся боль, которая много месяцев копилась у меня внутри, вдруг вырывается наружу. Я прихожу в себя, и оказывается, что я победил: я сижу верхом на противнике и раз за разом бью его кулаком в лицо, вдавливая все глубже в грязь.

Это он — в классной комнате, отскакивает сразу после того, как я его поцеловал.

И это он — выходит из-за прилавка и, обхватив меня за плечи, говорит, что будет гораздо лучше для всех, если немцы меня убьют.

И это он — обнимает меня у ручья в Олдершоте, а потом торопливо одевается и убегает с презрением и отвращением на лице.

И это тоже он — в укромном месте за окопами, говорит мне, что все это ошибка и что в тяжелые времена люди ищут утешения где могут.

Я бью каждого из них, и все удары падают на Маршалла, и у меня черно в глазах. Меня оттаскивают, ставят на ноги, и кто-то кричит:

— Хватит, хватит, ты что, с ума сошел, ты же его убьешь!

* * *

— Вы позорище, Сэдлер, надеюсь, вы это понимаете, — говорит сержант Клейтон. Он поднимается из-за письменного стола и подходит ко мне вплотную. Это неприятно, тем более что у него воняет изо рта. Я замечаю, что левый глаз у него дергается и что он побрил только левую сторону лица.

— Да, сэр, понимаю.

— Позорище, — повторяет он. — А еще из Олдершота. Из моего выпуска. Сколько вас осталось, кстати?

— Трое, сэр.

— Двое, Сэдлер, — настойчиво говорит он. — Бэнкрофта мы не считаем. Он трус паршивый. Вас осталось всего двое, а вы так себя ведете? Как, по-вашему, новобранцы должны воевать, если вы их избиваете?

Он побагровел и с каждым словом злится все больше.

— Да, сэр, я поступил необдуманно, — говорю я.

— Необдуманно? *Необдуманно?* — ревет он. — Вы уж не острить ли тут пытаетесь, Сэдлер? Я вам гарантирую, если вы хоть попробуете, я вас...

— Никак нет, сэр, я не пытаюсь острить, — перебиваю я. — Я сам не знаю, что со мной случилось. У меня на время в голове помутилось, вот и все. Видно, мы с Маршаллом

наступили друг другу на больную мозоль.

— В голове помутилось? — Он подается вперед и смотрит мне в лицо. — Вы сказали «в голове помутилось»?

— Да, сэр.

— Вы случайно не пытаетесь выбраться отсюда, ссылаясь на невменяемость? Этого я тоже не потерплю.

— Откуда, сэр? Из вашего кабинета?

— Из Франции, болван!

— А. Нет, сэр. Вовсе нет. Это быстро прошло. Мне нечего сказать в свое оправдание. Я споткнулся об него, и мы слегка повздорили. Большая ошибка с моей стороны.

— Вы вывели его из строя на ближайшие двадцать четыре часа! — Он, кажется, начинает успокаиваться.

— Да, сэр, я знаю, что причинил ему боль.

— Это чертовское преуменьшение. — Сержант отступает от меня, запускает руку за пояс брюк и безо всякого стеснения чешет яйца, а потом садится за стол, вздыхает и проводит по лицу той же самой рукой. — Я тоже чертовски устал. А из-за вас меня разбудили. — Он говорит уже мягче. — Но все же, Сэдлер, если честно, я и не предполагал, что вы на такое способны. А этого дурака надо было разок осадить, тут я согласен. Я бы и сам это сделал, так нагло он со мной держится. Но мне ведь нельзя, верно? Я должен служить достойным примером. Этот Маршалл — невежа и хам, от него одна головная боль с тех самых пор, как его сюда прислали.

Я стою навтыжку, слегка удивленный таким поворотом событий. Уж на что сержант совершенно непредсказуем, но я даже и не предполагал, что окажусь героем в его глазах. Скорее всего, через минуту он снова обрушится на меня.

— Но вот что, Сэдлер. Я не могу оставлять такие вещи безнаказанными, вы же понимаете. Это уже самая крайность.

— Да, сэр, — говорю я.

— Так что же мне с вами делать?

Я смотрю на него, гадая, то ли это риторический вопрос, то ли нет. Можно сказать: «Отошлите меня обратно в Англию», но это лишь снова разозлит его.

— Следующие несколько часов вы проведете в заключении, — говорит наконец он и веско кивает. — И еще вы извинитесь перед Маршаллом в присутствии всего личного состава, когда он завтра вернется в строй. Пожмете друг другу руки, скажете, что на войне как на войне и так далее. Личный состав должен видеть, что солдат не может просто так взять и поколотить своего товарища.

Он смотрит на дверь и криком вызывает капрала Хардинга, который тут же является. Должно быть, стоял за дверью и подслушивал.

— Отведите рядового Сэдлера на гауптвахту.

— Да, сэр, — отвечает Хардинг, но в голосе слышится неуверенность. — Куда именно, сэр?

— На га-упт-вах-ту, — повторяет сержант, растягивая слоги, словно обращается к ребенку или умственно отсталому. — Вы что, не понимаете человеческого языка?

— Но у нас только одна камера, а там Бэнкрофт, — отвечает Хардинг. — А он должен быть в одиночном заключении.

— Ну и пусть побудут в одиночном заключении вдвоем! — рявкает сержант, игнорируя очевидное противоречие в своих словах. — Пусть обговаривают свои обиды и облегчат душу. А теперь уберите отсюда оба, мне надо работать.

* * *

— Ты вообще-то должен драться с немцами, а не со своими.

— Очень смешно. — Я сажусь на койку. Здесь холодно. Земляные стены сырые и

крошатся; через щель под потолком и через зарешеченное отверстие на двери просачивается скудный свет.

— Должен сказать, что я удивлен, — задумчиво говорит Уилл. Кажется, моя история его забавляет, несмотря на его собственное положение. — Я бы никогда не подумал, что ты драчун. Ты и в школе дрался?

— Временами. Как все. А ты?

— Иногда.

— И все же теперь ты отказываешься драться.

Тут он улыбается — очень медленно — и так пристально смотрит мне в глаза, что я вынужден отвести взгляд.

— И за это тебя сюда посадили? Может, вы это нарочно придумали — сделать вид, что тебя бросили сюда, чтобы ты мог меня отговорить?

— Я же объяснил, за что я здесь оказался. — Такое обвинение меня злит. — Я здесь, потому что этот болван Маршалл сам напросился.

— По-моему, я его не знаю, — хмурится Уилл.

— Нет, он новенький. Но послушай, ну его к черту. Клейтон сошел с ума, это любому видно. Я думаю, мы сможем этому противостоять, мы обязательно должны попробовать, надо только поговорить с Уэллсом и Хардингом, и...

— Чему противостоять?

— Этому, чему же еще, — изумленно говорю я, обводя камеру взглядом, словно тут нужны еще какие-то объяснения. — О чем я, по-твоему, говорю? Твоему приговору.

Он качает головой. Я вижу, что он слегка дрожит. Значит, ему все-таки страшно. Он хочет жить. Он долго молчит, и я тоже молчу. Не хочу его торопить. Я хочу дождаться, чтобы он решил сам.

— Конечно, старик сюда несколько раз приходил, — говорит он наконец, протягивая руки перед собой и поворачивая ладонями вверх, будто на них могут найтись какие-то ответы. — Пытался меня уговорить. Чтобы я опять взялся за оружие. Я сказал ему, что ничего не выйдет, но он не пожелал слушать. Наверное, он считает, что это бросает тень на него самого.

— Скорее всего, ему не хочется докладывать генералу Филдингу, что один из его подчиненных отказывается воевать.

— К тому же из Олдершота! — Он склоняет голову набок и улыбается мне. — Какой позор!

— Многое изменилось. Во-первых, Милтона убили, — говорю я, не зная, дошла ли эта весть к Уиллу в камеру. — Так что теперь уже все равно. Тебе не добиться, чтобы его наказали. Можешь забыть об этом.

Уилл рассматривает это соображение и отбрасывает его.

— Мне очень жаль, что его убили. Но это ничего не меняет. Тут дело принципа.

— Вовсе нет, — не сдаюсь я. — Это дело жизни и смерти.

— Тогда, пожалуй, через несколько часов я сам разберусь с Милтоном.

— Уилл, не надо! — Его слова повергают меня в ужас.

— Надеюсь, что в раю не бывает войн.

— Уилл!..

— Вот был бы номер, а? Свалить отсюда и вдруг обнаружить, что там, наверху, все еще идет война между Богом и Люцифером. Отказаться воевать за Господа, пожалуй, будет непросто.

— Слушай, сейчас не время для шуток. Если ты согласишься идти в бой, Клейтон тебя выпустит. У него теперь каждый солдат на счету. Может, когда война кончится, тебя все равно будут судить, но ты по крайней мере до этого доживешь.

— Не могу, Трис. Я бы и рад, честно. Я не хочу умирать. Мне всего девятнадцать лет, у меня вся жизнь впереди.

— Ну так не умирай, — говорю я, подходя к нему. — Уилл, не умирай, пожалуйста.

Он смотрит мне в лицо, чуть хмурясь.

— Скажи, Тристан, у тебя что, нет никаких принципов? Ну, таких, за которые ты готов был бы отдать жизнь?

— Нет. Есть люди, за которых я бы умер. Но принципы — нет. Что от них толку?

— Вот поэтому мы с тобой никогда не могли друг друга понять. Мы очень разные, вот в чем беда. Ты ведь на самом деле ни во что не веришь по-настоящему, правда? А вот я...

— Уилл, не надо! — Я отвожу взгляд.

— Тристан, я это не затем говорю, чтобы тебя обидеть, честно. Я просто хочу сказать, что ты вечно от всего убегаешь. От своей семьи, например. От дружбы. От выбора между добром и злом. А я — нет. Понимаешь? Хотел бы я быть таким, как ты. Тогда у меня было бы больше шансов выжить в этой кровавой каше.

У меня внутри полыхает гнев. Даже сейчас, даже в такую минуту он смотрит на меня свысока и поучает. Я не могу понять, что я в нем вообще когда-то находил.

— Я тебя прошу, — говорю я, стараясь не поддаваться растущей неприязни. — Скажи, что я могу сделать, чтобы положить конец этому безумию. Я сделаю все, что ты хочешь.

— Я хочу, чтобы ты пошел к сержанту Клейтону и сказал ему, что Милтон пристрелил того мальчика вполне хладнокровно. Если, конечно, ты это всерьез. И заодно скажи ему, что знаешь об убийстве Вульфа.

— Но Милтона уже нет, — упираюсь я. — И Вульфа тоже. Какой тогда смысл?

— Я так и думал, что ты не захочешь.

— Но это же ничего не значит, — говорю я. — Это ничего не даст.

— Ты понимаешь, как это смешно, а?

Я гляжу на него, качая головой. Он, кажется, твердо решил не продолжать, пока я об этом не попрошу.

— Что именно? — спрашиваю я наконец. Слова вырываются торопливо, скомканно.

— Что меня расстреляют как труса, а ты будешь дальше жить как трус.

Я встаю и отхожу от него как можно дальше — в самый дальний угол.

— Ты просто хочешь сделать мне больно, — говорю я.

— Да? А я думал, что хочу говорить с тобой начистоту.

— Неужели обязательно быть таким жестоким? — спрашиваю я еще тише.

— Меня этому тут научили. И тебя тоже, просто ты этого не осознаешь.

— Но ведь немцы тоже стараются нас убить, — протестую я. — Ты был в окопах. Мимо тебя свистели пули. Ты ползал по ничьей земле среди трупов.

— А мы делаем то же самое с ними — разве это не значит, что мы ничем не лучше их? А, Тристан? Ну же, я хочу знать, объясни мне.

— С тобой невозможно разговаривать.

— Почему? — Он искренне удивлен.

— Потому что ты веришь в то, во что хочешь верить, и не желаешь слушать никаких аргументов ни за, ни против. Все эти твои убеждения ставят тебя выше всех прочих людей, но куда деваются твои высокие принципы, когда речь идет о других вещах в твоей жизни?

— Тристан, я вовсе не считаю себя выше прочих. — Он качает головой, потом глядит на часы и нервно сглатывает. — Уже скоро.

— Еще можно все изменить.

— Что значит «о других вещах в моей жизни»? — спрашивает он, глядя на меня и беспокойно морща лоб.

— Тебе что, картинку нарисовать?

— Да хорошо бы. Выкладывай. Если тебе есть что сказать, то скажи. В конце концов, скорее всего, другой возможности у тебя не будет.

— С самого начала, — говорю я, не колеблясь ни минуты, — с самого начала ты поступал со мной по-свински.

— Да неужели?

— Давай не будем притворяться. Мы подружились в Олдершоте. Во всяком случае, я

считал, что мы друзья.

— Но мы ведь и правда друзья, — настойчиво говорит он. — Почему ты решил, что нет?

— Я думал, что, может, мы нечто большее.

— Интересно, почему бы это?

— Ты что, правда не понимаешь?

— Тристан, — он вздыхает и проводит рукой по глазам, — пожалуйста, не надо опять заводить разговор на эту тему. Только не сейчас.

— Ты так говоришь, как будто это ничего не значит.

— Так это ничего и не значило! Боже мой! Что ты вообще за человек? Неужели ты так убог душой, что не можешь понять, что такое утешение?

— Утешение? — потрясенно переспрашиваю я.

— Тебе обязательно надо все время пережевывать одно и то же! — Им овладевает гнев. — Ты хуже бабы, понял?

— Иди на... — говорю я, но вяло, без души.

— Нет, это правда! И если ты сейчас же не сменишь тему, я позову капрала Моуди и попрошу его запереть тебя где-нибудь еще.

— Моуди убит, — сообщаю я. — И ты бы это знал, если бы дрался вместе со всеми, а не прятался в удобной норке.

Он колеблется. Отводит взгляд и прикусывает губу.

— Когда это случилось?

— Несколько ночей назад, — говорю я небрежно, словно о погоде, до такой степени я привык к смерти. — Слушай, это неважно. Он убит. Уильямс и Эттлинг убиты. Милтон убит. Все убиты.

— Не все, Тристан. Не преувеличивай. Я жив, ты жив.

— Но тебя расстреляют, — говорю я, едва удерживаясь от смеха, настолько абсурдно это звучит. — Та к поступают с собирателями перышек.

— Я не собиратель перышек, — сердито говорит он и встает. — Они трусы. А я не трус, я человек принципов, вот и все. Разница колоссальная.

— Да ты, кажется, и вправду в это веришь. Знаешь, я бы понял, если бы все случилось один раз. Я бы подумал: «Ну, это было перед отправкой из лагеря. Мы беспокоились, боялись того, что нас ждет. Человек ищет утешение где может». Но во второй раз начал именно ты! А потом смотрел на меня с таким отвращением!

— Иногда ты и правда внушаешь мне отвращение, — небрежно бросает он. — Когда я думаю о том, что ты такое. Я понимаю — ты считаешь, что и я такой же, но я-то знаю, что это не так. Ты прав. В такие минуты ты мне отвратителен. Может быть, твоя жизнь такова. Может, твоя судьба должна была сложиться именно таким образом. Но не моя. Я не желал для себя такого. Никогда не желал.

— Только потому, что ты лгун!

— Последи за своим языком, — говорит он, прищурившись. — Мы друзья, Тристан, — во всяком случае, мне хочется так думать. И совсем не хочется с тобой ссориться. Для этого уже поздно.

— Я согласен. Уилл, ты мой лучший друг. Ты... ну слушай, я должен это сказать, наше время истекает. Для тебя хоть что-то значит, что я тебя люблю?

— Ради бога, — шипит он, с губ слетает нитка слюны и падает на пол. — Не говори так. Что, если кто-нибудь услышит?

— Мне плевать. — Я подхожу и становлюсь прямо перед ним. — Послушай меня только один раз. Когда все это кончится...

— Отойди. — Он толкает меня — возможно, сильнее, чем намеревался, потому что я теряю равновесие и со всей силы падаю на плечо. Тело пронзает боль.

Уилл смотрит на меня, прикусив губу, словно мимоходом жалеет о сделанном, но лицо его опять застывает.

— Слушай, что ты вообще ко мне прицепился? — спрашивает он. — Чего тебе все время от меня надо? Почему ты вечно зудишь? Меня тошнит от того, что ты сейчас сказал, понятно? Я тебя не люблю. В последнее время ты мне даже не особенно нравишься. Ты мне подвернулся, вот и все. Подвернулся в нужный момент. Я тебя презираю, и больше ничего. Какого черта ты вообще тут оказался? Небось все нарочно подстроил? Специально споткнулся о Маршалла, чтобы тебя заперли со мной?

Он делает шаг вперед и бьет меня по лицу; это не удар кулаком, как бьет мужчина мужчину, а пощечина. От удара моя голова мотается на шее, но я словно онемел от потрясения и даже пошевелиться не могу.

— Видно, ты от меня чего-то ждешь, а, Тристан? Так ты этого не получишь. Понял? Пойми уже наконец!

Он отвешивает мне вторую пощечину; я не сопротивляюсь.

— Неужели ты думаешь, я хочу иметь что-то общее с таким человеком, как ты?

Он подходит вплотную и дает мне третью пощечину; правая щека пылает от боли, но я по-прежнему не в силах дать ему сдачи.

— Боже! Когда я думаю о том, что мы делали вместе, меня тошнит, ты понимаешь это или нет? Меня блевать тянет!

Четвертая пощечина. Я наконец бросаюсь на него, я готов бить, пинать его в гневе, но он, неправильно истолковав мои намерения, снова толкает меня со всей силы, так что я падаю на ушибленное плечо, и это дико больно.

— Оставь меня в покое! — орет он. — Господи боже мой! Мне осталось жить несколько часов, а ты хочешь напоследок перепихнуться по старой памяти! Что ты за человек вообще?!

— Я совсем не то... — мямлю я, кое-как поднимаясь на ноги.

— Мать твою! — он нависает надо мной. — Я сегодня умру! Оставь меня в покое хоть на пять минут, бля, чтобы я мог собраться с мыслями!

— Уилл, прошу тебя... У меня по щекам бегут гневные слезы. Я тянусь к нему. — Прости меня, ладно? Мы же друзья...

— Никакие мы не друзья, бля! — кричит он. — И никогда не были друзьями! Пойми это наконец, кретин!

Он решительно подходит к двери и колотит в нее кулаками, крича сквозь прутья решетки:

— Уберите его отсюда! Дайте мне хоть минуту покоя перед смертью!

Он толкает меня к двери, на прутья решетки.

— Уилл, — говорю я, но он мотает головой и все же притягивает меня к себе — в последний раз.

— Слушай меня, — шепчет он мне на ухо. — И запомни хорошенько: я не такой, как ты, бля. Жаль, что я вообще тебя повстречал. Вульф мне все про тебя рассказал, про то, кто ты есть, но я остался твоим другом — из жалости. Потому что никто никогда с тобой дружить не стал бы. Я тебя презираю, понял?

У меня кружится голова. Расскажи мне кто-нибудь, что Уилл может быть таким жестоким, — я бы ни за что не поверил. Но он, кажется, говорит всерьез, веря в каждое слово. К глазам у меня подступают слезы. Я открываю рот, но слов у меня нет. Мне хочется лечь на койку лицом к стене и притвориться, что никакого Уилла не существует, но тут раздаются торопливые шаги — кто-то бежит к нашей двери. В замке поворачивается ключ, и дверь открывается. Входят два человека и смотрят на нас.

* * *

Я стою во внутреннем дворике — мне кажется, что проходит вечность и что моя голова сейчас взорвется. У меня внутри — огненный шар ненависти. Я ненавижу Уилла. Все, что он заставил меня делать, все, что он мне говорил. И как он мной играл. Страшно болит плечо,

на которое я упал дважды, и лицо горит от пощечин. Я оглядываюсь на дверь камеры, где до сих пор заперт Уилл, — теперь с ним капрал Хардинг и капеллан. Мне хочется вернуться туда, схватить Уилла за шею и колотить головой о каменный пол, пока мозги не вылезут. Я хочу, чтобы он сдох, сволочь такая. Я люблю его, но хочу, чтобы он сдох. Нам с ним тесно на одной земле.

— Нужен еще один! — орет сержант Клейтон, обращаясь к Уэллсу.

Уэллс качает головой.

— Только не я, — говорит он.

Я гляжу перед собой — расстрельная команда уже собралась, солнце взошло, шесть часов утра. Пять человек стоят в ряд, шестое место пустует.

— Вы же знаете, сэр, не положено, — говорит Уэллс. — Это должен быть кто-то из рядовых.

— Тогда я сам! — рычит Клейтон.

— Нельзя, сэр, — не отстает Уэллс. — Устав запрещает. Погодите минутку, я сейчас сбегу в окопы и найду кого-нибудь. Из новеньких, кто с ним незнаком.

Я не узнаю ни одного из пяти парней, которых выстроили, чтобы убить Уилла. Все они очень испуганы. И чисто вымыты. Двое заметно трясутся.

Я подхожу к ним. Клейтон удивленно смотрит на меня.

— Вам шестой нужен? — спрашиваю я.

— Нет, Сэдлер, — говорит пораженный Уэллс. — Только не вы. Возвращайтесь в окоп. Найдите Мортон. И пошлите его сюда, хорошо?

— Вам шестой нужен? — повторяю я.

— Я сказал — нет, Сэдлер!

— А я сказал, что буду шестым.

С этими словами я беру шестую винтовку. Ненависть пульсирует у меня в жилах. Я выпячиваю челюсть, чтобы заглушить боль в скулах, но каждое движение ощущается как новая пощечина.

— Отлично, раз так, — рывкает сержант Клейтон, жестом приказывая караульному открыть дверь. — Ведите его, уже пора.

— Сэдлер, одумайтесь, ради бога, — шепчет Уэллс, хватая меня за руку.

Но я сбрасываю его руку и занимаю место в строю. Мне нужна голова Уилла на блюде, черт бы его побрал. Я проверяю магазин винтовки и досылаю патрон. Справа и слева от меня стоят солдаты, но я не обращаю на них внимания.

— Капрал Уэллс, с дороги, — командует сержант Клейтон.

Тут я вижу его. Уилла. Его выводит из камеры наверх охранник — лицо Уилла завязано черной тряпкой, над сердцем приколот клочок красной ткани. Он поднимается неуверенно и застывает на верхней ступеньке. Я гляжу на него и вспоминаю все. Его слова звенят у меня в ушах. Я едва удерживаюсь, чтобы не броситься на него и не разорвать на куски голыми руками.

Сержант Клейтон командует, и мы замираем с поднятыми винтовками — шесть человек бок о бок.

«Что же ты делаешь?» — спрашиваю я себя. Голос разума умоляет меня остановиться и подумать. Но я его игнорирую.

— Цельсь! — кричит Клейтон, и тут Уилл, храбрый до последнего, срывает повязку, желая глядеть в лицо своим убийцам. На лице его читается страх, но вместе с тем и сила, мужество. И тут он видит меня, и его лицо меняется. Он потрясен. Он смотрит на меня. Он в ужасе.

— Тристан! — произносит он. Это его последнее слово.

Слышится команда, и мой указательный палец давит на спусковой крючок. Грохочет залп шести винтовок — и моей в том числе, и вот мой друг лежит на земле бездыханный. Его война кончилась.

Моя — только начинается.

Тяжкое бремя позора

Лондон, октябрь 1979 года

Я увиделся с ней еще раз.

* * *

Почти шестьдесят лет спустя, осенью 1979 года. За пару месяцев до того к власти пришла миссис Тэтчер, и у нас было ощущение, что цивилизованный мир, каким мы его знали, кончается. Мне исполнился восемьдесят один год. Об этом написали в газетах, и еще я получил от литературного общества письмо, в котором выражалось желание вручить мне бесформенный кусок бронзового литья, вделанный в кусок дерева, с торчащим из него серебряным пером — при условии, что я напялю фрак, поприствую на торжественном ужине, произнесу небольшую речь, зачитаю короткий отрывок текста и на пару дней отдамся на растерзание прессе.

— Но почему нельзя отказаться? — спросил я у Ливитта, моего издателя, который настаивал, чтобы я принял приглашение. Ливитту тридцать два года. Сплошные подтяжки и набриолиненные волосы. Он унаследовал меня две книги назад, когда Дэвис, мой давний издатель и друг, скончался.

— Ну, во-первых, это будет очень невежливо, — объяснил он, словно увещевая ребенка, не желающего выйти поздороваться с гостями и прочитать стишок. — Эту премию очень редко присуждают. Точнее, вы будете всего лишь четвертым, кому ее присудили.

— И остальные трое уже умерли, — заметил я, глядя на имена предыдущих лауреатов — двух поэтов и романиста. — Вот что бывает с людьми, которые начинают принимать такие награды. Им больше не к чему стремиться. Остается только умереть.

— Тристан, вы не умрете.

— Мне восемьдесят один год, — напомнил я. — Мне приятен ваш оптимизм, но даже вы не станете отрицать, что моя смерть весьма вероятна.

Но он все умолял, и я в конце концов устал сопротивляться, — пожалуй, одно это сопротивление могло меня прикончить. Так что я пришел и отсидел свое во главе стола среди юных дарований, которые мило щебетали, рассказывая мне, как они восторгаются моим творчеством, но все же в своем творчестве стремятся достигнуть абсолютно иного эффекта, хотя, конечно, для молодежи совершенно необходимо изучать труды своих предшественников.

Общество литераторов вручило мне семь лишних билетов на мероприятие — я решил, что это не очень деликатно со стороны организаторов: им известно, что я всю жизнь жил один и у меня нет никаких родственников, даже племянников и племянниц, которые скрасили бы мою одинокую старость и коллекционировали бы мои письма после моей смерти. Я намеревался отослать билеты обратно или отдать их в ближайший университет, где я иногда читаю лекции. Но в конце концов я раздал билеты нескольким верным людям, которые на протяжении долгих лет блюли мои деловые интересы, — агентам, журналистам и так далее. Большинство из них уже давно на пенсии. Кажется, они были счастливы потратить вечер на мое чествование, своего рода мемориальную службу в память тех лет, когда мы все вместе были на гребне волны.

— Рядом с кем вы хотите сидеть на ужине? — спросила секретарша, позвонив мне утром. Большое неудобство, так как я обычно пишу с восьми утра до двух часов дня.

— С принцем Чарльзом, — бездумно ответил я. Чарльза я встретил однажды у кого-то на приеме в саду, и меня впечатлили кое-какие, явно незаученные, его замечания по поводу Оруэлла и бедности. Но этим наше знакомство и ограничилось.

— Хм, — сказала секретарша, несколько растерявшись. — Кажется, его нет в списке гостей.

— Тогда я всецело доверяюсь вашему прозорливому выбору. — На этом я повесил трубку, а потом снял и оставил рядом с аппаратом до конца дня.

В результате слева от меня оказался молодой человек, недавно удостоенный звания величайшего молодого писателя Земли или что-то в этом роде за короткий роман и сборник рассказов. Молодой писатель был украшен летящими светлыми локонами и чем-то напомнил мне Сильвию Картер в расцвете красоты. При разговоре писатель размахивал сигаретой и выдувал дым мне в лицо. Он был почти невыносим.

— Надеюсь, вы не возражаете. — Тут он извлек из-под стола пакет из книжного магазина «Фойлз», что на Чаринг-кросс. — Я купил несколько ваших книжек. Не подпишете ли?

— С удовольствием. Кому посвящение?

— Мне, разумеется, — ухмыльнулся он, в восторге от самого себя. Он был уверен, что празднество в мою честь — лишь уловка, чтобы заручиться его присутствием.

— Так как же вас зовут? — вежливо уточнил я.

Когда книги были наконец подписаны и вновь надежно укрыты под столом, юнец подмигнул и положил руку мне на предплечье.

— Я читал вас в универе, — произнес он так осторожно, словно признавался в нездоровом интересе к девочкам-школьницам. — Если честно, до тех пор я про вас не слышал. Но мне показалось, что некоторые ваши книги чертовски хороши.

— Спасибо. А другие? Менее *чертовски хороши* ?

Он поморщился и задумался.

— Слушайте, я, конечно, не берусь судить, — начал он, посыпая пеплом коктейль из креветок, а затем пустился перечислять многочисленные недостатки моих книг, объясняя, что, пожалуй, очень хорошо поместить такого-то в такую-то ситуацию, но если добавить такое-то осложнение, то все рассыпается, словно картонный домик. — Но вообще-то, надо признать, у нас не было бы современной литературы, если бы несколько предшествующих поколений не заложили такой надежный фундамент. По крайней мере, за это вы заслуживаете похвалы.

— Но я, кажется, еще жив, — заметил я, призрак за собственным столом.

— Ну разумеется! — воскликнул он, словно желал развеять мои сомнения; как будто мои слова были продиктованы старческим слабоумием и я не до конца уверен, что живу на свете.

Короче, я поддался на уговоры. Гости произносили речи, фотографии шелкали, я подписывал книги. Принесли телеграмму от Гарольда Уилсона, который утверждал, что он мой поклонник, но ошибся с фамилией и назвал меня мистером Сэндлером. И другую — от Джона Леннона.

— Вы сражались в великой войне? — спросил меня журналист из «Гардиан» в длиннейшем интервью, которое должно было выйти по поводу моего награждения.

— Я не вижу в ней особенного величия, — заметил я. — По правде сказать, если мне не изменяет память, она была совершенно чудовищна.

— Да-да, — журналист неловко засмеялся. — Только... вы никогда о ней не писали, верно?

— Разве?

— Ну, во всяком случае, в явном виде, — сказал он и тут же дико испугался — вдруг он забыл про какой-нибудь из моих эпохальных трудов?

— Надо полагать, это зависит от того, что вы считаете явным. Я совершенно уверен, что много раз писал о той войне. Иногда — неприкрыто. Иногда — чуть завуалированно. Но война всегда была в моих книгах. Верно? Вы согласны? Или я сам себя обманываю?

— Ни в коей мере. Но я только имел в виду, что...

— Разве что я потерпел полный крах в своем творчестве. Может быть, мне не удалось объясниться так, чтобы меня поняли. И моя писательская карьера — пшик.

— Нет, мистер Сэдлер, как вы могли такое подумать. Наверное, вы меня не совсем

поняли. Всем ясно, что великая война играет значительную роль в вашем тво...

Когда человеку восемьдесят один год, он развлекается как может.

* * *

Поскольку лет за пятнадцать до того я покинул город и удалился, как говорят, на лоно природы, то на ночь после торжественного ужина снял номер в гостинице. Многочисленные старые друзья уговаривали меня зависнуть в лондонских барах до утра. Но я не стал подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а попрощался со всеми в пристойный час и направился в Вест-Энд, предвкушая крепкий ночной сон и наутро — возвращение домой ранним поездом. Поэтому я несколько удивился, когда меня окликнул портье, стоящий за конторкой в вестибюле гостиницы.

— Сэдлер, — назвал я и помахал перед ним ключом от номера, решив, что он принял меня за восьмидесятилетнего постороннего гуляку. — Номер одиннадцать ноль семь. И направился к лифту.

— Да-да, сэр. Я просто хотел сказать, что вас ждет дама. Она уже примерно час сидит в баре для постояльцев.

— Дама? — Я нахмурился. — В такой поздний час? Это не ошибка?

— Нет, сэр. Она спросила вас по имени. Утверждает, что вы ее знаете.

— И кто она такая? — нетерпеливо спросил я. Еще не хватало, чтобы журналисты или поклонники начали осаждать меня среди ночи. — У нее под мышкой случайно нет пачки книг?

— Нет, сэр, я ничего такого не видел.

Я огляделся и задумался.

— Послушайте, вы можете оказать мне любезность? Пойдите скажите ей, что я уже лег спать, с извинениями и все такое. Попросите ее связаться с моим агентом — он с ней разберется. Погодите минуту, у меня где-то была его карточка.

Я порылся в кармане, достал горсть визитных карточек и в отчаянии уставился на них. Столько лиц, столько фамилий, и все надо запомнить. Это мне никогда не давалось.

— Простите, я не думаю, что это поклонница. Может быть, родственница? Она довольно пожилая, если можно так выразиться.

— Можно, если она в самом деле пожилая, — разрешил я. — Но она никак не может быть родственницей. Она точно не передавала никакой записки?

— Нет, сэр. Она просила сказать, что приехала из самого Нориджа. Уверяла, что вы поймете.

Я уставился на него. Он был очень смазлив, а ведь горбатого могила исправит.

— Мистер Сэдлер! Мистер Сэдлер, вам нехорошо?

* * *

Я с замиранием сердца подошел к входу в полутемный бар, чуть ослабил галстук и начал осматривать зал. В нем было удивительнолюдно для такого часа, но ошибиться я не мог. Она была единственной пожилой дамой среди присутствующих. Но, мне кажется, я и так узнал бы ее где угодно. Несмотря на то что прошло столько лет, я всегда о ней помнил. Она читала книгу (неизвестную мне) и подняла глаза — хотя и не в мою сторону, — видимо, оттого, что почувствовала на себе мой взгляд. Мне показалось, что по ее лицу пробежала тень. Она взялась за бокал с вином, поднесла его к губам, но передумала и поставила обратно. Я долго стоял, не двигаясь, в центре зала, и лишь когда она повернулась ко мне и чуть заметно кивнула, я подошел и сел рядом. Она хорошо выбрала место: в небольшой нише, поодаль от остальных посетителей. Свет тоже падал удачно, скрадывая морщины. Удачно для нас обоих.

— Я прочитала в газете о вашей награде, — начала она безо всяких предисловий, как

только я сел. — И так получилось, что я была в Лондоне — приехала на свадьбу внука, она была вчера. Отчего-то я решила повидаться с вами. Под влиянием минуты. Надеюсь, вы не возражаете?

— Я рад, — ответил я, как того требовала вежливость; на самом деле я не мог бы сказать, какие именно чувства вызвало у меня ее появление.

— Значит, вы меня помните. — Она чуть заметно улыбнулась.

— Да, помню.

— Я так и знала.

— Свадьба, — сказал я, желая перевести разговор на нейтральную тему, чтобы собраться с мыслями. — Вы хорошо провели время?

— Как обычно на свадьбах. — Она пожала плечами и кивнула официанту, который предлагал снова наполнить ее стакан. Я заказал маленький стаканчик виски, потом передумал и увеличил порцию. — Мы ничего не делаем как родственники, вместе, только едим и пьем. Странно, правда, Тристан? Но в общем, да, я думаю, свадьба вышла неплохая, хотя девушка мне не очень нравится. Она вульгарна. Видите, как откровенно я выражаюсь. Я уже знаю, что Генри с ней намучается.

— Генри — это ваш внук?

— Да. Младший мальчик моей старшей дочери. У меня восемь внуков, вы можете поверить? И шесть правнуков.

— Мои поздравления.

— Спасибо. Разумеется, вы гадаете, что мне от вас нужно.

— Я не успел об этом подумать, — ответил я и поблагодарил официанта, принесшего мой виски. — Вы застали меня врасплох. Простите меня, если я окажусь не в лучшей форме.

— Ну так вы же старее динозавров, — небрежно бросила она. — Хотя я еще старше, так что вот. Но мы с вами до сих пор в здравом уме и твердой памяти — надо думать, благодаря здоровому образу жизни и правильному питанию.

Я улыбнулся и медленно отпил глоток виски. Она совсем не изменилась. Торопливая, забавно бессвязная речь, настойчивый ум и начитанность.

— Надо полагать, я должна вас поздравить, — произнесла она после паузы.

— Поздравить?

— С наградой. Мне говорили, что она весьма престижна.

— Да, мне тоже говорили, — ответил я. — И, если честно, весьма безобразна. Удивительно, как это они не удосужились заказать скульптору что-нибудь красивое.

— А где она? У вас в номере?

— Нет, я ее оставил своему агенту. Она была очень тяжелая. Думаю, они ее пришлют по почте.

— Ваша фотография была на первой странице «Таймс». Я читала про вас в поезде в понедельник. И еще вы попали в кроссворд. Это слава.

— Мне повезло, — согласился я. — Мне было позволено прожить ту жизнь, которую я хотел. До определенной степени, во всяком случае.

— Я помню, в тот день, перед тем как мы расстались, вы говорили мне, что уже давно понемножку кропаете, но собираетесь отнестись к этому серьезней, когда вернетесь в Лондон. И вы выполнили свое намерение, верно? Список ваших книг весьма внушительен. Признаюсь, что я ни одной не читала. Это грубо с моей стороны?

— Вовсе нет. Я этого и не ожидал. Я помню, что вы не любите романов.

— Вообще-то под конец жизни я к ним пристрастилась. Просто я ваших не читала. Но я их все время вижу в книжных магазинах. И еще я хожу в библиотеку, там их тоже обожают. Но сама ни одного не читала. Тристан, вы когда-нибудь вспоминали обо мне?

— Почти каждый день, — не колеблясь ответил я.

— И о моем брате? — спросила она, явно не удивленная моим признанием.

— Почти каждый день, — повторил я.

— Да.

Она отвела взгляд и выпила еще вина, прикрыв глаза на время глотка.

— Сама не знаю, что я тут делаю, — произнесла она чуть погодя, взглянула на меня и улыбнулась какой-то неменяемой улыбкой. — Я хотела вас увидеть, но теперь не знаю зачем. Наверное, вам кажется, что я сумасшедшая. Но я не собираюсь на вас кидаться, не беспокойтесь.

— Мэриан, расскажите мне, как вы жили. Мне было интересно услышать ее рассказ.

Последний ее образ, запечатленный в моей памяти, — рыдающая женщина, явно не в себе, на которую глазают прохожие; она сидела на платформе Торпского вокзала, а потом вдруг кинулась на окно моего купе, когда поезд тронулся. Я ахнул, думая, что она хочет броситься под колеса, — но нет, она хотела наброситься на меня. Если бы она до меня добралась в этот момент, то, возможно, убила бы. И я, вполне возможно, не стал бы сопротивляться.

— О боже. Тристан, вы заснете. Моя жизнь чудовищно скучна по сравнению с вашей.

— Моя жизнь гораздо обыденней, чем думают люди, — уверил я ее. — Пожалуйста. Мне хочется знать.

— Ну разве что сокращенную версию. Давайте посмотрим. Я учительница. Была, во всяком случае. Сейчас я, конечно, на пенсии. Но я пошла учиться на учительницу вскоре после того, как мой брак развалился, и проработала в одной и той же школе, господи боже мой, пожалуй что больше тридцати лет.

— Вам нравилась эта работа?

— Очень. Малыши, Тристан. Я только с ними и могла справиться. Если поставить одного на другого и я все еще выше, значит, я в безопасности. Таково было мое неизменное правило. Четырехлетки и пятилетки. Я их обожала. Они — сплошной восторг. Некоторые были просто удивительные.

Ее лицо озарилось улыбкой.

— Вы до сих пор скучаете по своей работе?

— Дня не проходит без этого. Наверное, это большое счастье — работа как у вас, когда никто не объявляет, что вам пора на пенсию. Романисты, кажется, с годами становятся только лучше, верно?

— Некоторые, — ответил я.

— А вы?

— Не думаю. По-моему, я достиг пика где-то в среднем возрасте и с тех пор застрял, крутился на одном месте. Мне жаль, что ваш брак распался.

— Ну, это было неизбежно. Мне не стоило выходить за него замуж, по правде сказать. На меня словно умопомрачение нашло.

— И все же у вас есть дети?

— Трое. Алиса — ветеринар, у нее трое своих детей, и она процветает. Хелен — психолог, у нее пятеро, вы можете в это поверить? И как она только управляет? Они обе скоро выходят на пенсию — так что я вообще полная древность. И еще у меня есть сын.

— Младший?

— Да. Ему за пятьдесят, так что он тоже, в общем, не юноша.

Я все смотрел на нее и молчал, ожидая, чтобы она рассказала что-нибудь о сыне.

— Что такое? — наконец спросила она.

— Ну, например, его как-нибудь зовут?

— Конечно, его как-то зовут, — сказала она, глядя в сторону.

Внезапно я понял, как зовут ее сына, и устыдился своего вопроса. Я потянулся к своему стакану, как к спасательному кругу.

— Скажу начистоту, что моему сыну каждый шаг в жизни давался с трудом. Не знаю почему. Его воспитывали точно так же, как сестер, но там, где они добились успеха, он за каждым поворотом находил лишь разочарование.

— Мои соболезнования.

— Что ж тут. Я, безусловно, делаю для него все, что могу. Но этого вечно мало. Не

знаю что его ждет после того, как меня не станет. Сестры с ним не справляются.

— А отец?

— О, Леонард уже давно умер. Еще в пятидесятых. Он женился второй раз, уехал в Австралию и погиб на пожаре.

Я уставился на нее. Имя мгновенно всплыло у меня в памяти.

— Леонард? Неужели Леонард Легг?

— Да, но как... — Она нахмурилась. — Откуда вы... Ах да, господи. Я совсем забыла. Вы же его видели в тот день.

— Он ударил меня кулаком в лицо.

— Он думал, что у нас с вами роман.

— Так вы за него вышли? — в ужасе спросил я.

— Да, Тристан, я за него вышла. Но, как я уже сказала, этот брак не продлился и десяти лет. Мы отравляли друг другу жизнь. Вы, кажется, удивлены?

— Очень. Слушайте, я его не знал, конечно. Но я помню, что вы о нем говорили в тот день. Как были настроены против него. Он вас так отвратительно бросил.

— Мы поженились вскоре после этого. Я не скажу, что это было самое ужасное решение в моей жизни, — ведь у меня теперь трое детей. Но безусловно, этот брак был большой ошибкой. Так вышло, что я помирилась с Леонардом на следующий день. После вашего отъезда. Я не могу этого объяснить. Я понимаю, что это выглядит... глупо.

— Для меня это никак не выглядит. Не мне вас судить.

Она воззрилась на меня с неожиданным гневом.

— Да, не вам. Но он был рядом, а я как никогда нуждалась в чьей-нибудь заботе. Я снова впустила его в свою жизнь, но в итоге он опять ее покинул, и дело с концом. Может, хватит про меня? Меня от себя уже тошнит. А что же вы, Тристан? Вы так и не женились? В газетах про это не писали.

— Нет. — Я отвел взгляд. — Но вы же знаете, что я не мог жениться. Я вам все рассказал.

— Я помню, что вам не полагалось жениться, — ответила она. — Но кто знает, насколько бесчестно вы могли поступить? Я, кстати, чего-то такого от вас ожидала. Тогда так делали. И до сих пор, наверное, делают. Но вы — нет.

— Нет, Мэриан, — я покачал головой, мужественно принимая удар, — я — нет.

— И у вас не было... я отстала от жизни и не знаю, как это теперь называется... спутника? Это правильное слово?

— Нет.

— Никогда и никого? — удивленно спросила она.

Я смущенно хохотнул, удивляясь ее удивлению.

— Нет. Ни единого человека. Ни разу. Никаких связей вообще.

— Боже ты мой. Неужели вам не было одиноко?

— Было.

— И вы один?

— Да.

— И живете один?

— Я совершенно один, Мэриан, — тихо повторил я.

— Ну что ж. — Лицо ее застыло.

Мы посидели так некоторое время, и наконец она снова повернулась ко мне.

— Но вы хорошо выглядите, — заметила она.

— Правда?

— Нет, неправда. Вы выглядите стариком. Утомленным жизнью. Я сама — утомленная жизнью старуха, так что это не обидные слова.

— Да, я стар и утомлен жизнью, — признался я. — Она была длинная.

— Повезло вам, — горько заметила она. — Но вы были счастливы?

Я задумался. По-моему, это один из самых трудных вопросов для любого человека.

— Я не был несчастен, — сказал я. — Впрочем, я не уверен, что это то же самое. Я любил свою работу и наслаждался ею. Она приносила мне глубокое удовлетворение. Но конечно, по временам мне, как вашему сыну, ни один шаг не давался без борьбы.

— Борьбы с чем?

— Можно, я назову его имя?

— Не смейте, — прошипела она, подавшись вперед.

Я кивнул и откинулся на спинку кресла.

— Возможно, то, что я скажу, будет для вас что-то значить, а возможно, и нет. Я уже шестьдесят три года несу тяжкое бремя позора. Не было ни дня, когда я не вспоминал бы о нем.

— Удивительно, что вы об этом ни разу не написали, если испытывали такие сильные чувства.

— Написал вообще-то. Позвольте мне объяснить. Я написал об этом, но не опубликовал написанное. Я решил, что оставляю это на потом. На после моей смерти.

Она подалась вперед, заинтригованная.

— А о чем же вы написали, Тристан?

— Обо всем. О нашей жизни в Олдершоте, о моих чувствах к нему, обо всем, что случилось. О том, что было во Франции. Немножко о моей жизни до того, немножко детских воспоминаний. И потом обо всей этой беде и о решениях, принятых вашим братом. И о том, что я сделал с ним в конце.

— То есть о том, что вы его убили?

— Да. Об этом.

— Потому что он вам не достался.

Я сглотнул, кивнул и уперся взглядом в пол. Я так же не мог смотреть ей в глаза теперь, как ее родителям — много лет назад.

— Что еще? — спросила она. — Скажите. Я имею право знать.

— Еще — о том дне, который мы с вами провели вместе. Как я пытался объяснить вам. И не смог.

— Вы написали про меня?

— Да.

— Так почему же не опубликовали? Вас так хвалят. Почему бы не осчастливить публику и этой книгой?

Я сделал вид, что задумался и пытаюсь найти причину. На самом деле я и так хорошо понимал, в чем дело.

— Я думаю, что не вынес бы позора. Если бы хоть кто-то узнал, что я сделал. Люди стали бы так на меня смотреть... я бы этого не перенес. После того, как я уйду, это уже не будет иметь значения. Тогда пусть читают.

— Вы трус, Тристан, согласны? — спросила она. — До самого конца остались трусом. Ужасным трусом.

Я посмотрел на нее. Она мало чем могла бы меня задеть. Но все же нашла чем. Правдой.

— Да, — не стал отрицать я. — Да, надо думать, я трус.

Она вздохнула и отвернулась. Судя по лицу, она едва сдерживалась, чтобы не закричать.

— Не знаю, зачем я сюда пришла. Но уже поздно. Мне пора. Прощайте, Тристан. — Она встала. — Мы больше не увидимся.

— Нет, не увидимся.

Она вышла.

* * *

Конечно, она права. Я трус и всегда им был. Мне давно уже следовало опубликовать

эту рукопись. Возможно, я ждал какого-то завершения, развязки, не сомневаясь, что рано или поздно развязка наступит. И вот это случилось — сегодня вечером.

Вскоре после ухода Мэриан я вернулся к себе в номер. Вытянув вперед правую руку, я заметил, что ранее страдавший от спазмов указательный палец совершенно неподвижен: палец, нажавший на спусковой крючок и пославший пулю в сердце моего возлюбленного, теперь удовлетворен. Я вытащил рукопись из портфеля — видите ли, я всюду носил ее с собой. Хотел, чтобы она всегда была при мне. Сейчас я пишу про наш с Мэриан разговор, последнюю короткую встречу, и надеюсь, что она послужила Мэриан хоть каким-то утешением. Впрочем, я не сомневаюсь — где бы ни была Мэриан сейчас, она не может заснуть, а если заснет, то ее сон будут тревожить кошмары из прошлого.

Затем я снова лезу в портфель и достаю еще кое-что — это я тоже до сих пор носил при себе, ожидая подходящего момента.

Вскоре меня найдут в этом номере, в незнакомой гостинице, вызовут полицию и «скорую помощь», и мое тело унесут в какой-нибудь холодный морг в дебрях Лондона. А завтра все газеты опубликуют некролог и напишут, что я был последним представителем своего поколения, какая жалость, ушло еще одно звено, связующее нас с прошлым, но боже мой, поглядите, какое богатство он нам оставил, увековечив тем самым свою память. И вскоре моя рукопись — моя последняя книга — увидит свет, в твердом переплете, под редакцией Ливитта. Публика будет в ярости, проникнется отвращением, люди наконец-то ополчатся на меня и возненавидят, моя репутация будет навеки погублена, и я понесу заслуженную кару, которую навлек на себя сам — как сам сейчас нажму на спусковой крючок. И мир наконец узнает, что величайшим трусом, собирателем перышек, был я.